В.Ф.
ОДОЕВСКИЙ
Сочинения

В. Ф. ОДОЕВСКИЙ

Сочинения в двух томах

Москва
«Художественная литература»
1981

В.Ф.ОДОЕВСКИЙ

Сочинения в двух томах

том второй

ПОВЕСТИ

Москва
«Художественная литература»
1981

Р1
О-44

Составление, комментарии
В. И. Сахарова

Оформление
А. В. Лепятского

О $\frac{70301\text{-}272}{028(01)\text{-}81}$ Без объявл. 4701020100

ПОВЕСТИ

СКАЗКА

о том, по какому случаю коллежскому советнику Ивану Богдановичу Отношенью не удалося в светлое воскресенье поздравить своих начальников с праздником

Во светлой мрачности блистающих ночей
Явился темный свет из солнечных лучей.

Кн. Шаховской

Коллежский советник Иван Богданович Отношенье,— в течение сорокалетнего служения своего в звании председателя какой-то временной комиссии,— провождал жизнь тихую и безмятежную. Каждое утро, за исключением праздников, он вставал в 8 часов; в 9 отправлялся в комиссию, где хладнокровно,— не трогаясь ни сердцем, ни с места, не сердясь и не ломая головы понапрасну,— очищал нумера, подписывал отношения, помечал входящие. В сем занятии проходило утро. Подчиненные подражали во всем своему начальнику: спокойно, бесстрастно писали, переписывали бумаги и составляли им реестры и алфавиты, не обращая внимания ни на дела, ни на просителей. Войдя в комиссию Ивана Богдановича, можно было подумать, что вы вошли в трапезу молчальников,— таково было ее безмолвие. Какая-то тень жизни появлялась в ней к концу года, пред составлением годовых отчетов; тогда заметно было во всех чиновниках особенного рода движение, а на лице Ивана Богдановича даже беспокойство; но когда по составлении отчета Иван Богданович подводил итог, тогда его лицо прояснялось и он,— ударив по столу рукою и сильно вздохнув, как после тяжкой работы,— восклицал: «Ну, слава богу! в нынешнем году у нас бумаг вдвое более против прошлогодне-

го!» — и радость разливалась по целой комиссии, и назавтра снова с тем же спокойствием чиновники принимались за обыкновенную свою работу; подобная же аккуратность замечалась и во всех действиях Ивана Богдановича: никто ранее его не являлся поздравлять начальников с праздником, днем именин или рожденья; в Новый год ничье имя выше его не стояло на визитных реестрах: мудрено ли, что за все это он пользовался репутациею основательного, делового человека и аккуратного чиновника. Но Иван Богданович позволял себе и маленькие наслаждения: в будни едва било 3 часа, как Иван Богданович вскакивал с своего места,— хотя бы ему оставалось поставить одну точку к недоконченной бумаге,— брал шляпу, кланялся своим подчиненным и,— проходя мимо их, говорил любимым чиновникам — двум начальникам отделений и одному столоначальнику: «Ну... сегодня... знаешь?» Любимые чиновники понимали значение этих таинственных слов и после обеда являлись в дом Ивана Богдановича на партию бостона; и аккуратным поведением начальника было произведено столь благодетельное влияние на его подчиненных, что для них — поутру явиться в канцелярию, а вечером играть в бостон — казалось необходимою принадлежностию службы. В праздники они не ходили в комиссию и не играли в бостон, потому что в праздничный день Иван Богданович имел обыкновение после обеда,— хорошенько расправив свой Аннинский крест,— выходить один или с дамами на Невский проспект; или заходить в кабинет восковых фигур или в зверинец, а иногда и в театр, когда давали веселую пьесу и плясали по-цыгански. В сем безмятежном счастии протекло, как сказал я, более сорока лет,— и во все это время ни образ жизни, ни даже черты лица Ивана Богдановича нимало не изменились; только он стал против прежнего немного поплотнее.

Однажды случись в комиссии какое-то экстренное дело, и, вообразите себе, в самую страстную субботу; с раннего утра собрались в канцелярию все чиновники, и Иван Богданович с ними; писали, писали, трудились, трудились и только к 4 часам успели окончить экстренное дело. Устал Иван Богданович после девятичасовой работы; почти обеспамятел от радости, что сбыл ее с рук и, проходя мимо своих любимых чиновников, не утерпел, проговорил: «Ну... сегодня... знаешь?» Чиновники нимало не удивились сему приглашению и почли его естественным следствием их утреннего занятия,— так твердо был внушен им канцелярский порядок; они явились в урочное время, разложились карточные столы, поставились свечи,

и комнаты огласились веселыми словами: шесть в сюрах, один на червях, мизер уверт и проч. т. п.

Но эти слова достигли до почтенной матушки Ивана Богдановича, очень набожной старушки, которая имела обыкновение по целым дням не говорить ни слова, не вставать с места и прилежно заниматься вывязыванием на длинных спицах фуфаек, колпаков и других произведений изящного искусства. На этот раз отворились запекшиеся уста ее, и она, прерывающимся от непривычки голосом, произнесла:

— Иван Богданович! А! Иван Богданович! что ты... это?.. ведь это... это... это... не водится... в такой день... в карты... Иван Богданович!.. а!.. Иван Богданович! что ты... что ты... в эдакой день... скоро заутреня... что ты...

Я и забыл сказать, что Иван Богданович, тихий и смиренный в продолжение целого дня, делался львом за картами; зеленый стол производил на него какое-то очарование, как Сивиллин треножник,—духовное начало деятельности, разлитое природою по всем своим произведениям; потребность раздражения; то таинственное чувство, которое заставляет иных совершать преступления, других изнурять свою душу мучительною любовию, третьих прибегать к опиуму,—в организме Ивана Богдановича образовалось под видом страсти к бостону; минуты за бостоном были *сильными минутами* в жизни Ивана Богдановича; в эти минуты сосредоточивалась вся его душевная деятельность, быстрее бился пульс, кровь скорее обращалась в жилах, глаза горели, и весь он был в каком-то самозабвении.

После этого не мудрено, если Иван Богданович почти не слыхал или не хотел слушать слов старушки: к тому же в эту минуту у него на руках были десять в сюрах,—неслыханное дело в четверном бостоне!

Закрыв десятую взятку, Иван Богданович отдохнул от сильного напряжения и проговорил:

— Не беспокойтесь, матушка, еще до заутрени далеко; мы люди деловые, нам нельзя разбирать времени, нам и бог простит—мы же тотчас и кончим.

Между тем на зеленом столе ремиз цепляется за ремизом; пулька растет горою; приходят игры небывалые, такие игры, о которых долго сохраняется память в изустных преданиях бостонной летописи; игра была во всем пылу, во всей красе, во всем интересе, когда раздался первый выстрел из пушки; игроки не слыхали его; они не видали и нового появления матушки Ивана Богдановича, которая, истощив все свое красноречие,

молча покачала головою и наконец ушла из дома, чтобы приискать себе в церкви место попокойнее.

Вот другой выстрел — а они все играют: ремиз цепляется за ремизом, пулька растет, и приходят игры небывалые.

Вот и третий, игроки вздрогнули, хотят приподняться,— но не тут-то было: они приросли к стульям; их руки сами собою берут карты, тасуют, раздают; их язык сам собою произносит заветные слова бостона; двери комнаты сами собою прихлопнулись.

Вот на улице звон колокольный, все в движении, говорят прохожие, стучат экипажи, а игроки все играют, и ремиз цепляется за ремизом.

«Пора б кончить!» — хотел было сказать один из гостей, но язык его не послушался, как-то странно перевернулся и, сбитый с толку, произнес:

— Ах! что может сравниться с удовольствием играть в бостон в страстную субботу.

«Конечно! — хотел отвечать ему другой,— да что подумают о нас домашние?» — но и его язык также не послушался, а произнес:

— Пусть домашние говорят что хотят, нам здесь гораздо веселее.

С удивлением слушают они друг друга, хотят противоречить, но голова их сама нагибается в знак согласия.

Вот отошла заутреня, отошла и обедня; добрые люди,— а с ними матушка Ивана Богдановича,— в веселых мечтах сладко разговеться залегли в постелю; другие примеривают мундир, справляются с адрес-календарем, выправляют визитные реестры. Вот уже рассвело, на улицах чокаются, из карет выглядывает золотое шитье, треугольные шляпы торчат на фризовых и камлотных шинелях, курьеры навеселе шатаются от дверей к дверям, суют карточки в руки швейцаров и половину сеют на улице, мальчики играют в биток и катают яйца.

Но в комнате игроков все еще ночь; все еще горят свечи; игроков мучит и совесть, и голод, и сон, и усталость, и жажда; судорожно изгибаются они на стульях, стараясь от них оторваться, но тщетно: усталые руки тасуют карты, язык выговаривает «шесть» и «восемь», ремиз цепляется за ремизом, пулька растет, приходят игры небывалые.

Наконец догадался один из игроков и, собрав силы, задул свечки; в одно мгновение они загорелись черным пламенем; во все стороны разлились темные лучи, и белая тень от игроков протянулась по полу; карты выскочили у них из рук: дамы столкнули игроков со стульев, сели на

их место, схватили их, перетасовали,—и составилась целая масть Иванов Богдановичей, целая масть начальников отделения, целая масть столоначальников, и началась игра, игра адская, которая никогда не приходила в голову сочинителя «Открытых таинств картежной игры».

Между тем короли уселись на креслах, тузы на диванах, валеты снимали со свечей, десятки, словно толстые откупщики, гордо расхаживали по комнате, двойки и тройки почтительно прижимались к стенкам.

Не знаю, долго ли дамы хлопали об стол несчастных Иванов Богдановичей, загибали на них углы, гнули их в пароль, в досаде кусали зубами и бросали на пол...

Когда матушка Ивана Богдановича, тщетно ожидавшая его к обеду, узнала, что он никуда не выезжал, и вошла к нему в комнату,—он и его товарищи, усталые, измученные, спали мертвым сном: кто на столе, кто под столом, кто на стуле...

И по канцеляриям долго дивились: отчего Ивану Богдановичу не удалось в светлое воскресенье поздравить своих начальников с праздником?

СКАЗКА

о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем

> Правда, волостной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с сего ни с того танцевал на небе, и уверял с божбою в том все село: но миряне качали головами и даже подымали его на смех.
>
> *Гоголь*, в «Вечерах на хуторе»

По торговым селам Реженского уезда было сделано от земского суда следующее объявление:

«От Реженского земского суда объявляется, что в ведомстве его, на выгонной земле деревни Морковкиной-Наташиной тож, 21-го минувшего ноября найдено неизвестно чье мертвое мужеска пола тело, одетое в серый суконный ветхий шинель; в нитяном кушаке, жилете суконном красного и отчасти зеленого цвета, в рубашке красной пестрядинной; на голове картуз из старых пестрядинных тряпиц с кожаным козырьком; от роду покойному около 43 лет, росту 2 арш. 10 вершков, волосом светлорус, лицом бел, гладколиц, глаза серые, бороду бреет, подбородок с проседью, нос велик и несколько на сторону, телосложения слабого. По чему сим объявляется: не окажется ли оному телу бывших родственников или владельца оного тела; таковые благоволили бы уведомить от себя в село Морковкино-Наташино тож, где и следствие об оном, неизвестно кому принадлежащем, теле производится; а если таковых не найдется, то и о том благоволили б уведомить в оное же село Морковкино».

Три недели прошло в ожидании владельцев мертвого тела; никто не являлся, и наконец заседатель с уездным

лекарем отправились к помещику села Морковкина в гости; в выморочной избе отвели квартиру приказному Севастьянычу, также прикомандированному на следствие. В той же избе, в заклети, находилось мертвое тело, которое назавтра суд собирался вскрыть и похоронить обыкновенным порядком. Ласковый помещик, для утешения Севастьяныча в его уединении, прислал ему с барского двора гуся с подливой да штоф домашней желудочной настойки.

Уже смерклось. Севастьяныч, как человек аккуратный, вместо того чтоб, по обыкновению своих собратий, взобраться на полати возле только что истопленной печи,— рассудил за благо заняться приготовлением бумаг к завтрашнему заседанию, по тому более уважению, что хотя от гуся осталися одни кости, но только четверть штофа была опорожнена; он предварительно поправил светильню в железном ночнике, нарочито для подобных случаев хранимом старостою села Морковкина,— и потом из кожаного мешка вытащил старую замасленную тетрадку. Севастьяныч не мог на нее смотреть без умиления: то были выписки из различных указов, касающихся до земских дел, доставшиеся ему по наследству от батюшки, блаженной памяти подьячего с приписью,— в городе Реженске за ябеды, лихоимство и непристойное поведение отставленного от должности, с таковым, впрочем, пояснением, чтобы его впредь никуда не определять и просьб от него не принимать,— за что он и пользовался уважением всего уезда. Севастьяныч невольно вспоминал, что эта тетрадка была единственный кодекс, которым руководствовался Реженский земский суд в своих действиях; что один Севастьяныч мог быть истолкователем таинственных символов этой Сивиллиной книги; что посредством ее магической силы он держал в повиновении и исправника и заседателей и заставлял всех жителей околодка прибегать к себе за советами и наставлениями; почему он и берег ее как зеницу ока, никому не показывал и вынимал из-под спуда только в случае крайней надобности; с усмешкою он останавливался на тех страницах, где частию рукою его покойного батюшки и частию его собственною были то замараны, то вновь написаны разные незначащие частицы, как-то: *не, а,* и проч., и естественным образом Севастьянычу приходило на ум: как глупы люди и как умны он и его батюшка.

Между тем он опорожнил вторую четверть штофа и принялся за работу; но пока привычная рука его быстро выгибала крючки на бумаге, его самолюбие, возбужденное видом тетрадки, работало: он вспоминал, сколько раз

он перевозил мертвые тела на границу соседнего уезда и тем избавлял своего исправника от излишних хлопот; да и вообще: составить ли определение, справки ли навести, подвести ли законы, войти ли в сношение с просителями, рапортовать ли начальству о невозможности исполнить его предписания,— везде и на все Севастьяныч: с улыбкою вспоминал он об изобретенном им средстве: всякий повальный обыск обращать в любую сторону; он вспомнил, как еще недавно таким невинным способом он спас одного своего благоприятеля: этот благоприятель сделал какое-то дельце, за которое мог бы легко совершить некоторое не совсем приятное путешествие; учинен допрос, наряжен повальный обыск,— но при сем случае Севастьяныч надоумил спросить прежде всех одного грамотного молодца с руки его благоприятелю; по словам грамотного молодца написали бумагу, которую грамотный молодец, перекрестяся, подписал, а сам Севастьяныч приступил к одному обывателю, к другому, к третьему с вопросом: «И ты тоже, и ты тоже?» — да так скоро начал перебирать их, что, пока обыватели еще чесали за ухом и кланялись, приготовляясь к ответу,— он успел их переспросить всех до последнего, и грамотный молодец снова, за неумением грамоты своих товарищей, подписал, перекрестяся, их *единогласное* показание. С не меньшим удовольствием вспоминал Севастьяныч, как при случившемся значительном начете на исправника он успел вплести в это дело человек до пятнадцати, начет разложить на всю братию, а потом всех и подвести под милостивый манифест.— Словом, Севастьяныч видел, что во всех знаменитых делах Реженского земского суда он был единственным виновником, единственным выдумщиком и единственным исполнителем; что без него бы погиб заседатель, погиб исправник, погиб и уездный судья, и уездный предводитель; что им одним держится древняя слава Реженского уезда,— и невольно по душе Севастьяныча пробежало сладкое ощущение собственного достоинства. Правда, издали — как будто из облаков — мелькали ему в глаза сердитые глаза губернатора, допрашивающее лицо секретаря уголовной палаты; но он посмотрел на занесенные метелью окошки; подумал о трех стах верстах, отделяющих его от сего ужасного призрака; для увеличения бодрости выпил третью четверть штофа — и мысли его сделались гораздо веселее: ему представился его веселый реженский домик, нажитый своим умком; бутыли с наливкою на окошке между двумя бальзаминными горшками; шкап с посудою и между нею в средине на почетном месте хрустальная на фарфоровом блюдце

перешница: вот идет его полная белолицая Лукерья Петровна; в руках у ней сдобный крупичатый каравай; вот телка, откормленная к святкам, смотрит на Севастьяныча; большой чайник с самоваром ему кланяется и подвигается к нему; вот теплая лежанка, а возле лежанки перина с камчатным одеялом, а под периною свернутый лоскут пестрядки, а в пестрядке белая холстинка, а в холстинке кожаный книжник, а в книжнике серенькие бумажки; — тут воображение перенесло Севастьяныча в лета его юности, ему представилось его бедное житье-бытье в батюшкином доме; как часто он голодал от матушкиной скупости; как его отдали к дьячку учиться грамоте, — он от души хохотал, вспоминая, как однажды с товарищами забрался к своему учителю в сад за яблоками и напугал дьячка, который принял его за настоящего вора; как за то был высечен и в отмщение оскоромил своего учителя в самую страстную пятницу; потом представлялось ему: как наконец он обогнал всех своих сверстников и достиг до того, что читал апостол в приходской церкви, начиная самым густым басом и кончая самым тоненьким голоском, на удивление всему городу; как исправник, заметив, что в ребенке будет прок, приписал его к земскому суду; как он начал входить в ум; оженился с своею дражайшею Лукерьей Петровной; получил чин губернского регистратора, в коем и до днесь пребывает да добра наживает; сердце его растаяло от умиления, и он на радости опорожнил и последнюю четверть обворожительного напитка. Тут пришло Севастьянычу в голову, что он не только что в приказе, но хват на все руки: как заслушиваются его, когда он под вечерок в веселый час примется рассказывать о Бове Королевиче, о похождениях Ваньки Каина, о путешествии купца Коробейникова в Иерусалим — неумолкаемые гусли, да и только! — и Севастьяныч начал мечтать: куда бы хорошо было, если бы у него была сила Бовы Королевича и он бы смог кого за руку — у того рука прочь, кого за голову — у того голова прочь; потом захотелось ему посмотреть, что за Кипрский таков остров есть, который, как описывает Коробейников, изобилен деревянным маслом и греческим мылом, где люди ездят на ослах и на верблюдах, и он стал смеяться над тамошними обывателями, которые не могут догадаться запрячь их в сани; тут начались в голове его рассуждения: он нашел, что или в книгах неправду пишут, или вообще греки должны быть народ очень глупый, потому что он сам расспрашивал у греков, — приезжавших на реженскую ярмарку с мылом и пряниками, и которым, кажется, должно было знать, что̀ в их земле делается, —

зачем они взяли город Трою,—как именно пишет Коробейников,—а Царьград уступили туркам! и никакого толка от этого народа не мог добиться: что за Троя такая, греки не могли ему рассказать, говоря, что, вероятно, выстроили и взяли этот город в их отсутствие;—пока он занимался этим важным вопросом, пред глазами его проходили: и арабские разбойники; и Гнилое море; и процессия погребения кота; и палаты царя Фараона, внутри все вызолоченные; и птица Строфокамил, вышиною с человека, с утиною головою, с камнем в копыте...

Его размышления были прерваны следующими словами, которые кто-то проговорил подле него:

— Батюшка, Иван Севастьяныч! я к вам с покорнейшею просьбою.

Эти слова напомнили Севастьянычу его ролю приказного, и он, по обыкновению, принялся писать гораздо скорее, наклонил голову как можно ниже и, не сворачивая глаз с бумаги, отвечал протяжным голосом:

— Что вам угодно?

— Вы от суда вызываете владельцев поднятого в Морковкине мертвого тела.

— Та-ак-с.

— Так изволите видеть—это тело мое.

— Та-ак-с.

— Так нельзя ли мне сделать милость, поскорее его выдать?

— Та-ак-с.

— А уж на благодарность мою надейтесь...

— Та-ак-с.—Что же покойник-та, крепостной что ли ваш был?..

— Нет, Иван Севастьяныч, какой крепостной, это тело мое, собственное мое...

— Та-ак-с.

— Вы можете себе вообразить, каково мне без тела... сделайте одолжение, помогите поскорее.

— Все можно-с, да трудновато немного скоро-то это дело сделать,—ведь оно не блин, кругом пальца не обвернешь; справки надобно навести... Кабы подмазать немного...

— Да уж в этом не сомневайтесь,—выдайте лишь только мое тело, так я и пятидесяти рублей не пожалею...

При сих словах Севастьяныч поднял голову, но, не видя никого, сказал:

— Да войдите сюда, что на морозе стоять.

— Да я здесь, Иван Севастьяныч, возле вас стою.

Севастьяныч поправил лампадку, протер глаза, но, не видя ничего, пробормотал:

— Тьфу, к черту!—да что я, ослеп, что ли?—я вас не вижу, сударь.

— Ничего нет мудреного! как же вам меня видеть? я—без тела!

— Я, право, в толк не возьму вашей речи, дайте хоть взглянуть на себя.

— Извольте, я могу вам показаться на минуту... только мне это очень трудно...

И при этих словах в темном углу стало показываться какое-то лицо без образа; то явится, то опять пропадет, словно молодой человек, в первый раз приехавший на бал,—хочется ему подойти к дамам и боится, выставит лицо из толпы и опять спрячется...

— Извините-с,—между тем говорил голос,—сделайте милость, извините, вы не можете себе вообразить, как трудно без тела показываться!.. сделайте милость, отдайте мне его поскорее,—говорят вам, что пятидесяти рублей не пожалею.

— Рад вам служить, сударь, но,право, в толк не возьму ваших речей... есть у вас просьба?..

— Помилуйте, какая просьба? как мне было без тела ее написать? уж сделайте милость, вы сами потрудитесь.

— Легко сказать, сударь, потрудиться, говорят вам, что я тут ни черта не понимаю...

— Уж пишите только,—я вам буду сказывать.

Севастьяныч вынул лист гербовой бумаги.

— Скажите, сделайте милость: есть ли у вас по крайней мере чин, имя и отчество?

— Как же?.. Меня зовут Цвеерлей-Джон-Луи.

— Чин ваш, сударь?

— Иностранец.

И Севастьяныч написал на гербовом листе крупными словами:

«В Реженский земский суд от иностранного недоросля из дворян Савелия Жалуева, объяснение».

— Что ж далее?

— Извольте только писать, я уж вам буду сказывать; пишите: имею я...

— Недвижимое имение, что ли?—спросил Севастьяныч.

— Нет-с: имею я несчастную слабость...

— К крепким напиткам, что ли? о, это весьма непохвально...

— Нет-с: имею я несчастную слабость выходить из моего тела...

— Кой черт!—вскричал Севастьяныч, кинув перо,— да вы меня морочите, сударь!

— Уверяю вас, что говорю сущую правду, пишите только знайте; пятьдесят рублей вам за одну просьбу, да пятьдесят еще, когда выхлопочете дело...

И Севастьяныч снова принялся за перо.

«Сего 20 октября ехал я в кибитке, по своей надобности, по реженскому тракту, на одной подводе, и как на дворе было холодно, и дороги Реженского уезда особенно дурны...»

— Нет, уж на этом извините,— возразил Севастьяныч,— этого написать никак нельзя, это личности, а личности в просьбах помещать указами запрещено...

— По мне, пожалуй; ну, так просто: на дворе было так холодно, что я боялся заморозить свою душу, да и вообще мне так захотелось скорее приехать на ночлег... что я не утерпел... и, по своей обыкновенной привычке, выскочил из моего тела...

— Помилуйте!— вскричал Севастьяныч.

— Ничего, ничего, продолжайте; что ж делать, если такая у меня привычка... ведь в ней ничего нет противозаконного, не правда ли?

— Та-ак-с,— отвечал Севастьяныч,— что ж далее?

— Извольте писать: выскочил из моего тела, уклал его хорошенько во внутренности кибитки... чтобы оно не выпало, связал у него руки вожжами и отправился на станцию в той надежде, что лошадь сама прибежит на знакомый двор...

— Должно признаться,— заметил Севастьяныч,— что вы в сем случае поступили очень неосмотрительно.

— Приехавши на станцию, я взлез на печку отогреть душу, и когда, по расчислению моему, лошадь должна была возвратиться на постоялый двор... я вышел ее проведать, но однако же во всю ту ночь ни лошадь, ни тело не возвращались. На другой день утром я поспешил на то место, где оставил кибитку... но уже и там ее не было... полагаю, что бездыханное мое тело от ухабов выпало из кибитки и было поднято проезжим исправником, а лошадь уплелась за обозами... После трехнедельного тщетного искания я, уведомившись ныне о объявлении Реженского земского суда, коим вызываются владельцы найденного тела, покорнейше прошу оное мое тело мне выдать, яко законному своему владельцу... к чему присовокупляю покорнейшую просьбу, дабы благоволил вышеписанный суд сделать распоряжение, оное тело мое предварительно опустить в холодную воду, чтобы оно отошло; если же от случившегося падения есть в том часто упоминаемом теле какой-либо изъян или оное от мороза где-либо попортилось, то оное чрез

уездного лекаря приказать поправить на мой кошт и о всем том учинить как законы повелевают. в чем и подписуюсь.

— Ну, извольте же подписывать,— сказал Севастьяныч, окончив бумагу.

— Подписывать! легко сказать! говорят вам, что у меня теперь со мною рук нету — они остались при теле; подпишите вы за меня, что за неимением рук...

— Нет! извините,— возразил Севастьяныч,— этакой и формы нет, а просьб, писанных не по форме, указами принимать запрещено; если вам угодно: за неумением грамоты...

— Как заблагорассудите! по мне все равно.

И Севастьяныч подписал: «К сему объяснению за неумением грамоты, по собственной просьбе просителя, губернский регистратор Иван Севастьянов сын Благосердов руку приложил».

— Чувствительнейше вам обязан, почтеннейший Иван Севастьянович! Ну, теперь вы похлопочите, чтоб это дело поскорее решили; не можете себе вообразить, как неловко быть без тела!.. а я сбегаю покуда повидаться с женою, будьте уверены, что я уже вас не обижу.

— Постойте, постойте, ваше благородие! — вскричал Севастьяныч,— в просьбе противоречие. Как же вы без рук уклались или уклали в кибитке свое тело? Тьфу к черту, ничего не понимаю.

Но ответа не было. Севастьяныч прочел еще раз просьбу, начал над нею думать, думал, думал...

Когда он проснулся, ночник погас и утренний свет пробился сквозь обтянутое пузырем окошко. С досадою взглянул он на пустой штоф, пред ним стоявший; эта досада выбила у него из головы ночное происшествие; он забрал свои бумаги не посмотря и отправился на барский двор в надежде там опохмелиться.

Заседатель, выпив рюмку водки, принялся разбирать Севастьянычевы бумаги и напал на просьбу иностранного недоросля из дворян.

— Ну, брат Севастьяныч,— вскричал он, прочитав ее,— ты вчера на сон грядущий порядком подтянул; экую околесную нагородил! Послушайте-ка, Андрей Игнатьевич,— прибавил он, обращаясь к уездному лекарю,— вот нам какого просителя Севастьяныч предоставил.— И он прочел уездному лекарю курьезную просьбу от слова до слова, помирая со смеху.

— Пойдемте-ка, господа,— сказал он наконец,— вскроемте это болтливое тело, да если оно не отзовется, так и похороним его подобру-поздорову, в город пора.

Эти слова напомнили Севастьянычу ночное происшествие, и как оно ни странно ему казалось, но он вспомнил о пятидесяти рублях, обещанных ему просителем, если он выхлопочет ему тело, и серьезно стал требовать от заседателя и лекаря, чтоб тело не вскрывать, потому что этим можно его перепортить, так что оно уже никуда не будет годиться, а просьбу записать во входящий обыкновенным порядком.

Само собою разумеется, что на это требование Севастьянычу отвечали советами протрезвиться, тело вскрыли, ничего в нем не нашли и похоронили.

После сего происшествия мертвецова просьба стала ходить по рукам; везде ее списывали, дополняли, украшали, читали, и долго реженские старушки крестились от ужаса, ее слушая.

Предание не сохранило окончания сего необыкновенного происшествия: в одном соседнем уезде рассказывали, что в то самое время, когда лекарь дотронулся до тела своим бистурием, владелец вскочил в тело, тело поднялось, побежало и что за ним Севастьяныч долго гнался по деревне, крича изо всех сил: «Лови, лови покойника!»

В другом же уезде утверждают, что владелец и до сих пор каждое утро и вечер приходит к Севастьянычу, говоря: «Батюшка Иван Севастьяныч, что ж мое тело? когда вы мне его выдадите?» — и что Севастьяныч, не теряя бодрости, отвечает: «А вот собираются справки». Тому прошло уже лет двадцать.

ИСТОРИЯ О ПЕТУХЕ, КОШКЕ И ЛЯГУШКЕ

Рассказ провинциала

Дмитрию В. Путяте

Критик. Какая цель вашей сказки?
Автор (*униженно клаияясь*).— Рассказать ее вам.

В бытность свою в городе Реженске покойная моя бабушка была свидетельницею одного странного происшествия: будучи уверен, что публике необходимо знать все, что касается до меня или до моих родственников и знакомых, я расскажу это происшествие со всею подробностью, как мне его рассказывали, и, по моему обыкновению, не прибавляя от себя ни единого слова.

Много лет тому назад находился в нашем городе в звании городничего отставной прапорщик Иван Трофимович Зернушкин. Давно уже исправлял он эту должность,— да и не мудрено: все так им были довольны — никогда он ни во что не мешался; позволял всякому делать, что ему было угодно; зато не позволял никому и в свои дела вмешиваться. Некоторые затейники, побывавшие в Петербурге, часто приступали к нему с разными, небывалыми у нас и вредными нововведениями; они, например, толковали, что не худо бы осматривать, хоть изредка, лавки с съестными припасами, потому что реженские торговцы имели, не знаю отчего, привычку продавать в мясоястие баранину, а в пост рыбу, да такую, прости господи! — что хоть вон беги с рынка; иные прибавляли, что не худо бы хотя песку подсыпать по улицам и запретить выкидывать на

них всякий вздор из домов, ибо от того будто бы в осень никуда пройти нельзя, и будто бы от того заражается воздух; бывали даже такие, которые утверждали, что необходимо в городе завести хотя одну пожарную трубу с лестницами, баграми, топорами и другими вычурами. Иван Трофимович на все сии неразумные требования отвечал весьма рассудительно, остроумно и с твердостию. Он доказывал, что лавочники никому своего товару не навязывают и что всякой сам должен смотреть, что покупает; что одни лишь пустодомы да непорядочные люди могут требовать от городничего наблюдения за таким делом, которое должна знать последняя кухарка. Касательно мостовой он говорил, что бог дает дождь и хорошую погоду, и, видно, уж такой положен предел, чтобы осенью была по улицам грязь по колено: сверх того добрые люди сидят дома и не шатаются по улицам, а когда русскому человеку нужда, так он везде пройдет. Если бы, прибавлял он, на улицу ничего не выкидывали, свиньям бедных людей не́чего было бы есть в осеннее и зимнее время. Что касается до воздуха, то воздух не человек и заразиться не может. Относительно пожарной трубы Иван Трофимович доказывал, что таковой и прежде в городе Реженске не имелось, а ныне, когда три части оного уже выгорели, для четвертой нечего уже затевать такие затеи; что, наконец, он, карабинерного полка отставной прапорщик, Иван Трофимов сын Зернушкин, уже не первый десяток на сем свете живет и сам знает свою должность исправлять, городом управлять и начальству отвечать. Такие благоразумные и неоднократно повторенные рассуждения скоро закрыли уста затейникам, особенно, когда однажды, в сердитый час, Иван Трофимович присовокупил, что его, городничего, должность не за грязью на мостовых и не за гнилою рыбою смотреть, а за теми, которые учнут в фортеции злые толки распускать и противу службы злое умышлять.

Все в городе похвалили Ивана Трофимовича за его твердый нрав и обычай, и, благодаря бога, у нас, в Реженске, и до сих пор все осталось по-прежнему: на улицах грязь по колено, по рынкам пройти нельзя. Та только разница, что вместо пожарной трубы в последнее время у нас заведена прекрасная зеленая бочка с двумя также зелеными баграми, но, по завещанию Ивана Трофимовича, на пожар они никогда не вывозятся, ибо иначе легко могли бы испортиться, а хранятся за замком, в нарочно для того определенном сарае. Время оправдало благоразумное распоряжение Ивана Трофимовича: скоро потом проезжавший чиновник долгом почел донести гу-

бернатору об отличном устройстве пожарных инструментов в городе Реженске.

Как бы то ни было, Иван Трофимович, избавившись от докуки реженских затейников, обратился к своим любимым занятиям, которых у него было два,— а именно: чай и кошка. Да, милостивые государи! Иван Трофимович очень любил чай, и даже в нем был большой знаток.

По сей-то причине он часто хаживал по лавкам собирать у купцов чайные пробочки, чтоб не ошибиться. Таким образом, у Иван Трофимовича набиралось когда четверть, когда полфунтика. Не то чтоб он все пробочки мешал вместе: нет! Как настоящий знаток, он выпивал каждую поодиночке, и которого чай он похвалит, тот купец и несет ему гостинец. Говорят, однако же, к чести Ивана Трофимовича,— такая была у него добрая душа!— что он при этом случае руководствовался не столько качеством чая, сколько или очередью между купцами, или разными случавшимися обстоятельствами: так, например, тот, у кого что-нибудь было на душе, уже наверное знал, что Иван Трофимович придет к нему за пробочкою. Не то чтоб это можно было назвать взяткою! Нет! Наши реженские лавочники так любили Ивана Трофимовича, что носили к нему все *из чести!* Да не для чего было и взятки давать: дел таких, как нынче. не было. Разумеется, и тогда в городе было не без ссор, не без зависти, не без злости,— только тогда обычай был другой; придут, бывало, к Ивану Трофимовичу тяжущиеся: оба говорят, говорят,— кто кого перекричит; а Иван Трофимович послушает, послушает,— да одному толчок, другому другой:— никого не обидит, покойник, и вот тяжущиеся потолкуют между собою, потолкуют, много что подерутся,— душеньку отведут, да тут же в питейном дому и помирятся,— да еще за здравие Ивана Трофимовича выпьют. Счастливое тогда времечко было!

Любил кушать чай Иван Трофимович, но не менее того любил он и кошку. Не то чтоб он кошку любил,— нет!— а любил, чтоб кошка у него вокруг шеи ходила, ластилась, терлась да на ухо ему шептала. Правду сказать. да что и за кошка! Нынче уж нет таких кошек! Большая, лоснистая, черная, а мордка, душка и лапки белые, как снег, словно в перчатках. Уж нечего и говорить: у Ивана Трофимовича мышей и в заводе не бывало. Да какие у ней были милые привычки! Говорю вам, что нынче уж нет таких кошек. Бывало, Иван Трофимович проснется, а кошка прямо к нему на постелю, то вытянется, то согнется дугою, то замурлычет, то замяучит,— а зеленые глазки у ней так и катаются, словно изумруды. Тогда

Иван Трофимович вставал, разводил огонь, ставил чайник в печку, надевал фризовую шинель, брал кулечек и отправлялся на рынок, а кошка вслед за ним. Тут и собаки лают, и возы везут, и народ кричит, а ей горя мало: только что через лужицы перепрыгивает да лапки отряхает. Куда в лавку Иван Трофимович, туда и его кошка,—удивленье всему городу!—и вот ей где рыбку, где свежинки: она знай кушает да мурлычет! Возвратится Иван Трофимович, возьмет чайник, сядет к столику возле окошка, а кошка даром, что сыта: не думайте, чтоб она, как нынешние кошки, свернулась в кружок да захрапела,—нет!—она на столик проберется, между чашки и сахарницы, ничего не заденет, или сядет на окошке на солнышко, или на плечо к Ивану Трофимовичу, и мурлыкать не мурлычет, а трется, трется вокруг шеи, и шепчет-шепчет на ухо Ивану Трофимовичу; Иван же Трофимович то погладит ее, то чайку прихлебнет... Так протекали долгие дни.

Один из новейших сочинителей описал эти немые минуты семейственного счастия, когда в голове не проходит ни одной мысли, в душе рождается какое-то тихое, невыразимое чувство; но кто опишет счастие Ивана Трофимовича в этом уединении! Теплая избушка, теплый тулуп, пестрые обои, мыши кота погребают во всю стену, треугольная шляпа, шпага; солнышко светит, от чаю пар столбом, мимо окошка всякой кланяется, вокруг шеи теплая Васькина шкурка, и больше никого—ни детей, ни жены, ни кухарки, и триста верст от губернского города! И это тихое, невыразимое счастие повторяется каждый день; и не один раз в день, а два, поутру и после обеда; иногда же и в промежутках! Две были цели в жизни Ивана Трофимовича: напиться чаю и молча держать Ваську на шее. Эта мысль не оставляла его ни на минуту: он засыпал с нею, видел ее во сне и с нею просыпался; к этой мысли были привязаны все его поступки, все желания, все малейшие движения его души,—других в ней не было. Приставал ли к нему кто-нибудь с делом, случалось ли что важное в городе, он отлагал все, чтоб не пропустить положенного часа для чаю. Говорили ли о ревизоре,—он боялся его только потому, что к нему неловко будет явиться вместе с Ваською.

Но нет вечного счастия в этой жизни! У Ивана Трофимовича была однофамилица, и даже несколько сродни, из дворян,—вдова Марфа Осиповна Зернушкина. Случись у ней какое-то дело в городе Реженске: никак, кто-то у ней мельницу околдовал, ртути в плотину напустил. Марфа Осиповна была женщина бойкая, умная,

скопидомка и хотя грамоте не умела, но тяжебные дела знала лучше иного приказного: потому решилась она хлопотать о делах сама, своею особою, а Иван Трофимович был ей нужен, чтоб за нее по родству руку прикладывать. Она въехала к нему прямо в дом. Соблазна тут никакого быть не могло, потому что им обоим вместе было лет сотня с лишком: добрый Иван Трофимович с радушием отвел ей у себя каморку. Вот, разумеется, при свидании родные обрадовались. Пошли толки о том, о сем, о старине, о новизне, об урожае,—Васька туда же, то ластится, то трется, то замурлычет, то замяучит, то посмотрит на них прищуренными глазками...

— Э! да какая у тебя товарка!—сказала Марфа Осиповна,—давно ли, батюшка, завелся?

— Да давно уж, матушка! лет восемь; с тех пор как мы с тобою не видались...

— Да где, батюшка, и видеться! Ведь восемьдесят верст не шутка! Ты человек служебный, а мне уж не под лета. Три дня, батюшка, к тебе тащилась: ведь на своих!.. Чуть было в грязи не утонула, а еще все большой дороги держалась; ты знаешь, у нас новую дорогу сделали! Кисанька! Кисанька!.. Экая славная!.. Ну, вижу я, ты, право, домком позавелся! Уж не жениться ли хочешь? На дворе я у тебя видела матерого петуха, а здесь кота заморского: а ведь по нашему, по бабьему реченью, кот да петух, что жена, милый друг!

— Ну уж, матушка Марфа Осиповна: что до петуха касается, то его хоть бы не было. Такой крикун—провал его возьми!—глаз свести не даст. Я, пожалуй, вам его хоть даром отдам...

— Благодарствую, батюшка Иван Трофимович. Да зачем это?

— И! ничего, матушка! свои люди, сочтемся. А уж Васька-то мой! То уж подлинно сказать, Марфа Осиповна, что мой Васька милее иной жены. Кабы вы знали, какой затейник, какой забавник! Не только что на охоту ходит, да песни поет, да старую шею у меня греет; нет, матушка: ведь от меня он крохи не получает, а сам со мною по городу бродит да с лавочников оброк берет!..

— Неужели в самом деле!

Невозможно описать всех рассказов Ивана Трофимовича и всех расспросов Марфы Осиповны, и я, подобно сочинителям чувствительных романов, когда дело доходит до страшной завязки, предоставляю читателям дополнить воображением все, что было сказано, недосказано и пересказано при этом свидании.

Прошло несколько дней. Однажды после обеда, сидя за чайным столиком, Марфа Осиповна сказала Ивану Трофимовичу:

— Смотрю я на тебя, батюшка!..

— Да! — отвечал Иван Трофимович.— Так что же?

— А то, что нехорошо!

— Что нехорошо?

— Да так! нехорошо...

— Да что оно такое нехорошо, матушка?

— А то, зачем ты позволяешь кошке себе на ухо шептать!

— На ухо шептать?

— Да, вон видишь: ты, батюшка, ее отогнал, а она тебе опять в ухо лезет.

— Признательно вам сказать, Марфа Осиповна, что же тут дурного? Оно тепло и приятно.

— Да то тут дурного, Иван Трофимович, что она тебе жабу в голове нашепчет.

— Как жабу нашепчет?

— Да так, что у тебя, ни с того ни с сего, жаба в голове заведется.

— Что ты, матушка, говоришь? Уж жаба в голове заведется!.. Да как она туда зайдет?

— Как хочешь, Иван Трофимович! верь или не верь: я тебе не свои слова говорю, а что от родителей слыхала. Ты помнишь батюшку, покойника: он, бывало, слова даром не проронит; а он частенько — царство ему небесное! — толковал, что если кому кошка на ухо шепчет, у того непременно в голове жаба заведется.

«Что эта баба мелет? — думал про себя Иван Трофимович, ложась в постелю и поглаживая Ваську.— Вишь, кошка жабу может нашептать! Чего эти бабы не выдумают!»

Однако ж у Ивана Трофимовича в голове и один и два. Вот кажется Ивану Трофимовичу, что его что-то в голову стукнуло, и будто голова у него заболела. И он думает: «Болит она аль нет? болит, точно болит!.. Нет, не болит, точно не болит!..»

Вставши поутру, Иван Трофимович, как человек благоразумный, рассудил, что в таких случаях лучше всего спросить человека знающего. Был у него задушевный приятель, Богдан Иванович, уездный лекарь. Давно они уже с ним не видались.— «Дай-ка зайду к Богдаше,— сказал Иван Трофимович,— да спрошу: он человек искусный и верно мне всю правду скажет».— Сказано — сделано.

Не хотелось Ивану Трофимовичу признаться, что он поверил бабьим сплетням, но, как человек тонкий, завел речь стороною.

После обыкновенных приветствий Иван Трофимович сказал лекарю:

— Что это, батюшка, Богдан Иванович? У нас в городе все головой жалуются. Отчего бы это?

— Да не мудрено, Иван Трофимович! — отвечал лекарь. — Теперь пора осенняя, а в эту пору обыкновенно усиливается геморрой.

— А разве только что от геморроя и может болеть голова?

— Нет; она может болеть и от разных причин: от простуды, от угару, от несварения пищи.

— А от каких ни есть других причин может болеть голова?

— Да от каких же это?

— Ну, примером сказать, правда ли это, батюшка, что будто бы иногда у человека жаба заводится в голове?

— Мало ли чудес в теле человеческом! Бывали и такие примеры.

— Как! Бывали?

— Да, но, к счастию, очень редко.

— Какие чудеса на свете бывают! Да как же помочь в таком несчастном случае?

— Ну, тут уж надобно делать операцию!

— Операцию!

— Да! И очень трудную. Вскрывают голову.

— Вскрывают голову? Да как же это?

— Да вот, видишь: есть такой инструмент; он словно крышка с чайника, только кругом его острые зубчики, как у пилки.

— Ну?

— Вот на голове выбреют волосы, кожицу подрежут кругом, да и приймутся вертеть этот инструмент на черепе: он и выпилит из него кружочек.

— Ну?

— Ну, кружочек снимут: если лягушка или что другое на том месте, то...

— Как, если на том месте!.. А если на другом?

— Ну, так еще вертят череп.

Ноги оледенели у Ивана Трофимовича; однако ж он собрался с силами и выговорил:

— Как же это, батюшка! этак всю голову как тыкву изрежут!.. Да что ж с человеком-то в это время бывает?

— Чему быть с человеком! Он лежит без памяти.

— И живут еще после этакого мучения?

— Признательно сказать, Иван Трофимович, так почти всегда умирают.

В раздумье пошел Иван Трофимович от лекаря.— «Не соврала баба! — сказал он дорогою,— не соврала! Экая беда какая!» — И, пришедши домой, он увидел, что Марфа Осиповна уже собирается в путь.

— Куда спешишь, матушка?

— Да что, Иван Трофимович, время терять! Спасибо тебе, все дела мои покончила; какие хвосты остались, ты и без меня их заправишь. Благодарим за хлеб, за соль...

— Не на чем, матушка, не на чем!

Когда Марфа Осиповна собралась совсем уже садиться в кибитку, Иван Трофимович, скрепя сердце, сказал ей:

— Послушай, матушка: подарил я тебе петуха... возьми уж... и кошку!

Марфе Осиповне того только и хотелось.

— И! зачем это! — отвечала она.— Ведь у тебя Васька единое утешение...

— Нет, матушка! Я вот, видишь, человек холостой, прибирать в доме некому, а ведь кошка блудница; прыгнет неравно куда, да заденет, разобьет... У тебя же в деревне простор большой.

— И подлинно так, Иван Трофимович! Давай, давай; а я тебе за то к великому посту пришлю медку к чаю да грибков сушеных... Ведь ты, чай, постничаешь?..

Почти слезы навернулись у Ивана Трофимовича, когда пришлось расставаться с Ваською; но делать было нечего. Петуха усадили в лукошко, Ваську в мешок, Марфу Осиповну в кибитку, и все тряхнулось и покатилось.

С тех пор жизнь опостылела Ивану Трофимовичу. Все ему грустно, все холодно вокруг шеи; даже чай ему казался горьким, сколько он ни прикусывал сахару. Войдет ли в комнату,— ему чудится, что Васька мурлычет; пойдет ли по городу — все оборачивается полюбоваться на него: то схватится за холодную шею,— и нет Васьки!..

Однажды, когда Иван Трофимович сидел за чайным столиком и перед ним стыла налитая чашка, зашел к нему приятель.

— Здравствуй, батюшка Иван Трофимович! Подобру ли, поздорову поживаешь?..

— Нет, почтеннейший!.. нездоровится! Даже чай в горлышко не идет.

— Да что ж такое с вами, Иван Трофимович?

— Да бог весть что!.. И голова побаливает, да и что-то грустно все; ни на что глядеть не хочется.

— И, батюшка, Иван Трофимович! Хотите, я вас лекарству научу?

— Удружи, почтеннейший!

— Прибавляйте кизлярской водочки к чаю,— так не то заговорите.

— Что ты, почтеннейший! Я сроду хмельного в рот не брал и вкусу в нем не знаю.

— Попробуйте. Ведь вам уж пьяницею не сделаться!.. А кизлярская водка с чаем, скажу вам, лучшее лекарство от всех болезней. Лекаря обыкновенно ее отсоветывают оттого, что это лекарство отнимает у них барыши, а его действительность я сам на себе испытал. Вот, онамнясь, у бугорья мост у меня под кибиткою провалился: кучер еще как-то удержался, а меня отбросило в промоину,— по уши в воду, батюшка! — Нитки сухой не осталось! Приехал домой,— день-то был морозный,— такая меня проняла трясовица, что свету божьего невзвидел: в голову бьет, зубы стучат, руки и ноги ходенем ходят. Что ж я? — Жена! давай чаю, давай водки! Да как вытянул стаканчика два, на другой день как рукою сняло. Ведь это уж видимый опыт!.. Какое бы лекарство так скоро подействовало? Послушайтесь, Иван Трофимович, попробуйте: право, благодарить меня будете! Ведь есть у вас кизлярская?..

— Держу для приятелей.

— Ну, попробуйте! Ведь раз — ничего не стоит!

Иван Трофимович послушался, попробовал; сперва было поморщился, но потом он сказал: «Странное дело!.. Водка лучше вкус придает чаю! Посмотрим, какая-то будет польза».

После двух чашек в самом деле Ивану Трофимовичу сделалось гораздо веселее. Это наслаждение он повторил и на другой день, и на третий, и на четвертый, и так далее.

Однажды сильная головная боль разбудила Ивана Трофимовича: он вскочил с постели как угорелый. Скорей к кизлярке: выпил — помогло. Через несколько времени другой толчок, и сильнее первого: опять к кизлярке,— и опять помогло. Потом еще третий,— и кизлярка уже не помогла. Тщетно Иван Трофимович увеличивал прием своего лекарства: ему все было хуже да хуже. Иван Трофимович струсил; ему уже кажется, что у него в голове что-то шевелится и царапается: беда, и только!

И с этого времени страшные сны пошли у Ивана Трофимовича. То ему кажется, что у него череп снимают, как крышку, а в черепе-то целое гнездо лягушек и всяких гадов. То ему кажется, будто он сам обратился в огромную и толстую жабу: и горько и стыдно ему!..

Хочет надеть сюртук, чтоб прикрыться, а сюртук не застегивается!—Лишь рукава по воздуху болтаются!.. То, наконец, ему кажется, что у него в голове целый город Реженск,—крик, шум, скрип от возов... а по улицам все ходят не люди, а лягушки на задних лапках и с ножки на ножку переваливаются!..

Не на шутку испугался Иван Трофимович! И стыд прочь, и бросился он к лекарю.

— Батюшка, Богдан Иванович! помогите, спасите!

— Что с вами случилось, Иван Трофимович? Дайте-ка пульс пощупать...

— И! полно, батюшка!.. какой тут пульс! Помните, мы с вами недавно разговор имели об одной странной болезни?..

— Ну, помню. Так что же?

— Ну, батюшка! Эта самая болезнь со мною, грешным, и приключилась...

— Я вас не понимаю, Иван Трофимович...

— Чего тут не понимать, батюшка! Жаба у меня в голове завелась. Да!.. жаба, понимаете? Жаба в голове...

— Бог с вами, Иван Трофимович! Да с чего вы это взяли?

— Как с чего взял? Я перед вами, батюшка, как перед отцом духовным, таиться не буду; все вам расскажу. Пристрастился я к кошке... Помните, у меня кошка была, такая славная, теплая,—провал ее возьми!—черная, лоснистая... Вот и повадилась она, окаянная, мне на ухо шептать: шептала, шептала, да жабу и нашептала...

Лекарь захохотал во все горло.

— Помилуйте, Иван Трофимович! С вашим умом, и верить такому вздору?..

— Смейся, батюшка, смейся, как хочешь!—вскричал Иван Трофимович сквозь слезы.—Ведь ты не знаешь, что у меня в голове делается, а я так знаю; я ведь чувствую, как в ней кто-то проклятой царапается,—индо голова трещит; а уж болит-то она, болит-то,—едва рассудка не теряю! Что за беда такая! Уж шестой десяток живу на свете, на службе уже сороковой год, всегда верой и правдой служил, и под турку ходил и под картечью бывал, дошел до звания городничего, и никогда со мною таковой оказии не бывало, а теперь, под старость лет, бог меня посетил таким позором!.. Помоги, батюшка, помоги как хочешь, не то я сам на себя руки наложу!..

Лекарь, видя, что все его увещания будут тщетны в эту минуту, решился более не противоречить старику и сказал:

— Ну, слушайте ж, Иван Трофимович! Если подлинно в вас есть такая болезнь, то возьмите несколько терпенья: я уже вам, кажется, сказывал, что я только мельком слыхал о такой странной болезни, но, признательно вам откроюсь, никогда в глаза не видывал, ни в книгах не читывал. Дайте мне время немножко подумать да в книжках справиться. Я сам не замедлю к вам ответ принести, а теперь вот примите этот прохладительный порошок да привяжите к голове капустных листьев, а там, даст бог, увидим, что надобно делать.

По выходе Ивана Трофимовича лекарь задумался. В нем невольно взволновалась старая студенческая кровь; он невольно вспомнил то восхищение, с каким, бывало, он и его товарищи узнавали о поступлении в клинику какого-нибудь странного больного или странного мертвого.— «Что за несчастие!—говаривали они,—зима уже давно началась, а еще так мало к нам привозят замороженных кадаверов!»—«Какое счастие!—кричали они друг другу,—целых шесть славных кадаверов привезли!»—А если между кадаверами попадался какой-нибудь урод с шестью пальцами, с сердцем на правой стороне, с двойным желудком: то-то радость!.. то-то восхищение!.. Новое знание! надежда открытия! пояснение наблюдений! новые толки профессора! новые системы!

Давно уже этот род наслаждения потерялся для нашего уездного лекаря; уже пятнадцать лет, как он оставил столицу; до него не дошло почти ни одного из наблюдений, сделанных в продолжение этого времени, в продолжение пятнадцати лет,—этого медицинского века! Близ него ни академии, ни журналов, ни библиотеки, а одна почти механическая работа, одна нужда доставать себе пропитание посреди людей необразованных: не с кем поверить даже самого простого наблюдения; нет минуты, чтобы привести в порядок свои опыты! все двадцать четыре часа в сутки расходуются на разъезды, на следствия, на самые мелочные занятия жизни. С отчаянием врач посмотрел на свою скудную библиотеку: Лаврентия Гейстера «Анатомия», изданная в 1775 году; какой-то «Полный Врач», того же времени; школьная диссертация его приятеля, «О нервном соке»; его собственная диссертация на степень лекаря, в свое время наделавшая много шуму: «О пристойном железы наименовании», с эпиграфом из Гейстера:

Железо, какая часть, чтоб сказал врач, трудно;
Ибо доктора в том все учили скудно,—

несколько нумеров «Московских ведомостей», школьные тетрадки,—вот и все!..

С чем справиться? Где найти не только средство лечения, но даже описание болезни своего пациента?..

В досаде, в уверенности ничего не найти, он берет своего руководителя Гейстера, отыскивает главу «О голове», читает: «Содержимые части (contentae partes) суть: мозг (cerebrum)... Около мозга головного жестокая мать (dura mater), или твердая оболочка над мозгом, из волокон сухожильных состоящая...»

Он бросил от себя книгу: все это было им читано, перечитано, учено и переучено!..

Тут ему пришла на мысль еще книга, которую некогда получил он в университете в награду за прилежание, которую тщательно завертывал он в бумажку и бережно хранил особо от других книг, по причине ее дорогого переплета: то был перевод книги «О предчувствиях и видениях», только что тогда появившейся в свет.

Развернув эту книгу, он напал на то место, где описывается известный поступок знаменитого Бургава в Гарлемском сиротском доме. Одна из воспитанниц дома впала в судороги: на нее смотря, другая, третья, четвертая, и таким образом почти все до последней. Бургав, видя, что это было действие одного воображения, приказал принести в комнату жаровню с угольями и щипцы и объявил, что у первой, которая впадет в судороги, станут жечь руку раскаленными щипцами. Это лекарство так устрашило больных, что все они в одну минуту выздоровели.

Прочитав это описание, Богдан Иванович задумался. Продолжая читать, он встретил описание больного, который воображал, будто у него ноги хрустальные и которого излечила служанка, уронив ему на ноги вязанку дров. Потом нашел он еще описание больного, который воображал, будто у него на носу сидит муха, и беспрестанно махал рукою, тщетно желая согнать ее. «Остроумный врач,—сказано было в книге,—уверив больного, что он имеет средство излечить его, ударил его по носу ланцетом, и в ту же минуту показал больному приготовленную прежде для того муху».

Слова «остроумный врач, знаменитый Бургав» невольно остановили Богдана Ивановича.

— Что!—сказал он сам себе,—если бы и мне удалось произвести в действие подобное лечение! Я бы описал подробно темперамент моего пациента, его мономанические припадки, средство, мною придуманное для его

излечения, полный успех мой, и слава обо мне пролилась бы во всем мире, мое описание послал бы я в Академию... даже в иностранных газетах возвестили бы миру о том, как редки и замечательны в летописях науки подобные случаи, какую трудность представлял Иван Трофимович для излечения, как «остроумный» врач искусно воспользовался состоянием нервного сока в своем пациенте, и прочая, и прочая: и, может быть, за это бы вызвали меня в Петербург, приняли бы в Академию?.. О радость! о счастие!.. Решено!

И Богдан Иванович поспешно собрал все находившиеся у него инструменты,— кривые и прямые ножницы, кривые и прямые ножички; присоединил еще к ним все, что только могло найтися в его скудном хозяйстве: вертела, пирожные загибки, обломки невинных щипцов,— все пошло впрок! Засим в ближнем болоте он поймал огромную лягушку, согнул ей лапки, положил ее в карман камзола и с этим запасом, нахмурив брови как можно грознее, явился к Ивану Трофимовичу. Не говоря ни слова, он разложил на столе возле самого окошка, где обыкновенно сиживал Васька, все свои военные снаряды. Иван Трофимович побледнел.

— Что это?—вскричал городничий с ужасом.

— Я долго размышлял, рылся в книгах о вашей болезни, Иван Трофимович,—сказал лекарь с величайшею важностию,—и нахожу, что единственное средство для вашего спасения есть операция... правда, ужасная.

— Операция!—вскричал Иван Трофимович,—то есть провертеть мне голову!.. Нет, ни за что на свете! Уж лучше так умереть, нежели под твоими ножами...

— Но это единственное средство.

— Нет! Ни за что на свете!

— Но вы чувствуете в голове нестерпимую боль, которая будет усиливаться все больше и больше...

— Нет! Ничего не бывало!.. теперь уж все прошло...

— Но за два часа перед сим?..

— Прошло, говорят тебе! Совсем прошло!

Тщетны были все усилия лекаря: он видел, что цель его испугать больного была слишком достигнута, и рассудил, что надобно несколько отдалить ее.

— Но послушайте!—сказал он.—Ведь эта операция совсем не так опасна, как вы думаете...

— Нет, отец родной! Меня не перехитришь: я сам человек лукавый. Я помню все ужасти, которые ты мне рассказывал. Я как подумаю о том, то едва голова с плеч не валится.

— Но уверяю вас, что я сделаю так искусно, так осторожно, что вы и не почувствуете...

— Какое тут искусство поможет, как начнешь мне череп сверлить!.. Дурак, что ли, я тебе дался?

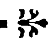
Лекарь был в отчаянии. Он к Ивану Трофимовичу и с вертелом, и с ланцетом, и с щипцами: Иван Трофимович не дается. Наконец городничий рассердился, лекарь также; минута была решительная: от нее зависели и будущая слава Богдана Ивановича, и богатство, и Академия, и статьи в газетах, и завидная участь его ученого поприща. Вооруженный ланцетом, он в отчаянии бросается на своего пациента, стараясь хотя дотронуться до его головы и показать ему успех операции; но Иван Трофимович вдруг вспомнил прежнюю молодецкую силу... они борются: стол вверх ногами; чашки, чайник, все вдребезги: для обоих дело о жизни и смерти!.. И в самую эту минуту... холодная свидетельница и невинная участница происшествия, пользуясь одним из движений лекаря, изо всех сил шлепнулась на пол.

— Это что?—вскричал удивленный Иван Трофимович.—Злодей! окаянный! Ты не только хотел умертвить меня, но и посадить мне в голову какую-то гадину!.. Вон отсюда, окаянный!.. вон, говорю тебе!..

И с сими словами Иван Трофимович, понатужившись, выкинул Богдана Ивановича из окошка...

Доныне в архиве Реженского земского суда хранится «жалоба отставного прапорщика пехотного карабинерного полка, реженского городничего, Ивана Трофимова сына Зернушкина, на таковогo же уезда лекаря Богдана Иванова сына Горемыкина, о разбитии фаянсовых чашек и чайника, о явном умысле предать его, Зернушкина, умертвию и посадить ему в голову некую гадину».

Старики говорят, однако же, что с того времени Иван Трофимович освободился навсегда от своего припадка.



НОВЫЙ ГОД

(Из записок ленивца)

«Если записывать каждый день своей жизни, то чья жизнь не будет любопытна?» — сказал кто-то.

На это я мог бы очень смело отвечать: «Моя». Что может быть любопытного в жизни человека, который на сем свете ровно ничего не делал! Я чувствовал, я страдал, я думал за других, о других и для других. Пишу свои записки, перечитываю, и не нахожу в них только одного: самого себя. Такое самоотвержение с моей стороны должно расположить читателей в мою пользу; увидим, ошибся ли я в своем расчете; вот несколько дней *немоей* жизни; если они вам не слишком наскучат, то расскажу и про другие.

ДЕЙСТВИЕ I

— Вина! вина! наливай скорее; уже без пяти минут двенадцать.

— Неправда, еще целых полчаса осталось до Нового года...— отвечал Вячеслав, показывая с гордостию на свои деревянные часы с розанами на циферблате и чугунными гирями.

— Это по твоим часам: они всегда целым часом отстают!..

— Зато они иногда двумя часами бегут вперед; оно на то же и наведет,— заметил записной насмешник.

— Неправда, они очень верны,— возразил Вячеслав с досадою,— я их каждый день поверяю по городским...

— Сколько ему гордости придают его часы! — продолжал насмешник.— Купил у носящего за целковый, повесил на стену, смотрите, точно гостиная...

— Неправда, они куплены у часовщика, и за них заплачено двадцать пять рублей...

— Объявляю вам, господа, что от этой славной покупки у нас будет сегодня двумя бутылками меньше...

Так мы кричали, шумели, спорили и болтали всякий вздор накануне Нового года в маленькой комнатке Вячеслава в третьем этаже. Нас было человек двенадцать — все мы только что вышли из университета. Вячеслав был немногим богаче всех нас, но как-то щеголеватее и к тому же большой мастер устраивать в своей комнате и хозяйничать; например, у Вячеслава сверх табака водились всегда сыр и так называемое вино из *ренскового* погреба; в комнате, вместо классической железной кровати студента с байковым одеялом, стоял диван, обтянутый полосатою холстинкою; на этом диване лежали кожаные подушки, с которых на день снимались наволочки; возле дивана был растянут сплетенный из покромок ковер, отчего диван получал вид роскошного оттомана; книги лежали не на полу, по общему обыкновению, но на доске, прибитой к стене под коленкоровой занавеской; не только был стол для письма, но и еще другой стол особенно, хотя и без ящика; над единственным окошком висел кусок полотна; даже были вольтеровские кресла; наконец, знаменитые часы гордо размахивали маятником и довершали убранство комнаты.

Такое пышное устройство возбуждало всеобщую зависть и всеобщее удивление и с тем вместе было причиною, почему квартира Вячеслава была всегда местом наших собраний.— Так было и сегодня. За месяц еще Вячеслав преважно пригласил нас встретить у него Новый год, обещая даже сделать жженку. Разумеется, отказа не было. Мы знали, что он уже давно хлопочет о приготовлениях, что заказан пирог и что, сверх обыкновенного его так называемого вина, будет по крайней мере три бутылки шампанского!

После смеха и шума, к 12-ти часам все пришло в порядок.

Как мы все уселись на трех квадратных саженях, я теперь уж не понимаю, только всем было место: кому на диване, кому на окошке, кому на столе, кому на полке; на одних вольтеровских креслах сидели, мне кажется, три человека! — Вот на столе уже уставлены огромный пирог, огромный сыр, бутылки и, разумеется, череп — для того, чтоб наше пиршество больше приближалось к лукуллову.

Двенадцать трубок закурились в торжественном молчании; но едва деревянные часы продребезжали полночь, мы чокнулись стаканами и прокричали «ура» Новому году. Правда, шампанское было немножко тепло, а горячий пирог был немножко холоден, но этого никто не заметил. Беседа была веселая. Мы только что вырвались из школьного заточения, мы только что вступали в свет: широкая дорога открывалась пред нами — простор молодому воображению. Сколько планов, сколько мечтаний, сколько самонадеянности и — сколько благородства! Счастливое время! Где ты?..

К тому же мы были люди важные: мы уже имели наслаждение видеть себя в печати — наслаждение, в первый раз неизъяснимое! Уже мы принадлежали к литературной партии и защищали одного добросовестного журналиста против его соперников и ужасно горячились. Правда, за то нам и доставалось. Сначала раздаватели литературной славы приняли было новых авторов с отеческим покровительством; но мы, в порыве беспристрастия, в ответ на нежности, задели всех этих господ без милосердия. Такая неблагодарность с нашей стороны чрезвычайно их рассердила. В эту позорную эпоху нашей критики литературная брань выходила из границ всякой благопристойности; литература в критических статьях была делом совершенно посторонним: они были просто ругательство, площадная битва площадных шуток, двусмысленностей, самой злонамеренной клеветы и обидных применений, которые часто простирались даже до домашних обстоятельств сочинителя; разумеется, в этой бесславной битве выигрывали только те, которым нечего было терять в отношении к честному имени. Я и мои товарищи были в совершенном заблуждении: мы воображали себя на тонких философских диспутах портика или академии, или по крайней мере в гостиной; в самом же деле мы были в райке: вокруг пахнет салом и дегтем, говорят о ценах на севрюгу, бранятся, поглаживают нечистую бороду и засучивают рукава,— а мы выдумываем вежливые насмешки, остроумные намеки, диалектические тонкости, ищем в Гомере или Вергилии самую жестокую эпиграмму против врагов наших, боимся расшевелить их деликатность... Легко было угадать следствие такого неравного боя. Никто не брал труда справляться с Гомером, чтобы постигнуть всю едкость наших эпиграмм: насмешки наших противников в тысячу раз сильнее действовали на толпу читателей, и потому, что были грубее, и потому, что менее касались литературы.

К счастию, это скорбное время прошло. Если бы остаткам героев того века и хотелось возобновить эту выгодную для них битву,— такое предприятие едва ли увенчается успехом; общее презрение мало-помалу налегло на достойных презрения — и им уже не приподняться! Но тогда,— тогда другое дело. Многие из нас были задеты этими господами со всею лакейскою грубостию; насмешники были против нас, и, стыдно признаться, глупые шутки наших критиков звенели у нас в ушах; мы чувствовали всю справедливость нашего дела — и тем досаднее была нам несправедливость общего голоса.— В зрелых летах человек привыкает к людской несправедливости, находит ее делом обыкновенным, часто горьким, чаще смешным; но в юности, когда так хочется верить всему высокому и прекрасному, несправедливость людей поражает сильно и наводит на душу невыразимое уныние. Этому состоянию духа должно приписать тот байронизм, в котором, может быть, уже слишком упрекают молодых людей и в котором бывает часто виновата лишь доброта и возвышенность их сердца. Люди бездушные никогда и ни о чем не тоскуют.

Как бы то ни было, эти нападки бесславных врагов, их торжество в общем мнении сближали товарищей в нашем маленьком кругу; здесь мы отдыхали; каждый знал труды другого; каждый по себе ценил усилия товарища; общая несправедливость была нам даже полезна: мы с бо́льшею бодростию поощряли друг друга к новым трудам и с каждым днем становились более строги к самим себе.

Наша беседа пред Новым годом была полна этой пламенной, этой живой, юношеской жизни.— Сколько прекрасных надежд! Сколько планов, перемешанных с тонкими, аттическими эпиграммами против наших гонителей!.. Вячеслав был душою нашего общества: он нам преважно доказал, что Новый год непременно должно начать чем-нибудь дельным, сам в качестве поэта схватил лист бумаги и стал импровизировать стихи, а нам предложил каждому выбрать себе какую-нибудь дельную, важную работу, которой надлежало предаться в течение года. Предложение было принято с восторгом — и в этот день мы погрозились читателям несколькими системами философии, несколькими курсами математики, несколькими романами и несколькими словарями. От близкой работы мы перешли к отдаленной; все отрасли деятельности были разобраны: кто обещался возвысить наукою воинственное имя своих предков; кто перенести в наш мир промышленности все знания Европы; кто на царской службе принести в жертву жизнь на поле брани или в тяжких трудах

гражданских. Мы верили себе и другим, ибо мысли наши были чисты и сердце не знало расчетов. Между тем Вячеслав окончил свои стихи, в которых намекал о трудах, заказанных нами самим себе. Нет нужды сказывать, что мы провозгласили его истинным поэтом и убедительно ему доказывали, что его предназначение в этой жизни — *развивать идею поэзии;* долго потом, встречаясь, мы, вместо обыкновенного «здравствуй», приветствовали друг друга стихами нашего поэта: они наводили светлый, радужный отблеск на все наши мысли и чувства.

Мы расстались с дневным светом, обещали друг другу сбираться всем в этот день ежегодно у Вячеслава, несмотря на все препятствия, и давать друг другу отчет в исполнении своих обещаний.

Несколько лет мы были неразлучны. Многих судьба переменилась; кромчатый ковер заменился хитрыми изделиями английской промышленности; маленькая комнатка обратилась в пышные, роскошные хоромы; шампанское мерзло в серебряных вазах, наполненных химическим холодом,— но мы, в честь старой студенческой жизни, сходились запросто, в сюртуках, и по-прежнему делились откровенными мыслями и чувствами. Между тем некоторые из наших работ были начаты, большая часть — не окончены, остальные переменены на другие. Мало-помалу судьба разнесла нас по всем концам мира; оставшиеся сходились по-прежнему в первый день года; отсутствующие писали к нам, что они в эти дни мысленно переносились к друзьям: кто из цареградского храма св. Софии, кто с берегов Ориноко, кто от подошвы Эльборуса, кто с холмов древнего Рима.

ДЕЙСТВИЕ II

Прошло еще несколько лет. Судьба носила меня по разным странам. Я приехал в Москву накануне Нового года; искать Вячеслава — нет его: он в подмосковной верст за десять; я в том же экипаже в подмосковную, куда приехал около полуночи. Лошади быстро пронесли меня по запушенному снегом двору; в барском доме еще мелькал огонь. Прошед несколько слабо освещенных комнат, я дошел до кабинета. Вячеслав на коленях перед колыбелью спящего младенца; ему улыбалась прекрасная, в цвете лет женщина; он узнал меня и дал знак рукою, чтоб я говорил тише:

— Он только что стал засыпать,— сказал Вячеслав шепотом; жена его повторила эти слова. Несколько минут

я смотрел с умилением на эту семейную картину. Видно было по всему, что в этом доме жили, а не кочевали; все было придумано с английскою прозорливостию для жизни семейной, ежедневной: стол был покрыт книгами и бумагами, мебель спокойная, необходимая занятому человеку; везде беспорядок, составляющий середину между порядком праздного человека и небрежностью ленивца; на креслах пюпитры для чтения, фортепьяно, начатая канва, развернутые журналы и, наконец, воспоминание прежней нашей жизни — студенческие деревянные часы. Я не успел еще осмотреться, когда младенец заснул крепким сном невинности. Вячеслав приподнялся от колыбели и сжал меня в своих объятиях.

— Это мой старый товарищ, — говорил он, знакомя с своею женою, — сегодня канун Нового года, надобно встретить его по старине.

Мы уселись втроем за маленьким столиком; в 12 часов чокнулись рюмками и стали вспоминать о былом, припоминать товарищей... Многих недосчитывались: кто погиб славною смертью на поле брани, кто умер не менее славною смертью, изнуренный кабинетным трудом и ночами без сна; кого убила безнадежная страсть, кого невозвратимая потеря, кого несправедливость людская; но половины уже не существовало в сем мире!

Не было криков, не было юношеских восторгов на этом мирном пире, не было необдуманных обещаний, легкомысленных надежд; мы говорили шепотом, чтоб не разбудить дитя; часто мы останавливались на недоконченной фразе, чтоб взглянуть на спящего младенца; мы говорили не о будущем, но лишь о прошедшем и настоящем; наш разговор был тот тихий семейный лепет, где вас занимают не сказанные слова, но тот, кто сказал их; где мысль вполовину угадывается и где говорят, кажется, для того только, чтоб иметь предлог посмотреть друг на друга.

— Мое время прошло, — сказал наконец Вячеслав. — Стихи мои в камине; попытки не удались; юношеских сил не воротить; великим поэтом мне не бывать, а посредственным быть не хочу; но то, чего я не успел доделать в себе, то постараюсь докончить в нем, — прибавил Вячеслав, указывая на колыбель, — здесь моя настоящая деятельность, здесь мои юношеские силы, здесь надежды на будущее. Ему посвящаю жизнь мою; у него не будет другого, кроме меня, наставника; у него не будет минуты, которой бы он не разделил со мною, ибо в воспитании важна всякая минута: один миг может разрушить усилия целых годов; отец, не порадевший о своем сыне, есть в

моих мыслях величайший преступник. Кто знает! природа на растениях производит слабый, будто ненужный листок, который вырастает только для того, чтоб сохранить нежный зародыш, и потом — увянуть незаметно: не случается ли того же и между людьми? Может быть, я этот слабый, грубый листок, а мой сын зародыш чего-нибудь великого; может быть, в этой колыбели лежит поэт, музыкант, живописец, которому вверило провидение всю будущность человечества. Я увяну незаметно, но все, что есть в моем сыне, выведу в мир; в этом, я верю, единое назначение моей второстепенной жизни!

Тут Вячеслав принялся мне рассказывать план, предпринятый им для воспитания сына; его библиотека была наполнена всеми возможными книгами о воспитании; он показал мне кучу огромных выписок: он учился не шутя, но по-нашему, по-старинному, как студент, готовящийся к строгому экзамену.

Я расстался с Вячеславом рано; мы не выпили и четверти бутылки: он, как человек семейный, не любил обращать ночи в день; я не хотел заставить его переменить заведенный им строгий порядок. Часы, проведенные с ним, оставили надолго в душе моей сладкое и невыразимое чувство.

ДЕЙСТВИЕ III

Прошло еще несколько лет. Однажды, под Новый год, судьба занесла меня в П. Я знал, что Вячеслав поселился уже более двух лет в этом городе. Я бросил в трактире мой экипаж и чемоданы и по-старому, не переодеваясь, как был, в дорожном платье, сел на первого попавшегося мне извозчика и поспешил скорее к прежнему товарищу. Быстрое движение блестящих карет, скакавших по улице, привело меня с непривычки в какое-то онемение; я едва мог выговорить мое имя швейцару, встретившему меня у Вячеславова крыльца. Думаю, что он принял меня за сумасшедшего, потому что несколько времени смотрел мне в глаза и не отвечал ни слова.

— Барин сейчас едет, барыня уж уехала,— наконец проговорил он.

— Какой вздор! быть не может.

— Карета уже подана, барин одевается...

— Быть не может.

— Позвольте об вас доложить...

— Я хожу без доклада.

— Однако же...

Я оттолкнул верного приставника и поспешно пробежал ряд блестящих комнат. В доме все суетилось; в крайней комнате я нашел Вячеслава во всем параде перед зеркалом; он ужасно сердился на то, что башмак отставал у него от ноги; парикмахер поправлял на голове его накладку.

Вячеслав, увидя меня, обрадовался и смешался.

— Ах, братец!—говорил он мне с досадою, обращаясь то к камердинеру, то к парикмахеру.— Затяни этот шнурок... Зачем было мне не сказать, что ты здесь?

— Я сейчас только из дорожной кареты.

— Я бы как-нибудь отделался. Ты не знаешь, что такое здешняя жизнь... прикрепи эту пуклю... ни одной минуты для себя, не успеваешь жить и не чувствуешь, как живешь...

— Ты едешь—я тебе не мешаю...

— Ах, как досадно! Как бы хотелось с тобою остаться... здесь накладка сползает... но невозможно, поверишь мне, что невозможно...

— Верю, верю; какое-нибудь важное дело...

— Какое дело! Я дал слово князю Б. на партию виста... перчатки... он человек, от которого многое зависит,—нельзя отказаться. Ах, как бы хорошо нам встретить Новый год по старине, вспомнить былое... шляпу...

— Сделай милость, без церемоний...

Тут вошел сын его с гувернером:

— Adieu, papa.

— А, ты уже возвратился? весел ли был ваш маскарад? Ну, прощай, ложись спать... затяни еще шнурок... Бог с тобою.— Ах, боже мой, уже половина двенадцатого... прощай, моя душа! Помнишь, как мы живали!— Карету, карету!..

Вячеслав побежал опрометью; я пошел за ним тихо, посмотрел на прекрасные комнаты,— они были блестящи, но холодны; в кабинете величайший порядок, все на своем месте, пакеты, чернильница; на камине часы *rococo,* на столе развернутый адрес-календарь...

Этот Новый год я встретил один, перед кувшином зельцерской воды, в гостинице для проезжающих.

КАТЯ, ИЛИ ИСТОРИЯ ВОСПИТАННИЦЫ

(Отрывок из романа)

В один прекрасный майский вечер,— извините, в июньский,— когда наши набеленные и нарумяненные острова уведомляют петербургских жителей, что настало лето; когда петербургские жители, поверив укатанным дорожкам и напудренной зелени, запасаются палатками, серыми шляпами и разными другими снадобьями против зноя, переезжают в карточные домики, называемые дачами, затворяют в них двери, окна и в продолжение нескольких месяцев усердно занимаются химическим разложением дерева на его составные части; когда между тем дождь хлещет в окошки, пробивает кровли, ветер ломает едва насаженные деревья, а гордая Нева, пользуясь белесоватым светом ночи, грозно выглядывает из-за парапета, докладывает гостиным, что сверх ежедневных интриг, сплетней и происков существует на сем свете нечто другое,— в один из таких прекрасных вечеров, говорю, на берегу Черной речки, в загородном доме, построенном на итальянский манер, столь приличный нашему климату, несколько дам и мужчин толпились в гостиной после раута; получено было известие, что река высока, что вздулись мосты и что собираются развести их; усталая хозяйка, проклиная запоздалых гостей, радушно предложила им переждать непогоду, уверяя честию, что она в восхищении от этого случая. Гости благодарили хозяйку за ее благосклонность и, в свою очередь, проклинали ее и ее раут, который поставил их в такое неприятное положение. Когда таким образом истощился запас обыкновенных учтивостей и внутренней досады, всякий принялся за свое

дело. Благоразумнейшие начали новую партию виста, менее благоразумные присели смотреть на игру, остальные атаковали камин. К этому кружку присоединился и я.

В подобных обстоятельствах над кружком людей, соединившихся в гостиной силою симпатии, обыкновенно несколько времени еще носится удушливый воздух раута; но он мало-помалу редеет, язык делается развязнее, мысли крупнее. Зашла, не знаю как, речь о предчувствиях, о таинственных отвращениях и пристрастиях; пересказаны были все известные анекдоты о слепой ненависти к бабочкам, к собакам, к воде и прочему тому подобному; и естественным образом разговор обратился к впечатлениям, оставляемым в нас происшествиями нашего детства. Тогда я заметил на лице одного молодого человека, до тех пор не принимавшего участия в разговоре, легкое судорожное движение, которое было смесью досады на самого себя и какого-то раскаяния.

— Этот разговор,— сказал он,— напоминает мне одно очень простое происшествие моего детства, но которое оставило во мне не только сильное воспоминание, но провело неизгладимую черту в моем характере.

Его просили рассказать это происшествие; молодой человек облокотился на камин, и вот что я мог упомнить из слов его.

Нужным считаю прибавить для читателей следующее физиономическое наблюдение, сделанное мною над рассказчиком.

Это было одно из тех странных лиц, которые иногда встречаются в свете между людьми нового поколения; ничто не выражается в этом лице, но оно вас останавливает; видите самодовольную улыбку, а в вас рождается невольное сострадание; в этой физиономии выговаривается что-то прекрасное, неоконченное, смешное, страдающее — какой-то роман без развязки; она напоминает вам и пиитические мгновения Дон-Кихота, и растение, заморенное химиком в искусственной атмосфере, Гетевы слова о Гамлете и те странные существа, которых насмешливая природа производит на свет, как будто лишая способности к жизни. Новая наука оправдала провидение: природа не производит уродов, она производит существа, одаренные всеми органами жизни, но часто один орган развивается, а все другие остаются в затвердении; так бывает и в нравственном мире: родятся люди с сильными мыслями, с сильными чувствами — но одно какое-нибудь чувство разовьется, поглотит жизнь всех других, осиротелое само завянет, и душа сделается похожею на немую карту: видны очерки мест, но нет им названия — все безмолвно!

Разговор таких людей имеет какую-то особенность, которая не встречается у людей, привыкших ежедневно издерживать свою душу; такие люди радуются редкой минуте сильного движения; стараются вместить в нее все, что когда-то загоралось в их сердце, все, что пережило в нем потихоньку от людей. Такие люди любят останавливаться на предметах, по-видимому весьма обыкновенных, любят возгласы и отступления,—и это очень естественно; чувства и мысли, сжатые в них в продолжение времени, в минуту своего освобождения вырываются толпою, и каждая с настойчивым эгоизмом требует себе тела и образа. Эта оригинальность много теряется на бумаге.

— Я должен начать несколько издалека,—сказал молодой человек,—иначе моя история будет непонятна. Не знаю, найдется ли теперь и в Москве дом, подобный дому графини Б.; в Петербурге же наверное не сыщете. Представьте себе хоромы и жизнь старинного богатого русского боярина: дорогие штофные обои, длинные составные зеркала в позолоченных рамах; везде часы с курантами, японские вазы, китайские куклы, столы с выклеенными на них из дерева картинками; толпа слуг в ливреях, вышитых басоном с гербами; шуты, шутихи, карлы, воспитанницы, попугаи, приближенные; несколько десятков человек за обедом и ужином; во время стола музыка, вечером танцы, и все это каждый день — запросто; а в праздники, на святках, на масленице — блестящие балы, маскарады, французские спектакли; словом, все возможные выдумки рассеянности. Наши деды, как вы знаете, любили веселиться и роскошничать; они веселились больше, нежели мы, и роскошничали со страстию, с бешенством; в этом поставляли они просвещение и гордились им не меньше нашего; со всеми изобретениями ума и вкуса они поступали как дикий, который за бутылку поддельного шампанского отдает последний топор свой, выпивает разом драгоценный напиток и не думает спрашивать, откуда добывается это вино, как его делают, отчего кипит оно, отчего оно разливает по его телу это странное и веселое ощущение.

Графиня была нам родственница и очень любила меня, по крайней мере мне так казалось, потому что в светлое воскресенье она обыкновенно присылала мне целую корзину яиц хрустальных, фарфоровых, шитых золотом; потому, что подарила мне китайца, который бегал по комнате и махал руками и которого я изломал, чтобы узнать, отчего он бегает, потому, что она нарочно для меня велела приучить моську ходить в дрожках и возить

меня по саду; а пуще всего потому, что когда я бывал у моей Коко,— так называл я графиню,— то мне позволяли лакомиться сколько душе угодно. Все дело было в том, что я был, чему вы теперь не поверите, краснощекий, пухленький мальчик с русыми кудрями и что моя Коко любила всех детей без исключения.

Это пристрастие к детям умножало в доме графини число воспитанниц, которые и без того, по заведенному исстари порядку, должны были находиться в каждом московском порядочном доме; но любимая ее воспитанница называлась Катею. Знаете ли вы, что такое воспитанницы у московских барынь? Самые несчастные существа в мире. Вот это как делалось и, думаю, до сих пор делается: берут дворяночку или свою крепостную, одевают ее, воспитывают вместе с своими детями, ласкают ее до тех пор, пока она не подрастет,— словом, поступают точь-в-точь как природа, которая своего избранного дарит сильным воображением, раздражительною чувствительностию, для того чтобы он впоследствии живее чувствовал все терзания жизни. С возрастом начинаются страдания бедной воспитанницы: она должна угождать всему дому, не иметь ни желаний, ни воли, ни своих мыслей; одевать барышень, работать для них и за них; носить собачку; со смирением вытерпливать дурное расположение духа своей так называемой благодетельницы; смеяться, когда хочется плакать, и плакать, когда хочется смеяться, и при малейшей оплошности слушать нестерпимые для юного, свежего сердца упреки в нерадении, лености, неблагодарности! А сколько маленьких страданий, которые, может быть, нам и непонятны, но очень чувствительны для бедной воспитанницы в ее маленьком круге: слуги завидуют ей и вымещают на ней злость свою на господ, не встают перед нею, отвечают ей с грубостью, обносят за столом; мужчины не стыдятся говорить при ней о вещах, о которых не говорят при девушках; ее возят в театр, когда в ложе просторно, возят на гулянье, когда в карете есть лишнее место; если же, к несчастию, она хороша собою, то ее обвиняют в неудаче барышень, гонят на мезонин, когда в гостиной есть женихи на примете; и она осуждена или свой век провести в вечном девстве, или выйти замуж за какого-нибудь чиновника четырнадцатого класса, грубого, необразованного, и после довольства и прихотей роскошной жизни приняться за самые низкие домашние занятия. Вы не знаете, что такое жизнь нашего среднего класса,— она очень любопытна; жаль, что еще никто из авторов не обращал на нее внимания; но я не стану говорить о ней, это бы завлекло меня в другую материю;

вообразите себе только все тщеславные потребности богатого человека, соедините их со всеми недостатками нищеты; вообразите себе только, что в доме какого-нибудь канцеляриста, получающего в год не более тысячи рублей, наблюдается большая часть того, что и в богатом доме; и все, что здесь делается с помощию больших расходов и многочисленной прислуги,— у него исполняется одною матерью семейства! Но я заговорился и до сих пор еще не рассказал моего происшествия. Итак, прибавлю только, что Катя была дочь одного из графининых официантов; ее миловидное личико понравилось графине, и она взяла ее воспитывать вместе с двумя своими дочерьми, учила ее вместе с ними, одевала ее в одинаковые с ними платья; когда было нечетное число, Катя садилась за стол; когда недоставало пары, Катя танцевала. В то время, о котором я говорю, ей было лет десять, а мне шесть. Я очень полюбил Катю; графиня заметила это и потому всегда заставляла Катю забавлять меня; и бывало, что я приеду, милая Катя ко мне навстречу, бегает со мной по саду, показывает картинки, рассказывает сказочки, заставляет китайских куколок качаться и выставлять языки. Вот однажды у графини детский маскарад; я, разумеется, приглашен; в первый еще раз в жизни меня повезли на бал, и я был вне себя от радости; но не знаю, как-то я запоздал, кажется оттого, что на мне долго поправляли гусарский шитый мундир; помню только, что этот мундир придал мне большую гордость, особливо когда, вошедши на бал, я увидел, что всех лучше одет и что все глаза обратились на меня, что все, как водится, окружили меня, удивлялись, целовали. Другие дети уже танцевали, и мне не осталось ни одной маленькой дамы, кроме Кати; мне подвели ее; но я, я не знаю, что сделалось со мною,— я гордо закинул золотые кисти моего кивера, которые больше всего наряда мне нравились, тряхнул саблею и сказал, что не хочу танцевать с холопкою. И что же? вместо того чтобы выдрать мне уши, заставить у Кати просить прощения, заставить танцевать с нею,— все, напротив, стали смеяться и хвалить меня: «Вот молодец! славно! славно! Как можно князю, да еще гусару, танцевать с холопкою?» Так понимают у нас воспитание! Но Катя заплакала, увидев ее слезы, заплакал и я — я вспомнил, как она еще вчера потихоньку от моей гувернантки вывела у меня из платья воск, которым я залил себя, махая свечою, чтобы показать ей, как в балете плясали фурии,— ибо мне строго запрещено было дотрагиваться до свечей... простите мне, что я упоминаю обо всех этих мелочах; они все

так живы в моей памяти, что когда я заговорю об одном происшествии, то одно тянет другое.

Когда бедная Катя заплакала, мне жалко ее стало; но, судя по словам *больших*, я подумал, что сделал очень хорошо, и как мне ни грустно было, как тайный невнятный голос ни упрекал меня, но я, для поддержания своего характера, отворотился от Кати и гордо взял за руку графиню, которая, чтобы утешить меня, сама пошла танцевать со мною, повторяя со смехом слова мои. Я погрустил недолго, все окружающее рассеяло меня, и я пропрыгал целый вечер до упаду, а Катя целый вечер проплакала; ибо после того, что я сказал, никто уже не хотел танцевать с нею. Тогда мой детский ум приписывал слезы Кати только тому, что она не танцевала, и я утешал себя, повторяя слова, заслужившие всеобщее одобрение: она холопка! Уже впоследствии, входя в лета, узнав больше Катю и размышляя о том, как рано развернулся в ней ум и как рано она начала понимать свое положение, я постигнул, как я жестоко оскорбил ее; несчастные происшествия, которые сопровождали Катю в ее жизни, заставили меня рассчитать, что я первый познакомил ее с тем унижением, которое ожидало ее в жизни, и эта мысль обратилась мне в жесточайший упрек, и в упрек столь сильный, что его впечатление до сих пор во мне осталось, и часто, когда мне грустно или я пересчитываю все дурное, сделанное мною в жизни, я невольно вспоминаю о моем поступке с Катею и не могу себя разуверить, чтобы когда-нибудь провидение не наказало меня за это в сей или будущей жизни. Этого мало: несколько часов нечувствительности, с которою я смотрел на слезы Кати, так подействовали на меня, что я до сих пор пугаюсь впечатления, ими во мне оставленного, и не могу выбить себе из головы, чтобы в характере моем не было какого-то врожденного жестокосердия, которое рано или поздно может развернуться,— и смейтесь надо мною как хотите,— я часто бываю уверен, что потерю самого милого человека перенесу хладнокровно; что даже мне недостает только случая, чтобы совершить хладнокровно величайшее преступление. Можете себе представить, какое влияние эта мысль, ни на минуту меня не оставляющая, производит на меня в разных случаях, встречающихся в жизни; сколько раз, боясь употребить некоторую твердость, я оставался в дураках, потому что она мне казалась пробуждением моего внутреннего порока; сколько раз я позволял людям с маленькою душою одерживать надо мною маленькие победы, единственно потому, что боялся употребить гнев, насмешку, эти

нравственные орудия, которыми природа снабдила нас для нашего защищения и которые так часто бывают необходимы в жизни! Я без шуток пугаюсь моей страсти к анатомии; поверите ли, что я не хотел читать жизни Брянвилье — так пустое происшествие детства провело неизгладимую черту в моем характере.

Молодой человек остановился. — Где теперь ваша Катя, и что с нею сделалось? — спросила одна дама.

— Я вам почти рассказал ее историю, говоря об участи воспитанниц; особенные происшествия ее жизни требуют долгого рассказа, и в них столько романического, что вам покажется, будто я выдумываю.

Разговор кончился, но любопытство мое было возбуждено, и я не оставил в покое молодого человека, пока он не рассказал мне следующего происшествия.

— Повторяю вам, — сказал он, — что я рассказываю не роман; и потому не ищите в моем рассказе ни классической интриги, ни романтических нечаянностей, к которым приучили нас остроумные сочинители Барнава и Саламандры, ни рачительного описания кафтанов, которыми щеголяют подражатели Вальтера Скотта. Моя история — природа во всей наготе или во всем своем неприличии — как хотите.

Чтоб не утомлять вашего внимания, я начну с того, что прочту вам афишку остальных действующих лиц в моей истории; их немного: старый граф, муж графини, которого звали Жано; сын его с левой стороны, Владимир, которого звали Вово; и еще одно лицо, по имени Борис, которого звали Бобо. Старого графа я почти не знал; он беспрестанно был в разъездах: на короткое время приезжал в Москву, давал большой обед и снова уезжал в Петербург или в чужие края. Старый граф, как мне после рассказывали, был — что тогда называлось — *философ*, то есть был страшный волокита, писал французские стихи, не ходил к обедне, не верил ни во что, подавал большую милостыню встречному и поперечному: в его голове странным образом уживалась высочайшая филантропия с совершенным нерадением о своих детях и самая глупая барская спесь с самым решительным якобинизмом. Редкие образчики нравов того времени еще до сих пор остались в нашем обществе, но, благодаря бога, с каждым днем исчезают, — и это одно может служить против обвинителей нынешнего века важным доказательством, что мы лучше наших дедов. Частию по правилам, частию по привычке, старый граф не посовестился прижить с одною из своих крепостных Владимира, сказать о том жене, как о деле самом обыкновенном, и сделать из него

воспитанника. Моя добрая Коко все простила мужу; теперь этому не поверят, но в то время в нашем обществе такие примеры были не редки, и минутная склонность, *нечего делать*, тогда позволяли себе то, чего теперь не позволят самой истинной, самой горячей любви, основанной на взаимном согласии характеров, занятий, образа мыслей. Истинно мы лучше, хотя и несчастливее наших дедов. Коко моя, по пристрастию к детям, очень полюбила Владимира и холила и нежила его, как родного сына.

Бобо был существо особенного рода. Еще до своей женитьбы граф Жано вывез из Италии для замыслов каких-то непонятных некоего юношу, которого звали Паулино и который был у графа нечто среднее между секретарем и камердинером. Хитрый итальянец умел вкрасться в доверенность графа и завладеть всеми его делами; Паулино, по тогдашнему обычаю, поспешили записать в какую-то экспедицию, и через несколько времени итальянец Паулино обратился в русского коллежского асессора Осипа Ивановича Павлинова. Коллежский асессор Павлинов не замедлил жениться на немке, графининой кастелянше, и от сего пошел род коллежских асессоров Павлиновых, которых ревностная служба переходила от звания камердинера до столового дворецкого и наконец до управителя. Отец Бобо попал в сию последнюю должность, но сынку своему готовил уже другую участь. Между тем Бобо, по заведенному порядку, попал в любимцы и воспитанники графини.

Когда я узнал этого Бобо, ему было уже лет двенадцать. Я никогда не любил его; избалованный до крайности своей матерью, он был груб и нагл, ходил всегда насупив брови, говорил отрывисто, дерзко и смеялся только тогда, когда мог потихоньку от графини раздразнить меня или Катю. Он сдувал карточные домики, которые мы с нею строили, заливал чернилами мои любимые картины и мою милую Катю называл не иначе, как Катькой, а после моего несчастного происшествия в маскераде прибавил к этому имени название холопки и, зная, что одним этим словом мог привести меня в слезы, старался повторять его как можно чаще; почему знать, может я моею бессмысленною фразою посеял в тяжелом мозгу его такие мысли, которые без того не пришли бы ему в голову. Некоторые из слуг с лакейскою дипломатическою проницательностию разочли, что со временем их судьба будет зависеть от Бобо и что его естественным соперником может быть один Владимир; они, подделавшись к порочным наклонностям Бориса, растолковали ему, что после смерти отца он будет головою в доме графини,

рассказали ему, кто таков Владимир, и поселили к нему такую ненависть, что Борис не мог пройти мимо Владимира, не давши ему толчка, не ущипнув его или не сделавши с ним какого-нибудь другого дурачества. Владимир был моложе его тремя годами, но не уступал и платил ему тем же; оттого дня у них не проходило без ссоры; графиня разбирала их, мирила, наказывала то того, то другого, попеременно заставляла просить друг у друга прощенья,— и тем только увеличивала их взаимное отвращение. С летами Борис стал хитрее и осторожнее; при графине он скрывал свою ненависть к Владимиру и называл его Володею или Вово,—но за глазами матери отворачивался от него и, говоря про Владимира, называл его не иначе как *барином*, имя, которое в насмешку дали ему слуги.

Между тем я возрастал, и с тем вместе страсть моей Коко ко мне холодела; я все еще называл ее этим именем, но, занятый ученьем, я уже гораздо реже стал к ней ездить; скоро другой пухленький мальчик занял мое место; меня же отвезли в пансион в Петербург, и я потерял из вида мою Коко и Катю.

Между тем Владимир и Катя, живя вместе, учась у одних учителей, рано гонимые завистью воспитанниц и воспитанников графини, ее слуг и служанок,—рано стали искать утешения друг в друге; сначала они взаимно стали поверять свои маленькие старадания; но эти страдания с каждым днем росли более и более, с тем вместе увеличивалась их привязанность, и они все живее и живее чувствовали необходимость друг в друге.

Владимир был настоящий, как говорят, герой романа, невысокого роста, сухощавый; глаза черные навыкате; несколько смуглое лицо придавало ему вид, похожий на итальянца,—в самом деле, в душе его живые полуденные страсти были прокалены холодною славянскою кровью. Рано он понял, что в жизни предстоит ему беспрестанное борение и что ему должно было полагаться на одного себя; он с пламенным рвением принялся за ученье. Катя разделяла его труды; они с жаром прочитывали все, что им ни попадалось, далеко оставив за собою молодых графинь и Бобо, которые учились только из приличия.

Вышед из пансиона, я поехал на время в деревню; мимоездом мне надобно было быть в Москве, и я остановился нарочно на несколько часов только для того, чтобы посетить мою Коко. Какую перемену нашел я в ее доме! ее нерасчетливая расточительность, жизнь графа в чужих краях, где он был в связи с какою-то актрисою,— совершенно расстроили имение графини; большая часть

его была продана на удовлетворение кредиторов, и графиня увидела себя принужденною значительно уменьшить свои издержки. Я пробежал несколько комнат, которые были свидетелями веселых игр моего детства; в них лишь одна многочисленная толпа слуг и китайские болванчики напоминали о прежнем великолепии; обои полиняли и истрескались; мебель была изорвана и изломана; позолота на зеркалах потускла; в огромных комнатах горело по одной свечке, а иные совсем не были освещены. Я вошел в гостиную: за круглым столом, за одною лампою, сидели графиня в больших креслах, ее две дочери и Катя,— все они ничего не делали, и глубокое молчание царствовало между ними. Катя поразила меня; ребяческая красота ее исчезла, она сделалась не красавицею, но получила лицо чрезвычайно выразительное, этот размышляющий взор на ее прекрасном личике, эти свежие, полные жизни прелести стана — и... эта прекрасная ножка, на которую я не мог смотреть равнодушно... Я не узнал Катю, смешался,— графиня мне очень обрадовалась и после обыкновенных расспросов и приветствий сказала мне: «Да, мой милый, ты молодеешь, а я старею, дряхлею и скучаю; спасибо тебе, что ты не забыл обо мне; добрый ты человек, теперь уж все меня забывают; в нынешнем свете не помнят стариков, и, правду сказать, там и ничего не помнят». Все слова ее отзывались горечью оскорбленного тщеславия и мелкой, но горячей завистью ко всем возможным успехам; я не могу постигнуть, откуда это последнее чувство закралось в доброе сердце моей Коко. Но это было так! Коко сделалась завистлива, и очень завистлива. Зная, что ничем столько нельзя сделать удовольствия московским да́мам, как рассказывая петербургские новости, я не щадил языка, но еще иногда спрашивают, правда ли, будто бы необразованные люди злее образованных; да этого не может быть иначе! Человек образованный, чувствуя в себе потребность выкинуть свою желчь, старается дать ей опрятный вид благовоспитанной эпиграммы, потом любуется ею, разносит ее, а это требует времени, развлекает, и нечувствительно в так называемом злом человеке остается столь же мало злости, как в сатирическом поэте; простолюдину не нужны эти усилия, он злится про́сто, без обиняков,— что он ни скажет, что ни сделает, все хорошо, лишь бы только в том было злое намерение; и оттого ему наслаждение злиться гораздо преступнее, нежели для нас. Так было и с моею Коко: при всяком моем рассказе, где только дело коснется до какого-нибудь собственного имени, моя Коко вспыхнет, усмехнется, скажет одно

слово — только одно слово, но в этом слове целый мир злости, досады, презрительного удивления! Какая-нибудь лента, звезда, наследство были для нее личным оскорблением, и скоро она не шутя начала на меня сердиться за мои рассказы. Я обратился к молодым графиням,— графини были глупы и пусты до чрезвычайности, дурного тона, мешали русский язык с французским; их интересовали одни свадьбы, женихи и невесты, а свадьбы, женихи и невесты бесили мою Коко. Я к Кате,— Катя испугалась, смешалась, едва отвечала мне и наконец, выбравши свободную минуту, с ужасом сказала мне: «Бога ради! говорите с графинями!» В этих словах мне изобразилась вся горесть ее положения, но я еще не вполне понимал его; уже гораздо после оно совершенно мне объяснилось; вот что узнал я впоследствии.

Графиня, несмотря на развращение нравов своего времени, была строгою блюстительницею нравственности: может быть, то самое, чего она была свидетельницею, произвело эту полицейскую черту в ее характере, и она, судя о настоящем по прошедшему, никак не могла вообразить себе женщину вместе с мужчиною, и особенно в дружбе, и чтобы из этого не вышло чего-нибудь дурного. В свете она уже давно спрашивала, о чем молодые люди находят говорить между собою, когда в ее время они только танцевали или амурились; еще более пугало ее то, что оба пола нового поколения, уверенные в своей невинности, говорят о всех возможных предметах без всякого смущения: это ей казалось последнею степенью разврата, то есть тою степенью, где уже разврат кидает свою личину; всего этого она как-то не понимала,— словом, мне очень трудно объяснить вам систему графини, и она сама не взялась бы за это: это был нескладный сброд нескладных слов, которые она почитала мыслями; несколько старых анекдотов, которые она называла плодами опытности, и две или три причуды, которые она называла правилами нравственности,— отыщите тут какой-нибудь толк! Но, несмотря на то, она своей системе верила больше, нежели иезуит католицизму. Впрочем, образчики моей графини можете еще найти между некоторыми почтенными дамами, которыми унизаны диваны гостиных, и которые уверены, что все люди на свете живут и движутся для того только, чтобы им было о чем поговорить, и которые, привыкши в свое время видеть величайшую безнравственность под самыми щекотливыми формами и некогда сами принимавшие участие в этом маскераде, не могут себе вообразить, чтобы под ничего не пугающеюся откровенностию могли скрываться

самые невинные и, увы! может быть, самые холодные нравы.

Как бы то ни было, графиня, как скоро ее молодые люди стали подрастать, благоразумно отделила мужской пол от женского; разные часы ученья, разные комнаты, собираться только за обедом и ужином под надзором гувернеров и гувернанток, которым прочтена проповедь о благочинии, не говорить, не подходить,— словом, все разочтено, предусмотрено. Графиня была очень довольна собою,— одного только не заметила ее прозорливая опытность, одного! — что новое поколение родилось после старого и что оно в общем счете жизни человечества старее старого, и потому раньше старого стало жить и чувствовать. Еще графиня думала о своих новых планах неукоризненной нравственности, а уж Владимир и Катя были по уши влюблены друг в друга, у них завелись все маленькие споры и ссоры любви, упреки в холодности, ревность, особенно со стороны Владимира, который ревновал Катю ко всем, начиная от Бобо до старой графини. Однажды — тогда только начался век унылых элегий — Владимир в минуту какого-то отчаяния не мог утерпеть, чтобы не положить в ридикюль Кати каких-то романтических стихов. По несчастию, эти стихи как-то попались графине; долго она читала их и никак не могла решить, любовные ли они, или нет; как бы то ни было, она строго запретила Владимиру предаваться поэтическим мечтаниям, а Кате получать их, и надзор за ними был удвоен. Пока у графини были вечера и балы, этот надзор не мог быть доведен до последней степени совершенства; но когда балы прекратились, знакомые начали мало-помалу оставлять графиню, а наконец и совсем оставили, попечение о благочинии в доме сделалось единственным, главным занятием графини. Как объяснить вам мучительное действие этого надзора на моих молодых любовников,— право, не знаю. Наши молодые люди XIX века рассудительны, их патетические минуты всегда пополам с балом, с партией виста, и любовь у нас разменялась на мелкую монету, по той же причине, по которой в гостиных музыка обратилась в холодную нежность итальянской кавалетты, а живопись в закопченную бумажку; промышленность XIX века умела приспособить святое мучительное чувство любви к нашей лени, к удобствам жизни: она сделала его чем-то карманным, как записную книжку, как перчатку; можете его надеть, скинуть, выворотить, и оно все останется тем же. Даже что значит любопытная бдительность наших полицейских чепчиков? (Nos bonnets de police?) — они рассеяны и вистом, и придворными

новостями, тузами и валетами всякого рода,— много, много, что им достанется наслаждение расстроить две, три свадьбы, нарушить спокойствие двух, трех семейств, и то с грехом пополам; молодое поколение прижало их к стенкам диванов, откуда они не смеют пошевельнуться, чтоб не потерять места. Аббат Леменне написал «Опыт о равнодушии в делах веры», бедный аббат! ты не знал общества! Я хочу помочь твоей близорукости и написать для гостиного употребления целую коллекцию таких опытов, как-то: опыт о равнодушии в деле искусства, опыт о равнодушии в деле наук. Опыт о равнодушии в деле правды, в деле ума, в деле несчастия, в деле чести, в деле подлости, в деле лести, коварства, грабежа и проч. Теперь вообразите себе все противоположное тому и перенеситесь в маленький круг моей Кати.

Едва начиналось утро, Катя обязана была являться к своей благодетельнице, делать чай, сводить счеты, толковать об уборах для молодых графинь,— в этом занятии проходило полдня; ибо графиня, держась старинных правил, находила неприличным и вовсе ненужным позволять девушкам прогуливаться пешком; огромная четвероместная карета с четверкою поседевших от старости лошадей хранилась только для торжественных выездов семейства, ко всенощной, в дальний монастырь или на обеденный стол к архиерею; после обеда молодые графини садились к окошку, и разговор еще несколько поддерживался: пешеходец, изредка проходивший мимо дома с совершенно невинным намерением, простучавшие дрожки, а за недостатком того и другого, пробежавшая собака, крик разносчика,— обо всем было переговорено, перетолковано, выведены все возможные заключения; все окошки в домах пересмотрены, изучены, все трубы пересчитаны и к сумеркам или в длинные зимние вечера нашим милым графиням, естественным образом, не оставалось никакого другого занятия, кроме Кати. Обыкновенно графини начинали понемножку ее мучить, сперва начинали смеяться над ее молчанием, ее туалетом, потом каждое ее слово служило поводом к комментариям; если она осмеливалась взять книгу, то говорили ей, что она капризничает; если она принималась за рукоделье, то хулили ее работу; если она молчала, у нее спрашивали, не ссохлись ли ее губы; если она начинала говорить, то называли ее болтуньею. Но главным предметом нападений был Владимир; по приказанию старого графа Владимир ходил учиться в университет и только за обедом являлся в семейство графини. Как у всякого молодого человека, начинающего понимать свои познания, сколько свежих

чувств, сколько девственных мыслей, не зараженных сомнениями, зарождались в душе его; как хотелось ему передать себя Кате, удивить каким-нибудь новым чудом природы, только что им узнанным, перенести ее в свой мир мечтаний, пересказать все изменения, которые беспрестанно творились в его уме и сердце!

Кто не испытал этого чудного чувства прозелитизма, которое тревожит юную душу, полную жизни и деятельности? всем бы поделился, все бы передал, что есть на уме и на сердце; простолюдин дарит своей любезной свою последнюю драгоценность; художник отдает ей познание, которое поразило его вчера, чувство, которое вчера его встревожило — все то, что вчера загорелось в нем и что потому ему кажется целию человеческой жизни. Холодные или устарелые люди смеются над этим прозелитизмом, не замечая того, что и в них он существовал и претворился в охоту рассказывать новости, давать советы встречному и поперечному,— что в них выпарилось все прекрасное и святое этого побуждения, а остался один его холодный себялюбивый осадок.

Владимиру страшно было подумать, что он с каждою минутой идет вперед, что с каждым шагом его ум светлеет, чувство разгорается, мысли ото дня более и более смыкаются в тесные пределы выражений, как целые алгебраические выкладки в одну условную букву, а его Катя не знает об этом, его новые выражения для новых мыслей ей неизвестны, она, может быть, разучится понимать его иероглифы!

Графиня не входила в эти отвлеченности; она судила попросту, по-старинному: она бы не прочь и женить Владимира на Кате, но до уреченного часа она находила, что непристойно, не следует, да и не о чем молодой девушке говорить с молодым мальчиком — и уста нашего пламенного юноши сомкнулись бдительностью графини: едва осмелится он подойти к Кате, едва долго сжатые мысли и чувства вырвутся из души его, как взгляд графини прерывал его ораторский восторг, и снова стеснятся в душе недоговоренные слова и душа умирает в муках рождения. Между тем минута пройдет, мысль, которая должна была развиться в это мгновение, уступит место другой, эта третьей — и каждое превращение, сомкнутое в душе юноши, терзает его нестерпимыми муками. Наконец осталось одно бедному Владимиру — взоры: ими хотел он передать Кате тот мир мыслей и чувств, который ежеминутно рождался и исчезал в его сердце... но тут являлись молодые графини; этим просто завидно было действие, производимое Катею на молодого человека: они

бы оскорбились, если б кто вздумал им предложить жениха вроде Владимира; но иметь беспрестанно пред глазами влюбленного молодого человека, и влюбленного ни в одну из них,—это было им верх мучения. Откуда бралась у них тонкость в этих случаях? откуда остроумие? откуда изобретательность? и насмешки, и брань, и угрозы, и злословие—все было употреблено ими, чтобы расхолодить наших любовников, и все было тщетно... любовь изобретательнее ненависти.

В Владимире развернулась страсть к живописи; долго скрывал он свою работу и вдруг явился к графине с копией Карло-Долчевой Цецилии; он рисовал эту картину с жаром; он думал в ней видеть сходство с Катею; небесный взор Цецилии, святое выражение ее лица, орган, который, казалось, звучал под ее пальцами, все это изображало ему тихую гармонию души его любезной, это спокойствие христианского смирения, это уверенное в себе самоотвержение, эту грусть умного человека, это понявшее себя уныние. Он хотел, чтобы Цецилия была идеалом для его Кати, чтобы она высказывала ей то, чего не могли выразить слова его, и Катя поняла его. Графиня видела в этой картине очень полезное занятие для молодого человека и поспешила ее отправить к своему мужу, находящемуся тогда в Италии.

Эта посылка имела важное влияние на судьбу нашего юноши. Старый граф, почитавший себя за знатока живописи, был прельщен произведением своего воспитанника, вообразил, что он родился живописцем, и прислал приказание Владимиру отправиться в Италию...

ЧЕРНАЯ ПЕРЧАТКА

Посв. Юл. Мих. Дюгамель
(Козловской)

В моей молодости я был шафером на одной очень интересной свадьбе. Жених и невеста, казалось, были созданы друг для друга. Равно молоды, равно полны жизни, равно прекрасны собою, оба хорошей фамилии и, чудная вещь! оба равно богаты. Это были два создания, которых судьба, казалось, выпустила на свет для того, чтоб не всегда можно было ее назвать немилосердою. Она с колыбели осыпала юную чету всеми дарами счастия; она, казалось, даже была прихотлива в выборе этих даров и каждому из них старалась дать самую совершенную форму. Так, например, у молодой четы было много имений и ни одной тяжбы, было несколько добрых, истинных родных, и не было вереницы тех второстепенных родственников, о существовании которых порядочный человек знает только по визитным билетам или по просительным и рекомендательным письмам.

Отцы и матери наших любовников давно уже не существовали на свете. Граф Владимир рос с своею невестою в доме их общего опекуна и дяди Акинфия Васильевича Езерского, которого, я думаю, вы знавали; помните: довольно дородный, румяный мужчина, всегда в широком коричневом фраке, немножко припудрен, с таким важным и решительным лицом, еще немножко похожим на Франклина. У него-то жили мои молодые люди! почти с пелен они не расставались друг с другом и заранее, в голове опекуна, они назначались быть мужем и женою. Акинфий Васильевич Езерский был человек во

многих отношениях весьма замечательный; природа дала ему ум и доброе сердце. К сожалению, природа дает нам только глаза, но заставляет нас самих выдумывать стекла, которые видят немножко подальше природного зрения; этих стекол Акинфий Васильевич не получил в детстве; его учили по-старинному: заставляли вытверживать географические имена, исторические числа, нравственные сентенции и фортификационные размеры, но забыли научить его одному: думать о том, чему его учили. Такое ученье, как всегда бывает, отозвалось ему на всю жизнь: что видел природный ум и чувствовало сердце, того не могло доглядеть его образование; оттого он думал только половиною головы, чувствовал половиною сердца и оттого часто понимал только половину предметов. После такого странного воспитания он брошен был судьбою в Англию, где и провел несколько лет своей жизни: этот новый мир не мог не поразить его; но, как дикаря, его поразило равно и хорошее и дурное; то и другое для него смешалось; он и в том и в другом многое не досмотрел, многое пересмотрел, и то и другое перенес целиком на русскую почву. Так, например, несмотря на насмешки невежд, ни на насмешки писателей, которые не стыдились своим пером подкреплять мнение безграмотных и в своих сочинениях выставлять торжество закоренелой глупости над необходимыми улучшениями, Езерский ввел в имении своих питомцев усовершенствованное хозяйство и, назло безграмотным соседям, безграмотным повестям и комедиям, удесятерил свои доходы; но с тем вместе он перенес к себе отростки этого сухого методизма, который более или менее отзывается во всей английской жизни и убивает в ней всякую поэзию. Второпях он прочел Бентама, и мысль о *пользе* была ослепительным солнцем для Езерского; она навела темные пятна на его собственные мысли; человек показался ему машиною, которая тогда только счастлива, когда действует в урочные часы и для известной цели; поэзия ему показалась вздором, воображение — демоном, которого надобно избегать; всякий нерассчитанный порыв сердца — едва ли не прегрешением. Но, к счастию, он успел прочитать еще Томсона — и мысль о красоте природы связалась в голове его с Бентамовым индустриализмом. Таким образом, Акинфий Васильевич составил себе систему, которая была смесью Бентама, Томсона, Палея и других английских авторов, которых он читал в своей молодости; новых он не знал и потому не любил. Байрона он ненавидел, потому что Байрон проклял Англию, которая для Акинфия Васильевича, вместе с его системою, была образцом совершен-

ства. Дядюшка часто объяснял свою систему, но понять ее было довольно трудно. К мысли, что основанием всякого человеческого поступка должна быть польза, он присоединил невыразимую привязанность к природе и свое восхищение выражал стихами из «Четырех времен года». Все, что было в природе, ему казалось совершенством, и он часто толковал о необходимости жить, как он говорил, «сообразно природе». Вследствие этого он восхищался каждым пригорком, каждым изгорбленным деревом; но методизм не заставлял его забываться в этом восторге: он постоянно ложился спать в десять часов, вставал с восхождением солнца и читал к нему Томсоновы стихи; после стихов он пил чай, выкуривал две сигары (ни больше, ни меньше) и садился за работу, которая продолжалась до трех часов; в три часа выходил гулять и к обеду, даже когда обедал один, выходил в белом галстухе и башмаках. Во всех его действиях явственно отражалась эта, благодаря бога, непонятная русскому человеку английская односторонность, от которой зависят все достоинства и все недостатки английских произведений, от которой англичанин знает пару колес в машине, пару мыслей в жизни, и знает превосходно, но засим ни о чем в мире не имеет никакого понятия. Несмотря на эти странности, привычка к труду и порядку давала Акинфию Васильевичу важное преимущество над всеми его сверстниками. Он один успевал делать то, чего не могли сделать десять человек; от того самого дел у него было множество; он любил хлопотать, так как другие любят ничего не делать; а как охотников в последнем роде тысячи, то Езерский был всесветным опекуном, председателем всех возможных комиссий по делам своих приятелей и посредником во всех ссорах.

Разумеется, воспитание, которое он дал своим питомцам, было сообразно его системе: он приучил Марию к женским рукодельям и к женскому смирению, а графа ко всем коммерческим и гимнастическим упражнениям: оттого Мария прекрасно умела делать чай и самые тоненькие тартинки с маслом; плум-пудинг и минцпайзы ей были очень хорошо знакомы; а граф знал тригонометрию, бухгалтерию, славно боксировал, ездил верхом и лазил по канатам; сверх того, оба знали почти наизусть несколько грамматик. Их воспитание было, как видите, самое практическое, самое близкое к делу, основанное не на идеях, а на пользе. Действительно, никакая другая книга, никакая мысль не попадала к ним ни в руки, ни в голову, и только за месяц до свадьбы Акинфий Васильевич позволил будущим супругам прочесть «Кларису Гарло» Ричардсона.

Свадьба графа Владимира и Марии не была новостью для города, но все непритворно ей радовались. В них обоих было нечто неизъяснимо невинное, неизъяснимо ребяческое: это были две детские головки, нарисованные искусным лондонским гравером, которыми невольно любуешься, забывая, что в эти прекрасные создания уже положено семя той нравственной арифметики, над которою так горько плакал Байрон. Действительно, в них был род магнетизма, который производил то, что никто не завидовал им, никто не роптал на судьбу, видя их счастие, но смотрел на него как на право собственности молодых людей. Правда, толпы молодых людей кружились вокруг прекрасной Марии, женщины невольно заглядывались на статного Владимира; но это было удивление, а не ревность, не досада; они своим детским видом умели волновать только чистую, ясную поверхность души, оставляя на дне ее черные, тяжелые капли; их свадьба казалась веселым детским праздником, которым все любуются и которому никто не завидует.

Венчание кончилось. Владимир нежно поцеловал свою Марию; в церковь и в дом набрался почти целый город; поздравляли новобрачных; но к двенадцати часам все разъехались, оставя на свободе молодых. Дядя, заступавший для них место отца, равно посаженые отцы и матери, исполнив домашние обряды, удалились. Молодые были уже в спальне и с детскою невинностью любовались убранством комнаты, которая до тех пор была для них секретом, как вдруг на белом атласном диване они увидели черную перчатку. Сначала Владимир подумал, что ее забыл кто-нибудь из гостей, но кому же могло прийти в голову приехать на свадьбу с черной перчаткой? С некоторым чувством суеверного страха он поднял ее и ощупал в ней пакет с надписью на имя их обоих. С трепетом Владимир сорвал печать и с ужасом прочел следующее:

«Почитаю нужным вас уведомить, что ваше счастие расстраивает мое счастие, что исполнение ваших желаний уничтожает все планы моей жизни. А так как простительно человеку любить себя больше других, то я положил себе твердым правилом перевернуть вашу судьбу наизнанку, ибо только вашим страданием я могу достигнуть моей цели. Если это мне не удастся, то по крайней мере я буду иметь наслаждение мстить вам, и это первое посещение есть только первая степень того зла, которое я вам приготовляю. Одна ваша разлука в ту минуту, когда вы будете читать эту записку, может спасти вас от моего

мщения. Залог, мною оставленный, может показать вам, что для меня не существует ни дверей, ни затворов. Осмелься поднять его, слишком счастливая чета!

Черная Перчатка».

Владимир сначала не хотел показывать этого письма Марии, но Мария, опираясь на его плечо, успела прочесть все письмо до конца.

— Это, верно, шутка... мистификация...— сказал Владимир нетвердым голосом; но невольно рука его дрожала.

— Нет,— отвечала Мария,— это не шутка и не мистификация; кому бы так жестоко шутить с нами?

— Но кому и желать нам зла?— заметил Владимир.

— Вспомни, не оскорбил ли ты кого-нибудь? Не давал ли ты кому-нибудь обещаний?

Тут Мария значительно взглянула на Владимира, и голос ее прервался.

— И ты можешь это думать, Мария?— сказал нежно Владимир.— Уверяю тебя, это шутка, глупая шутка, которая не пройдет даром. Если это женщина,— нет нужды, если мужчина — тогда...— И глаза Владимира заблистали.

— Тогда что?— спросила Мария.

— О, ничего!— сказал Владимир,— я постараюсь отплатить тою же монетою.

— Нет, твои глаза говорят не то... Слушай, Владимир, обещай мне ничего не предпринимать, не сказавши мне.

— О, к чему эти обещания?

— Обещай мне по крайней мере ничего не предпринимать до завтра.

— О, мы, право, дети!— сказал Владимир, рассмеявшись,— глупый проказник подшутил над нами, а мы, как будто в угодность ему, провели целый час в тревоге.

— А если он здесь и подслушивает нас?— заметила Мария.

— В самом деле, это не пришло мне в голову,— сказал Владимир. С этими словами он взял свечу, обошел кругом комнаты и отворил дверь, чтобы выйти из спальни.

— Не ходи один,— сказала Мария,— надо позвонить людей.

— Ты хочешь, чтоб стали смеяться над нами?

— Так пойдем вместе.

Они вышли из спальни. Огни везде погашены; все в доме спало; на дворе слышалась лишь доска сторожа. По огромным комнатам длинная тень ложилась от свечи. Мария невольно вздрагивала, когда случайно ее собственный образ отражался в зеркалах, когда шорох шагов их

повторяло эхо и мерцающий свет мгновенно производил на складках штофа причудливые очерки. Так они обошли весь дом: все было тихо, они возвратились в спальню; тогда пробило уже три часа утра, и когда Владимир отдернул занавеску, заря уже занималась.

Дневной свет имеет чудное свойство: он придает невольную бодрость и спокойствие рассудку. То, что кажется огромным и страшным во мраке ночи, рассыпается с дневным светом, как сновидение. Это чувство ощутили наши молодые люди.

— Мы, право, дети,— повторил еще раз Владимир,— кто видал, чтоб первую ночь брака провести над глупою запискою?

С этими словами он подошел к камину и едва не бросил в него перчатку, но удержался при мысли, что не худо показать ее дядюшке.

— Неужели этот вздор может поколебать наше счастие?

— Никогда!— отвечала Мария, обнимая его.

На другой день молодые не забыли показать таинственную записку дядюшке. Дядюшка посмотрел на записку с своим обыкновенным, систематическим хладнокровием и сказал:

— Это какой-то вздор, но которого, однако ж, не надобно так оставлять. Отдайте мне эту записку; вам нечего ею заниматься; это уж будет мое дело.

Мы уже сказали, что дядюшка был человек весьма замечательный в своем роде и что строгий порядок в жизни, неизменяемое хладнокровие в самых затруднительных обстоятельствах и несколько удачных финансовых оборотов приобрели ему доверенность всех его знакомых. В самом деле, когда он произносил: «Это уже мое дело»,— своим твердым, методическим голосом, с ударением на каждом слове, то ему нельзя было не поверить.

Когда все визиты новобрачными были сделаны, Акинфий Васильевич потребовал, чтоб молодые непременно отправились в деревню. Ему очень хотелось отправить их туда в первый день брака, по английскому обычаю, и в первый раз в жизни он, против воли, уступил настоятельным просьбам родственников.

— Поезжайте в деревню,— говорил Акинфий Васильевич,— первое — вы должны узнать друг друга, а второе — человек на сем свете не должен жить бесполезно. Ты, Владимир, должен заняться хозяйством; помни, что всякий владелец земли на сем свете должен постоянно

увеличивать ее производительную силу и что тот, кто ежегодно не увеличивает своего дохода, теряет все то, что бы он мог приобресть. Я нарочно не еду с тобою: я хочу, чтоб ты мог привыкнуть к своим силам, не полагаясь ни на чью помощь, и чтоб, когда я умру,— ибо смерть есть необходимый и благодетельный закон природы,— ты и не заметил бы своей потери.

— Дядюшка, и вы можете говорить об этом так хладнокровно?

— Ничего, ничего, пустое. Смерть есть закон природы, а все в природе прекрасно; люди должны умирать, потому,— прибавил дядюшка с значительным видом,— что люди должны родиться; итак,— продолжал он,— ты будешь заниматься хозяйством, и ты также, Мария. В деревенском доме, в кабинете, на бюро, ты найдешь тетрадку, которую я написал для вас уже лет десять тому назад и в которой подробно описано, что должен делать муж и что должна делать жена. Исполните мои советы с точностию — и раскаиваться не будете. Сначала покажется трудно, а потом все будет легче и легче. В затруднительных случаях обращайтесь ко мне с вопросами. Более всего старайтесь умерять свои страсти, и даже совсем уничтожать их — после этого все будет легко. Я буду в симбирской деревне, ибо провести лето в городе есть преступление. Здесь не видишь природы, а что может сравниться с природою? «Ничто так не возвышает души, как восхождение солнца»,— говорит Томсон. Теперь поезжайте с богом; дорожная ваша карета готова,— я сам занимался ее устройством — и лошади уже приведены.

Владимир и Мария бросились со слезами обнимать дядюшку, но он остановил их:

— Не нужно ни слез, ни прощаний; это все бесполезные ветви, которые умный садовник должен тщательно обрезывать...

Однако ж Владимир и Мария не послушались строгого совета дядюшки и наплакались досыта... Наконец они сели в карету, а дядюшка отправился к себе, потому что он еще не успел выкурить своей второй сигары.

Мы не будем следовать за нашими путешественниками по длинной дороге, по косогорам, по испорченным мостам; не будем останавливаться за порчей экипажа, за спорами с станционными смотрителями и бесконечными жеребьями извозчиков,— и предположим, что они доехали до своей деревни в то блаженное время, когда Россию пересекут во всех направлениях железные дороги, чего с

нетерпением ожидал не один Акинфий Васильевич, несмотря на мудрые толкования некоторых философов, которые воображают, что с железными дорогами истребится столь смиренный и трудолюбивый класс ямщиков. В своей деревне, под благословенным небом Тамбовской губернии, по которому не в шутку, а в самом деле ходит яркое, теплое солнце, молодые нашли дом, устроенный со всеми просвещенными удобствами жизни. В кабинете, на бюро, действительно находилась положенная десять лет тому назад тетрадь, писанная рукою Акинфия Васильевича. Мы не можем себе отказать в удовольствии выписать несколько строк из этой истинно практической тетради:

«Муж и жена суть две половины одного и того же существа; но каждая из них имеет свои особенные свойства и обязанности и своим образом должна способствовать к достижению единой цели природы и общества — общей пользы:

1) Муж и жена встают в одно время. Летом тотчас идут на свежий воздух и наслаждаются природою. Ничто столько не укрепляет сил человека, нужных ему для дневных трудов его, как прекрасное местоположение, освещаемое лучами восходящего солнца, когда вся природа оживает и каждый цветок поет гимн вседержителю». За этим следовало несколько стихов из Томсона, и в конце примечание: «Зимою супруги остаются в своей комнате».

2) В семь часов супруги завтракают (чай или кофе); после завтрака супруг отправляется осматривать дневные работы; к его занятиям принадлежат пашня, сад, луга, огороды, о чем подробнее описано в тетради под № 26. К хозяйству жены относится все домостройство: молочный двор, кухня, прачешная, разные домашние рукоделья, о чем подробнее описано в тетради под № 28.

3) К полдню все распоряжения должны быть кончены, и супруги собираются в столовую для второго завтрака (хлеб, масло и холодный ростбиф); а как замечено, что все животные после полудня предаются сну, из чего должно заключить, что того требует благодетельная природа, потому и супруги должны это время посвящать отдыху...»

Мы не будем более продолжать этой выписки, но можем уверить, что наши молодые прочли всю тетрадь с должным уважением и даже ни разу не улыбнулись.

Но исполнение дядюшкиных предписаний не имело такого успеха. Началось с того, что молодые в первый день с дороги проспали до полудня. От этого весь день пришел в беспорядок. Они не успели вовремя насладиться

природою, пошли гулять во время общего естественного сна; завтракали в половине второго, отчего принуждены были обедать в восемь; после чего они прогуляли вплоть до полуночи и легли спать часу в третьем утра. От этого они на другой день снова проспали до полудня, и таким образом нечувствительно все дни прошли наизворот. Назначение работ приходилось в то время, когда работники отдыхали; посещение скотного двора тогда, когда все коровы были на выгоне, и так далее. Донесения приказчиков откладывались; наконец их накопилось столько, что уже прочесть их сделалось невозможным; мало-помалу английское систематическое хозяйство превратилось в обыкновенный быт русского барина, где все истребляется, поедается и выпивается, и никто ни о чем не знает и не заботится, полагаясь на православное *живет*, которое *проживает* гораздо более, нежели вся возможная роскошь.

Не мудрено, что хозяйство скоро надоело молодому графу. К тому же он и графиня невзначай заметили, что им было скучно, что им случалось проводить целый день с глазу на глаз и промолчать; это происходило очень естественно и от очень простой причины: потому что им говорить было не о чем. Люди, у которых воображение и чувство развиты, проживут целый век и всегда найдут сказать друг другу что-нибудь новое: но нельзя же целый век говорить о лошадях или о тартинках с маслом; а оттого, что супругам не о чем было говорить, они стали друг на друга дуться; но как и дуться целый век нельзя, то они стали от скуки браниться, а наконец и это привлекательное занятие им скоро надоело. К счастию, граф нашел себе дело: в околотке было много псарных охотников; он познакомился с ними, травил лисиц и зайцев и пил за двух, по-русски и по-английски. Молодая графиня познакомилась с соседками, которые, однако ж, ужасно ей надоели и с которыми она скоро рассорилась. Графиня стала невольно вспоминать о московских гостиных, о московском театре. В этом занятии прошло лето и часть осени.

Между тем случилось небольшое происшествие, которое произвело совершенный переворот в мыслях графа. В той губернии начались выборы; несколько из поклонников графа, каких всегда много у всякого богатого человека, явились к нему с планами и рассуждениями о том, как бы для них и для их дел было приятно, а для графа почетно, если б он согласился быть предводителем их уезда. Молодому графу эта мысль очень понравилась; в ней было что-то новое, а уж ему все старое очень надоело. Он

изъявил свое согласие с большим снисхождением; в голове его уже вертелись планы для преобразования всего уезда, ибо в молодом графе было нечто дядюшкино, разбавленное обыкновенною нашею беззаботностию и ленью. Скоро эта мысль овладела совершенно остатком его воображения, и звание предводителя даже грезилось ему ночью. В назначенный для выбора день граф надел мундир и явился с твердою уверенностию быть выбранным. Но каков был ему удар, когда вместо его выбрали другого! Он не мог прийти в себя от изумления.

— Что это значит?—спрашивал он то у того, то у другого,—какое преимущество имеет мой соперник? он не богаче, может быть, не умнее?..

Кто отнекивался, кто отвечал обинякáми, многие потихоньку смеялись над столичными жителями со всею провинциальною злостию.

— Я вам скажу,—сказал ему наконец один из соседей постарее,—виновато не дворянство, а вы. Ваш соперник человек чиновный, а вы, ваше сиятельство, извините, не имеете никакого чина.

— Никакого чина!—воскликнул граф,—никакого чина?—и поспешно уехал из собрания. Эти немногие слова открыли для него целый мир, которого существование он и не подозревал.

В самом деле, дядюшка, по своей английской системе, никак не предполагал, что его племяннику нужно будет когда-нибудь служить; он хотел образовать из него отличного агронома, то, что он называл «владельца земли», и воображал, что весьма достаточно будет графу прослужить для проформы года два и потом зажить в своем поместье наподобие английского лорда или фермера.

Нечего сказать, жизнь прекрасная, но не по нас. Владимир так привык к дядюшкину попечению обо всем, что́ до него ни касалось, так привык думать его мыслями, что когда дядюшка сказал ему: «невозможно служить и заниматься своими хозяйственными делами», или «владелец земли обязан посвящать всю жизнь свою улучшению своего состояния»,—Владимиру не пришло и в голову возражать Акинфию Васильевичу, а просто на другой же день он подал в отставку и вышел из службы в звании чиновника 14-го класса.

Происшествие на выборах сильно подействовало на молодого человека; его самолюбие, которое уже расшевелилось ожиданием предводительского места, теперь еще

сильнее было взволновано; общая наша болезнь, чинолюбие, или, если угодно, честолюбие, стало мало-помалу закрадываться в его душу; уж ему казалось, что проходящие по дороге не так ему кланяются, потому что он видел, с каким почтением на выборах увивались вокруг нового предводителя, потому что он заметил, какое действие производили на окружающих кресты и звезды, не столько заметные в столицах. В эти несколько часов Владимир постарел десятью годами. «Что мне гнить в этой деревне!—говорил он сам себе,—мне надобно служить, мне надобно чинов, крестов, звезд, блеска, почестей».

Мало-помалу в уме его начались те вычисления, которые служат обыкновенным, постоянным занятием для закоренелых чиновников; он рассчитал, сколько лет потерял он напрасно, досадовал на дядюшку, на его английскую систему, на самого себя, на свою женитьбу, словом сказать, на все на свете.

Он возвратился домой очень не в духе. Марии также надоели соседки своими рассказами о разных провинциальных сплетнях, которые обыкновенно бывают во время выборов,— Мария также была не в духе. В этот вечер они снова побранились—за что, сами не знали, так, потому что надобно было побраниться, каждому сорвать на ком-нибудь сердце: это одна из выгод супружеского состояния.

Дело в том, что назавтра оба стали мало-помалу заговаривать о необходимости оставить деревню; но как объявить об этом желании дядюшке, который писал к ним каждую почту, напоминал им, какою полевою работою должно было заниматься в то время, толковал о важности сельского хозяйства вообще и о красоте сельской природы в особенности?..

Одно обстоятельство вывело их из затруднения: Мария сделалась беременною. Супруги не замедлили об этом уведомить дядюшку и объявить ему, что положение графини требует непременно, чтоб они переехали в Москву или Петербург.

Хотя дядюшке весьма хотелось предоставить беременность графини благотворной силе природы, но, подумав немного, он признал за лучшее согласиться на желание молодых и вместо природы ввериться хорошему акушеру; к тому же, самого его опекунские дела призывали в Петербург,—и наконец он назначил этот город местом свидания с молодыми. Молодые люди только того и ждали и решились в тот же день выехать, несмотря на распутицу. *Его* тешили мечты о чинах и крестах, *ее*—

петербургские балы: но посреди этих веселых приготовлений они получили письмо, запечатанное черною печатью. Владимир хотел было скрыть это письмо, но Мария увидела его, и — есть ли возможность не удовлетворить любопытству женщины? В этом письме были следующие немногие слова:

«Вы теперь на верху вашего блаженства; вы скоро будете отцом и матерью; все вам удается, все исполняется по вашему желанию; но берегитесь и помните, что враг ваш не дремлет и что всякое счастие ваше есть для него новый повод вас ненавидеть и приготовлять вам втайне всевозможное зло.

Черная Перчатка».

Это письмо поразило молодых людей; они не могли постигнуть, кто мог быть им таким закоренелым врагом. В словах «все удается» Владимир видел свою неудачу на выборах: он подозревал, не участвовала ли в этом происшествии эта досадная Перчатка; тем больше ему захотелось, что говорится, выйти в люди и своим весом задавить неотвязчивого врага. Марию мучило другое чувство: любопытство узнать, кто была эта Черная Перчатка и что могло быть причиною ее странных преследований; она надеялась в столице скорее объяснить эту загадку, нежели в своем захолустье; вы видите, что Мария сделалась также гораздо опытнее.

Как бы то ни было, все эти мысли не помешали приготовлениям их к отъезду. Они с почтением положили дядюшкину тетрадку на прежнее ее место и сели в карету, с сожалением посмотрели на окружавшую их дворню, которая плакала навзрыд, а втайне, разумеется, радовалась, что господа уезжают; некоторые из верных слуг на радости были уже вполпьяна; они плакали громче других.

После долгого странствия наши супруги въехали в Петербург, который представился им во всем своем великолепии: в дожде, слякоти, изморози — это было 1 мая.

Они нашли дядюшку уже в Петербурге. Этот человек, рожденный для беспрестанной деятельности, успел уже все им приготовить. Дом в лучшей части города, в котором даже иногда бывало солнце, мебели, всю прислугу, даже повивальную бабку и акушера — все предвидела его неутомимая заботливость.— Первые дни наши молодые провели довольно скучно. Надобно было отдавать дядюшке отчет в том, чего они не делали, рассказывать о том, что их не занимало, и скрывать настоящую причину своей поездки в Петербург. От всего этого в их маленьком

кругу родилась какая-то принужденность; если б они были в другом городе, дядя скоро догадался бы, что его молодые метят не в английские фермеры, а что им просто хочется, как по-русски говорится, пожить. Но петербургская жизнь, где на каждое дело дается по минуте в день, и то с изъяном, где человек походит на молотильню, которая стучит и трещит беспрестанно, пока совсем не изломается,— в такой жизни молодым легко было избегнуть от дядюшкиной проницательности.

Скоро в этой жизни постарели наши молодые. Графиня бросилась в эту пропасть с жаждою наслаждений, шума, разнообразия, танцев, волокитства,— граф с разжженною, свежею страстью честолюбия; скоро постигнул он все тайны этого пестрого мира, скоро научился он искусству обращать на себя внимание, выжидать времени, знать, с кем познакомиться, к кому оборотиться спиной, выучился тем словам, которые бывает иногда выгодно бросить в воздух, выучился кстати купить и кстати продать, выучился немножко лгать, немножко доносить и немножко клеветать. Он не спешил, не жаловался, но, как искусный полководец, тихо проводил свои траншеи.

Роды графини прекратили на время эти занятия супругов. Дядя, до сего времени спокойный, уверенный в полном успехе своей превосходной системы, наконец начал догадываться, что от него что-то скрывают. Например, он очень удивился, когда молодой граф не умел рассказать ему баланса дебета с кредитом по тамбовской деревне, ни объяснить ему, какое действие произвел в урожаях засеянный лет десять тому назад Акинфием Васильевичем лес. Но каково было его удивление, когда однажды племянник показал ему письмо от одного значащего человека, в котором приглашали графа вступить в службу, и когда вслед за тем граф с жаром начал ему доказывать о врожденной своей склонности к дипломатической части; когда он стал по пальцам ему рассчитывать все выгоды, его ожидающие, и все это в ту самую минуту, когда Владимир готовился быть отцом, «главою домашнего государства, естественным наставником и руководителем детей своих», как говорил Акинфий Васильевич, когда акушер уже был возле комнаты графини. Акинфий Васильевич был изумлен, поражен и в первый раз в жизни потерял в голосе свою обыкновенную твердость и решительность; он даже не нашелся, что ответить молодому честолюбцу. Первый шаг был сделан.

Роды кончились благополучно, только ребенок вскоре после того умер — повивальная бабка говорила, оттого, что графиня туго шнуровалась и слишком много танцева-

ла перед родами; но акушер говорил, что ребенок умер оттого, что не имел средств для продолжения своей жизни.

Графиня скоро оправилась. Был великий пост; балы прекратились, графиня ездила по утрам на репетиции концертов, потому что она еще не могла надевать вечернего платья. Однажды графине поутру было скучно; на дворе выл ветер, на улице такая же была метелица, как в жизни и в голове петербуржцев. Графиня никого не ожидала. Она взглянула на огромный лист афишки; какой-то удалец давал концерт, кажется, на варгане, да графине было все равно: ей хотелось только куда-нибудь выехать. Графа давно уже не было дома.

В концертной зале было мало; но графиня была одета с щегольством по привычке. Мысль, что она осиротевшая мать, что она молода, недурна собой, что она недавно освободилась от болезни,— придавала графине и нравственную и физическую томность. Она кокетничала своим нездоровьем и своей горестию. Когда графиня проходила по зале, мимо нее мелькнуло лицо как будто бы ей знакомое; возле этого лица было другое, в самом деле ей знакомое. Это последнее был один из тех людей, которые, кажется, гоняются за вами повсюду, которых встречаешь везде: и на утреннем визите, и на обеде, и перед вечером, и на вечере, и даже ночью, в карете у подъезда,— люди, которые обо всем и всех спрашивают, на все и всем отвечают, которые готовы говорить даже с нашими описателями нравов, не опасаясь их глубокомысленной и тонкой наблюдательности. Этот господин, разумеется, ездил к графине. Орлиный взор его тотчас подметил знакомую даму; он не замедлил подойти к ней с обыкновенными расспросами.

— С кем вы сейчас говорили?— спросила графиня.

— Это ваш старинный знакомый, Воротынский.

— Старинный знакомый,— повторила графиня,— тому лет десять я танцевала с ним на детских балах, с тех пор я потеряла его из виду.

— Он сию минуту просил меня его вам представить... Позволите?..

— О, без сомнения.

Молодой человек подошел, старался вспомнить то, о чем давно он забыл, разные приключения детства, заметил шутя, что он и тогда уже волочился за графиней, и просил позволения продолжать. Графиня смеялась, старалась также показать, что она помнила все давно забытое, как вдруг, посреди самого жаркого разговора, она остановилась в невольном смущении: она заметила, что на

Воротынском были черные перчатки. Молодой человек заметил странное действие, произведенное им на Марию, и также невольно смутился; но графиня, светская женщина, тотчас опомнилась и хладнокровно спросила:

— Что значат эти черные перчатки? разве вы в трауре?

— В трауре, графиня.

— По ком?

— А на этот вопрос позвольте не отвечать: вы будете смеяться.

— Разве вы думаете, что я такого веселого нрава?

— Мне так кажется: *вы так счастливы.*

При этой фразе графиня снова было задумалась, но тотчас обратилась с новым вопросом:

— Скажите же, по ком вы в трауре?

— Если вы уже этого непременно хотите, я вам скажу, графиня, но с условием — не смеяться.

— О, полноте; я хочу непременно знать, по ком вы в трауре?

— По самом себе,— с важным видом сказал молодой человек.

Графиня захохотала.

— Разве вы умерли?

— Я вам сказал, что вы будете смеяться.

— Ваши слова или не иное что, как шутка, или они очень важны.

— И то и другое, графиня; в жизни все перемешано.

— Вы говорите о жизни, как будто вы ее знаете?

— Знаю, и очень давно.

— Вы не женаты?

— Нет.

— Так вы ничего не знаете.

Последние слова невольно сорвались с уст графини. Они оба замолчали. Не знаю, что происходило в душе молодого человека; и трудно было бы узнать: он принадлежал к числу тех людей нового поколения, которые умеют смеяться не улыбаясь и плакать без слез; которых, кажется, ничто не в состоянии ни удивить, ни тронуть — и не из притворства, а по привычке. Ни одно чувство не выходило у него наружу, ни одно движение не изменяло непонятной тайне души его. Он умел о самом горьком чувстве говорить с равнодушною улыбкою, о самом радостном с презрением, которое, казалось, заранее отвечало на все вопросы любопытных. Его обращение было, как его одежда: просто, без всяких претензий и методически застегнуто. Он был бледен; черные кудрявые волосы оттеняли холодные, почти безжизненные черты лица его;

лишь иногда какой-то минутный огонь сверкал в его глазах и потухал в ту же минуту. Горе ли было в душе его, или просто светская аристократическая привычка ничего не чувствовать, или, наконец, простая фешенебельность,—разгадать было трудно: все это так перемешано в новом поколении, которое, кажется, положило себе за правило быть загадкою для всех и, может быть, больше всего для самого себя.

На графиню он произвел удивительное впечатление. Смутно представлялось ей, что между этим новым знакомцем и Черною Перчаткою существовала какая-то связь. Ее женскому самолюбию льстила мысль, что она зародила к себе исключительную ненависть, которую тайный, едва слышный голос объяснял ей другим образом. Она страшилась и мучилась любопытством. Последнее превозмогло.

Музыка снова связала нить прервавшегося разговора. Несчастный артист, хлопотавший в оркестре, никак не ожидал, что он фальшивою нотою подаст повод к объяснению между двумя лицами, которых так долго разделяло пространство и время. Эта фальшивая нота напомнила скрипача, игравшего во время танцевальных уроков, на которых графиня и Воротынский встречались. Этот скрипач напомнил обстоятельство, о котором совсем забыла графиня, что Воротынский в своем детстве всегда носил на лице повязку. Эта повязка напомнила, что все дети чуждались бедного больного, и дала Воротынскому повод рассказать графине, как судьба его преследовала с самого детства; тут уже разговор стал цепляться за каждое слово.

Графиня до сих пор видела вокруг себя людей богатых, здоровых, краснощеких, довольных собою, для которых несчастие состояло в проигранной партии виста. Посреди этого довольства графине иногда бывало скучно, но отчего—она не понимала. Она не смела себя назвать несчастливою: выговорить это слово ей казалось странно и неприлично. Воротынский, говоря о себе, объяснил ей ее собственное чувство и смутным ощущениям ее души придал жизнь и слово. Он рассказал ей о *несчастии быть счастливым*, о несчастии быть богатым, несчастии ни в чем не нуждаться, несчастии исполнять все свои желания, несчастии прожить несколько лет в чужих краях, наконец о тех тайных, необъяснимых несчастиях, которые тяготят душу человека с умом и чувством, как, например: несчастие слушать хорошую музыку, несчастие смотреть на хорошую картину, несчастие читать хорошие стихи, вообще несчастие жить,—словом, все эти несчастия, которые

очень смешны в романах и повестях, но которые на самом деле так же существенны, которым так же невольно веришь, как и тем обстоятельствам, которые в свете исключительно пользуются названием несчастных.

Все это понимала графиня, хотя эти слова были для нее новы; она вслушивалась в них, как будущий ренегат в слова человека, обращающего его к своему расколу; часто хотела она направить разговор на предмет своего любопытства; но молодой человек умел избегать вопросов: они служили ему только ступенькой к тому, что ему хотелось высказать графине. Он искусно оставлял мысль необъясненною, слово недоговоренным — и этим средством сказал ей много такого, чего не говорил...

«Глупые читатели! — вскричал однажды аббат Гальяни, — вы читаете только то, что написано черным по белому, одне строчки; умейте читать белое по черному, умейте читать между строчками».

Воротынский обладал этим искусством в совершенстве: в пробелах между его словами были другие слова, которых он не произносил, но которые таинственный голос шептал на ухо графине.

Как бы то ни было, графиня возвратилась домой с мыслию, что она богата, молода, прекрасна, что муж ее здоровый, краснощекий мужчина, который славно ездит верхом и прекрасно боксирует, и что посему она очень, очень несчастлива. Она любила повторять себе это новое, свежее для нее слово; она старалась припоминать все происшествия своей жизни и искать их мрачную сторону; она находила, что во всех наслаждениях, которые она доселе испытывала, ей чего-то недоставало; словом, она возвратилась домой убежденною, что она очень, очень несчастлива. Графа не было дома; он прислал сказать, чтоб его не ждали к обеду. Графиня была очень рада этому; в доказательство своего несчастия она не велела себе подавать обедать, бросилась в кресла своего кабинета и принялась любоваться своим несчастием, как ребенок новою игрушкою; она брала то ту, то другую книгу: ей не читалось; роман был в ее голове — чужие ей казались сухи и холодны. В одиннадцать часов возвратился граф с раскрасневшимся лицом и в очень веселом расположении духа: он был на импровизированном завтраке с людьми случайными, и дела его шли очень хорошо. Граф вошел в кабинет своей жены с громким смехом и с дюжиною каламбуров, которых он набрался во время завтрака. Этот вход смутил и огорчил графиню: он нарушал ее горькое спокойствие, и когда граф бросился в постель и заснул, графиня осталась в креслах, наклонила голову на холод-

ный мраморный столик и тихо говорила: «Как я несчастлива, как я несчастлива!»

Утренняя заря застала графиню в этом положении; тут невольно неясная мысль пробежала в ее голове; она быстро подбежала к зеркалу и с ужасом заметила, что бледность и изнеможение ее лица перешли ту степень, на которой болезнь перестает в женщине быть интересною. Она наскоро закрутила свои длинные каштановые волосы и от страха даже почувствовала голод. Тихими шагами она прошла в столовую, потом в буфет, очень обрадовалась, когда нашла в нем забытое холодное блюдо и—увы! с большим аппетитом покушала, а потом легла в постель и започивала.

Я знаю, что некоторые из моих читателей сочтут такое поведение моей графини совершенно неприличным: героиня голодна! героиня кушает!.. Что делать! «Таков закон благодетельной природы!», как сказал бы Акинфий Васильевич. Я боюсь также, чтоб мои читатели не подумали, будто бы я смеюсь над бедной графиней или нарочно представляю ее в смешном виде: эта мысль далека от моего воображения. Нет, я понимаю страдания графини, я верю им; эти страдания, повторяю, существенны, ибо всякое страдание может измеряться лишь организациею того существа, которого оно поражает. Нет сомнения, что насекомое, которого вся нервная система состоит из одной ниточки, мало страдает; то ли дело с человеком, которого все тело перепутано нервами? То же и в нравственном мире: у иного душа сделана из черепаховой скорлупы, колите ее сколько хотите—что ему нужды! У другого душа нежнее глазной оболочки; троньте перышком—она придет в сотрясение... Вообразите себе молодую девушку с пламенным воображением, с глубокою чувствительностию, воспитанною человеком, каков Акинфий Васильевич, для которого воспитать значило: выкормить, сделать богатым, который, как мы уже сказали, понимал все физические потребности жизни и ни одной сердечной, поступавший с душою словно человек, который, желая предохранить свою руку от опасности быть вывихнутою, привязал бы ее на несколько лет без движения. С графом эта операция удалась совершенно, потому что он родился безрукий; но с графиней было другое дело: долго она не участвовала почти ни в чем, что с нею ни делали; но настала минута, и то, чего недоставало в воспитании дядюшки, дополнилось само собой. Кто виноват, если это новое воспитание было навыворот обыкновенному? Первым учителем графини была скука; потом тайное чувство недовольства, темное, невыразимое;

потом любопытство, возбужденное человеком в черных перчатках; потом наслаждение его слушать, или, лучше сказать, говорить его словами, словами, которых она прежде не слыхала и которые были ей сладки, как на чужбине звуки далекой родины... Не обвиняйте бедной графини, не смейтесь над нею: много было смешного в ее страдании для проходящих, но она страдала, как страдает бедное, нежное животное, из южной отчизны перенесенное равнодушным ученым на холодный север, в коробке, под нумером. Насмешливая природа всякое страдание смешивает с чем-то смешным: на лице мертвого есть улыбка.

Вот два часа пополудни. По шумной улице мчатся блестящие экипажи: в великолепной гостиной солнце светит в штофные занавески; мебели расставлены в беспорядке, но с какою-то изысканностию. Зачем эта молодая женщина, одетая в богатом пеньюаре, обшитом кружевами, беспрестанно встает с своего места? отчего она то подходит к окошку, то перед зеркалом оправляет четырехугольно загнутые волосы? Она в беспокойстве, она чего-то ждет необыкновенного и потом старается себя уверить, что она покойна, что это утро похоже на вчерашнее... Но вот раздался звонок. «Воротынский»,— проговорил вошедший официант. Графиня бросилась в кресла; сердце ее билось сильно, но лицо ее было спокойно и холодно. Этот визит был короток; теперь это были не люди нечаянно встретившиеся и, как члены масонской ложи, узнавшие друг друга по тайным знакам; нет, это были расчетливые торговцы, которые желают скрыть друг от друга — один тайну покупки, другой тайну продажи. Они говорили о предметах самых незанимательных; разговор прерывался на каждой минуте, но увлекал их обоих. Через полчаса Воротынский встал; графиня сказала ему только одно слово: «au revoir j'espère»[1],— но от этих слов кровь бросилась в голову молодого человека.

У графини вечера, музыкальные утра; графиня очень любит пикники и кавалькады; во всех этих удовольствиях участвуют и молодые мужчины и молодые дамы. Граф почти всегда сопутствует жене своей, но как-то всегда остается назади возле одной молодой дамы, а графиню и Воротынского всегда уносят лошади вперед; или случает-

[1] До свиданья, я надеюсь (*фр.*).

ся напротив: граф ускакивает вперед, а графиня остается назади; в этих случаях обыкновенно случаются маленькие несчастия: у графини разнуздывается лошадь или распускается стремя; это могло бы иметь неприятные последствия, но, к счастью, в это время бывает возле графини Воротынский, который все это приводит в порядок. Он называет себя стремянным графини — écuyer de Madame. Так называют его и другие.

Время идет, и очень весело. Прошло лето; известно, что все семена интриг сеются на петербургской почве летом, на дачах, под шум проливного дождя, цветут осенью и поспевают зимой. Искусный садовник умеет возращать это растение в одно лето; но графу, как человеку еще неопытному, надобно было больше времени. Как бы то ни было, однажды утром он приехал к своему дядюшке с объявлением о том, что он получил место в***. Дядя вздохнул и только мог промолвить:

— А имение?

— А вы, дядюшка? — отвечал молодой человек.

— Я уже стар, — отвечал дядя, — все, что я могу сделать, это постараться продать его.

— Это бы не худо, — отвечал граф, — но есть маленькое препятствие: оно заложено.

— Заложено! — воскликнул дядя, — разве ты имел в виду какую выгодную спекуляцию?..

— Да, любезный дядюшка, и которая мне совершенно удалась.

— Как я рад, любезнейший друг, — сказал дядя, — что ты обратился на путь истинный, и какой хитрец! скрывал от меня свои расчеты. Ну, расскажи мне поскорей, в чем состоит твоя спекуляция.

— Я уж рассказал вам ее, дядюшка...

— Как, когда же? — воскликнул старик.

— А мое определение к месту?

Акинфий Васильевич повесил голову.

— Мне твоим имением заниматься нельзя, — сказал он печально, — а без хозяйского глаза все пойдет вверх дном. Впрочем, если твое имение заложено только в казну, то продать еще можно, и с выгодою.

— Да-с! — сказал граф, — но оно заложено и в казну и в частные руки.

— Дорого стоила тебе твоя спекуляция!

— Не дешево, дядюшка; хорошее даром не дается.

В другое время Акинфий Васильевич рассердился бы; но теперь он был в положении человека, нечаянно слетевшего с лестницы до последней ступени; он оторо-

пел — все его мысли замолкли, заговорила одна природная чистота сердца, и он воскликнул:

— Быть так, без денег жить нельзя: я тебя не оставлю.

Между тем в доме графини происходила другая сцена. Графиня в задумчивости, с слезами на глазах, сидит в креслах, а Воротынский большими шагами ходит по комнате.

— Графиня! — говорит он, — надобно на что-нибудь решиться: или вы едете с графом, и тогда мы простимся навеки, или, Мария, ты остаешься здесь!

— Остаться здесь? Но знаешь ли, Виктор, что это будет значить?..

— Знаю, — отвечал он, — это будет значить, что вы разрываете все связи с своим мужем.

— И ты не боишься за меня? ты не боишься ни мнения света, ни, может быть, укоров моей совести? Ты эгоист!..

Графиня зарыдала... Но молодой человек был неумолим. На лице его, как всегда, не было видно ни улыбки, ни сожаления. Он был спокоен, как на дуэли, когда одной минутой решится участь человека.

— Мнение света! — сказал он хладнокровно, — свет не вмешивается в то, что его не оскорбляет. Он не видит того, что от него не скрывают; он любит откровенность в жизни и любопытен только к секретам; тогда свет начинает доискиваться — и беда той женщине, про которую нечего сказать! свет сердится и наказывает невинную женщину клеветою... Надобно быть решительною в жизни, выбрать ту или другую роль: или быть жертвой сотни глупцов в золотых очках, которые будут клеветать на тебя для того только, чтоб занять свою даму во время танцев, — или сказать свету: «Я тебя презираю, не страшусь твоих толков, поступаю так, как мне велят мои чувства», — и тогда свет делается смирен, как овечка; он как будто страшится женщины, которая умеет презирать его! Выбирайте, графиня...

Графиня молчала.

— Неужели нет возможности, — сказала она наконец, — согласить эти две крайности? Я понимаю, что тебе жить в одном со мною городе невозможно; но я каждый день буду писать к тебе, ты будешь приезжать к нам...

— И ты называешь меня эгоистом, Мария? Как? мне снова ухаживать за твоим мужем, ловить на лету его глупости, давать им умный смысл и потом подносить ему

в виде комплиментов? этою низкою лестью покупать счастье видеть тебя изредка, пополам со страхом? Нет, Мария, жизнь коротка; и без того она наполнена горечью: зачем накупаться на страданья, когда одним решительным словом можно упрочить свое счастие? Ты сама не каждую ли минуту проклинаешь день своего замужества, не каждую ли минуту боишься, чтоб какая-нибудь нечаянность не прервала наших редких свиданий?..

— Все это так,— отвечала Мария,— но совесть, совесть! ты забыл о ней.

Воротынский вспыхнул, но лицо его даже не покраснело; он хладнокровно взял шляпу и с улыбкой сказал:

— Что касается до совести, то на эту задачу я советую попросить объяснения у его сиятельства, который так жестокосерд, что лишает нашу сцену одной из лучших танцовщиц.

С сими словами он хотел уйти. Графиня схватила его за руку:

— Что ты говоришь, Виктор?

— Вы знаете,— отвечал он,— что я говорю всегда правду, и всем, кроме вашего мужа, когда уверяю его, что он очень остроумен. Госпожа*** отправляется, если не с вами, нежная чета, то по крайней мере вслед за вами.

Мария бросилась в кресла; Воротынский удалился.

Однажды Акинфий Васильевич, очень встревоженный, вошел в кабинет молодого графа, которого окружали чемоданы, ларчики и все принадлежности дороги.

— Что это значит?— сказал Акинфий Васильевич,— ты жену свою оставляешь здесь?

— Она сама этого желает,— отвечал граф с замешательством.— К тому же, любезнейший дядюшка, я вам должен признаться, что нам обоим будет полезно разлучиться, разумеется на некоторое время.

— Я тебя не понимаю...

— Видите, дядюшка,— продолжал граф,— мне совестно вам признаться, но нас обоих беспокоят эти странные письма, в которых неизвестный человек грозит нам бедствием, если мы останемся вместе: вы знаете, как опасны тайные враги...

— Кто же это?— воскликнул дядя.

— Черная Перчатка.

— Черная перчатка? Боже мой! знаешь ли ты, что эта Черная Перчатка был не кто иной, как я.

— Как? вы?— вскричал молодой человек.

— Да, мой друг; я счел нужным употребить эту

маленькую хитрость. Когда вы женились, я боялся одного, что вы слишком будете счастливы; а как совершенное счастие противно природе, я боялся, что ваше счастие скоро вам наскучит. Я выискивал средства, как бы вам навлечь маленькое беспокойство, которое бы заставляло вас бояться друг за друга и теснее бы укрепило связь между вами.

Молодой граф едва мог удержаться от смеха. Акинфий Васильевич продолжал:

— В это время меня уговорили прочитать роман Вальтера Скотта, а именно «Редгонтлет»; там одна сцена, где девушка из партии якобитов бросает перчатку рыцарю английского короля, дала мне мысль бросить перчатку в вашу спальню с письмом моего изобретения. Теперь ты видишь, что нет никакой причины твоей жене оставаться здесь.

— Благодарю вас, дядюшка; вы нас избавили от большого беспокойства; но все-таки графине со мной ехать нельзя. Вы заметили, как испортилось ее здоровье?

— Нет, я этого не заметил.

— О, как же!—возразил граф,—с ней беспрестанно делается дурнота, и доктора решительно сказали, что всякое движение ей будет очень вредно.

— Кроме танцев,—печально заметил дядюшка.

— Да... танцы,—сказал граф,—для развлечения; но вообразите себе длинный путь, дурные дороги; если б у нас были, как в Англии, везде шоссе, тогда другое дело... Вы понимаете?

— Понимаю, все понимаю,—отвечал печально старик.

Он видел ясно, что все его планы для счастия его питомцев расстроены, но не мог себя упрекнуть ни в чем. Он устроил их имение, доставил им богатство, упрочил их телесное здоровье, тщательно хранил их от всех порывов того, что он называл воображением, от всего, что могло приводить в движение ум и чувство, и никак не мог растолковать себе, отчего не удалось ему его систематическое, на *практических* правилах основанное воспитание?

Чем же все кончилось? Акинфий Васильевич поехал по деревням заниматься хозяйством и восхищаться природою. Граф поехал в*** к своему месту, и не один. Графиня осталась в Петербурге.

IMBROGLIO[1]

(Из записок путешественника)

(Один из моих приятелей сообщил мне описание странного приключения, случившегося с ним во время его путешествия по Италии. Мой приятель не автор и не умеет рассказывать красно и витиевато; желаю, чтоб интерес самого происшествия заменил для моих читателей красоту рассказа. Повторяю, мой приятель не автор, но простой путешественник, турист, для очистки совести принявшийся за перо.)

Солнце уже заходило. Пароход наш летел стрелою. Неаполитанский залив открывался во всем своем величии. Пассажиры бросились на палубу. Хотя мы уже седьмой день все больше и больше подвигались под итальянское небо, но при виде берега оно показалось нам еще прекраснее. Я не буду описывать наших восклицаний, наших восхищений, нашей радости: надобно испытать ее.

Дым из парового котла, как будто сердясь на долгое заключение, с шипением и брызгами выскочил из трубы; колеса замерли; нас окружили тысячи лодок. Путешествуя без слуги, я взвалил на плечи свой маленький чемоданчик и бросился в одну из них.

— Alle crocelle, a Santa Lucia[2],— сказал я гребцу, справившись со своим «Guide de voyageur»[3],— какой трактир всех дешевле?

— Si, signore[4],— отвечал лодочник и сильно взмахнул веслами.

---

[1] Путаница *(ит.)*.

[2] Причальте к Санта Лучиа *(ит.)*.

[3] Путеводителем для путешественников *(фр.)*.

[4] Слушаю, господин *(ит.)*.

Добравшись до трактира, я занял первую мне попавшуюся комнату, сбросил скорее с плеч котомку, отдал мои бумаги трактирщику и со всем нетерпением северного жителя выбежал на улицу, чтоб насладиться роскошною итальянскою ночью и величественной картиной, бывшею у меня перед глазами. Долго бродил я по улицам и нечувствительно дошел до Villa-reale, на берег моря. Все поражало меня, все приковывало мое внимание,— и архитектура зданий, и новая для меня одежда, и черты лиц, опаленных солнцем. Я прислушивался к пению рыбаков, к повестям их рассказчиков, заходил в церкви, заглядывал в окошки домов, словом, наслаждался вполне, как только может наслаждаться человек, внезапно через море перенесенный из далекого севера в поэтическое отечество Тасса. В этом наслаждении я не замечал времени, как вдруг небо потемнело; тут я вспомнил, что в южных странах не бывает сумерек и что мне, иностранцу, легко можно заблудиться; впрочем, других опасностей я не предвидывал. Время романических приключений прошло и для Италии; грозных поэтических разбойников уняла полиция; к тому ж мой небогатый наряд и еще менее богатый кошелек не могли обратить на себя корыстолюбивого внимания. Я подумал и решился поверить мой орган местной памяти,— добраться до ночлега, никого не спрашивая. Признаюсь, мне почти хотелось не найти моего трактира, чтоб иметь случай провести ночь под открытым небом. Но не успел я пройти несколько шагов, как почувствовал, как две сильные руки схватили меня сзади; в ту же минуту другие две руки накинули мне платок на лицо и затянули так крепко, что я не мог даже закричать, не только видеть, кому вздумалось так забавляться надо мною.

Было не до шуток, когда я почувствовал, что мне связали руки и ноги и потащили бог знает куда с большой быстротою. Всякое сопротивление было тщетно; я позволил делать с собою все, что было угодно моим носильщикам, и с нетерпением ожидал развязки этого странного приключения. Наконец мы остановились. Послышался шум весел, и я скоро почувствовал, что нахожусь в лодке. Это меня несколько успокоило. «Если бы я был взят разбойниками,— подумал я,— то они не стали бы столько со мною церемониться». Но тут мне пришли в голову рассказы о людях, которые были задержаны шайкою воров и могли освободиться только посредством большого выкупа, в ожидании которого i bravi[1] занимаются обрезы-

[1] Разбойники (*ит.*).

ванием носов и ушей у жертв своих. От этой мысли дрожь у меня пробежала по членам: понятие о богатстве русских, которое имеют в Италии; мое слишком недостаточное состояние; уверенность, что я не легко могу освободиться от бездельников и что, может быть, очень горькая участь меня ожидает,—все это стеснилось в голове моей и рисовало картину ужасную. Но тут я вспомнил, что никогда не слыхано о подобных приключениях в Неаполе, и снова начал теряться в догадках. Тщетно хотел я прислушаться к разговору моих товарищей: они хранили глубокое молчание. Наконец лодка причалила к берегу, снова мои проводники подняли меня на руки, пронесли несколько шагов,—я услышал скрип дверей и почувствовал, что меня тащат по лестнице. Послышались звуки нескольких голосов; ближе, ближе; наконец сильная рука схватила меня за грудь и грубый, задыхающийся от гнева голос проговорил:

— Scelerato![1]

Между тем развязали мне ноги, протащили еще несколько шагов, и раздался крик женщины. В эту минуту повязка, закрывавшая мое лицо, была сорвана, и я увидел себя в комнате, обитой черным сукном,—перед собой молодую прекрасную женщину в черном платье, которая бросилась в мои объятия и вдруг отступила, стала на колени и с радостным криком начала благодарить бога. Возле меня стоял человек пожилых лет, с обнаженным кинжалом в руке, и еще другой, уже поседевший.

— Тщетно ты хочешь обмануть нас,—сказал первый по-итальянски, обращаясь к молодой женщине,—вместо этих сцен лучше спеши проститься с ним; его последняя минута наступила.

Молодая женщина ничего не отвечала: она смотрела на меня и, казалось, была в нерешимости. Наконец она как бы превозмогла себя и вскричала:

— Судьба обманула вас; это не он.

Тут я постарался вспомнить те слова, которые слыхал в итальянских операх, и, запинаясь каждую минуту, сказал почти следующее:

— Я вижу, милостивые государи, что я здесь жертва какого-то недоразумения и что вы меня принимаете за другого. Я не буду говорить вам, как противно чести нападать на безоружного человека...

— Тут не о чести дело,—вскричал старик с гневом.

Однако ж мой иностранный выговор, казалось, поразил их; я видел на их лице недоумение.

---

[1] Негодяй! *(ит.)*

— Я иностранец, милостивые государи,— продолжал я.

— Неправда! — вскричали оба.

— Я сейчас только с парохода.

— Это мы знаем.

— Я офицер русской службы.

— И это мы знаем; мы знаем все твои обстоятельства.

— Если так, милостивые государи, то я уже решительно не понимаю, зачем я здесь. Я никогда не бывал в Италии, даже не имею здесь ни одного знакомого. Я русский, милостивые государи, повторяю вам и прибавлю, что мое правительство не потерпит, чтоб мне была нанесена какая-нибудь обида...

Мои странные фразы, мой иностранный выговор видимо поражал их; они смотрели в нерешимости то друг на друга, то на молодую женщину, которая, сидя в креслах, спокойно ожидала окончания нашего разговора.

— Покажите ваши бумаги? — сказал мне один из незнакомцев.

Тут я вспомнил, как неосторожно поступил я, оставив свои бумаги у трактирщика и не побывавши прежде у нашего посланника. Как бы упавший с неба посреди людей, мне совершенно незнакомых, в стране иноземной, не знаемой никем из моих соотечественников, я был в полной власти моих гонителей.

— Мои бумаги остались в трактире,— отвечал я.— Вы можете об них справиться.

— Прекрасная выдумка! Вы знаете, что мы не можем об них справляться.

С этими словами незнакомец расстегнул мой фрак, без церемонии опустил руку в карман и вынул из него случайно оставшуюся в нем записку одного из моих приятелей, писанную по-русски.

— Язык, на котором писана эта записка,— сказал я,— может вам доказать, что я не тот, за кого вы меня принимаете.

— Эта записка ничего не доказывает; мы повторяем: нам известно, что вы приехали из России. Скажите, если вы в самом деле иностранец, что заставило вас остановиться не в таком трактире, где обыкновенно останавливаются иностранцы? что вас заставило так поспешно выскочить из парохода? зачем вы бегали по улицам? чего вы смотрели в окошках?

Кровь моя взволновалась, но я постарался скрыть свою досаду.

— На эти вопросы,— сказал я,— может, должно было бы мне отвечать вам также вопросом: какое вы имеете право требовать от меня отчета? Но в положении, в

котором нахожусь, я скажу вам, что все эти, по-видимому, странные обстоятельства легко объясняются нетерпением путешественника, из дальной страны в первый раз попавшему в Неаполь, где, признаюсь, он не ожидал себе такого приема.

— Это все выдумки,— вскричали незнакомцы.— Мы не ребята: нас обмануть трудно, и это вы сейчас увидите.

С этими словами старик вышел из комнаты. Прошло несколько минут в совершенном молчании; мои руки все еще были связаны, и младший из незнакомцев все стоял подле меня с обнаженным кинжалом. Он наблюдал каждое мое движение. Тяжка была для меня эта минута; я задыхался от различных чувствований, волновавшихся в моем сердце. Если б это состояние еще несколько продолжилось, я бы не вытерпел и, несмотря на неровность сил, постарался бы, хоть с потерею жизни, выйти из моего странного положения; но дверь отворилась, и лицо, как мне казалось, старой женщины, закрывавшейся платком, выставилось из-за двери.

— Это не он! — сказала она, взглянув на меня, и скрылась.

Крик досады вырвался из груди двух мужчин; они отошли в сторону и начали тихо разговаривать между собою. Мало-помалу голос их возвышался, и из слов, отражавшихся от сводов залы, мог я заключить, что я слишком много знал для их безопасности. Бездельники спорили, что будет лучше — оставить ли меня в живых, или бросить в море.

Минута была решительная, и я сказал им:

— Вы, кажется, уверились теперь, господа, что я не тот, кого вам надобно. Как ни обидно мне то положение, в которое вы меня поставили, и как бы ни хотел я потребовать у вас отчета в ваших со мною поступках, но я вхожу и в ваше положение: я могу вам дать слово, что если вы отпустите меня, то я сохраню все происшедшее в ненарушимой тайне: она умрет вместе со мною.

Они посмотрели на меня, снова отошли в сторону и снова заспорили.

— Я должен вам напомнить,— продолжал я,— что для вашей же собственной пользы вам гораздо безопаснее положиться на честное слово благородного человека, нежели скрыть это преступление новым преступлением. Я не имею никакого интереса узнавать вашей тайны, и через несколько дней оставлю Неаполь, разумеется, навсегда. Смерть же моя рано или поздно может довести до открытия тайны; мои бумаги, вероятно, уже известны полиции; мои соотечественники, приехавшие со мною на

пароходе, русское посольство употребят, уверяю вас, все возможные средства для открытия истины. Я оставляю вам на суд, что для вас выгоднее.

Эти слова, кажется, произвели над ними некоторое действие: они снова отошли в сторону, но разговор их сделался гораздо спокойнее. Наконец молодой человек подошел ко мне.

— Действительно, милостивый государь,— сказал он мне,— мы ошиблись. Странный случай открыл вам до некоторой степени тайну нашего семейства. Собственная наша безопасность заставляла бы нас прибегнуть к *самому верному* средству для сохранения этой тайны; но мы хотим лучше верить вашему честному слову. Мы решились отпустить вас, милостивый государь; но знайте, что с этим происшествием связана участь знатнейших фамилий Италии; что малейшая ваша нескромность будет в ту же минуту наказана смертию. Случившееся с вами сегодня может показать вам, что мы имеем все нужные для того способы. Вы должны нам поклясться всем, что для вас есть святого в жизни,— вашей родиной,— вашими родными,— вашей честью, что вы нигде, никогда, ни в каком случае, ни на исповеди, ни в терзаниях пытки, ни словом, ни движением не только не откроете всего с вами происшедшего, но даже не будете стараться объяснить его себе или даже встретиться с кем-либо из нас.

Делать было нечего — я поклялся.

— Теперь вы свободны,— сказал молодой человек,— вас сию минуту отвезут на вашу квартиру; но вы извините нас, если мы принуждены будем принять прежнюю предосторожность и завязать вам глаза. Руки ваши останутся свободны; мы полагаемся на ваше благородство и верим, что вы не сделаете ни малейшего усилия поднять повязку.

Я позволил делать все, что им было угодно.

— С этой минуты,— продолжал молодой человек,— мы как будто бы никогда не существовали друг для друга. Старайтесь, советую вам для вашей пользы, истребить из памяти даже черты лиц наших. С нашей стороны для вас великая жертва; умейте ценить ее.

Две сильные руки снова взяли меня под мышки, снова мы сошли несколько ступеней лестницы; снова заскрипели двери, снова я услышал шум весел и почувствовал качание лодки. Мои проводники по-прежнему погрузились в глубокое безмолвие.

Уже довольно долго продолжалось наше плавание; я уже думал, что приближается минута моего освобожде-

ния, как вдруг, между моими проводниками, я заметил некоторое движение.

— Здесь кто-то есть,— сказал шепотом один голос.

— Это свернутый парус,— отвечал другой.

— Нет, здесь что-то живое,— возразил первый.

После минуты безмолвия я услышал крик,— шелест скользнувшего кинжала,— слабый стон умирающего.

— Стой! стой! — закричали вокруг нас несколько голосов.

Это было уже слишком: я не вытерпел, сорвал с себя повязку. Луна светила,— у ног моих лежал окровавленный труп! Я еще не мог прийти в себя при виде ужасного зрелища, как лодка, на которой я находился, была примкнута крючьями к другой, из которой в то же мгновение выскочили незнакомые мне люди, по мундирам которых я догадался, что то должны быть полицейские служители. Проводников моих уже в лодке не было; несколько выстрелов, сделанных солдатами, заставили меня заключить, что мои прежние знакомые бросились в море.

Новые мои знакомые не оставили мне ни минуты на размышление, не дали мне выговорить ни слова, а без церемоний связали мне руки и положили в полицейскую барку. На вопрос мой, куда они везут меня! — Туда,— отвечал мне один из сбиров,— куда обыкновенно возят таких храбрых молодцов, как ты.

В этом ответе не было для меня ничего утешительного. На все мои слова, на все доказательства, что я ничего не понимаю в этом происшествии, мне отвечали, что это не их дело и что завтра разберут все по порядку.

Лодка причалила к берегу; мы вышли и, прошед недалеко по каким-то переулкам, остановились перед большим зданием, возле которого стояли часовые. Огромные железные двери поворотились на своих вереях передо мною, но едва подвели меня к ним, как не знаю кто-то сунул мне в руку небольшую бумажку: я машинально сжал ее в руке и продолжал следовать за провожатыми, думая, что наконец встречу кого-нибудь, с кем можно будет объясниться; но мое ожидание было тщетно. Провожатые поворотили в маленький коридор, отворили небольшую низенькую дверь, втолкнули меня в нее, дверь захлопнулась,— за мной заперли несколько дверей. Тщетны были бы все мои крики: я решился терпеливо ожидать конца моей участи. Я посмотрел вокруг себя: то была маленькая четвероугольная комната, без постели, без стула, даже без окон; небольшое отверстие, сажени две от полу, с железною решеткою, пропускало в комнату свет

от фонаря, находившегося снаружи. Когда вокруг меня воцарилось совершенное безмолвие, прерываемое иногда шагами часового, а иногда стонами, как бы выходившими из соседственных комнат, я решился подойти к светлому кругу, производимому отражением тусклого фонаря, развернул записку и с трудом разобрал в ней следующие слова: «Не забывайте данного вами обещания и будьте спокойны».

Признаюсь, эта записка мало меня порадовала. Я видел в ней только странную цепь, которая привязывала меня к кровавой тайне; второй половине записки я доверял мало.

И грустно мне было, и досадно, и холодно; я не мог даже ходить по моей итальянской квартире: пол был вымощен плитою; я беспрестанно посклизался от находившейся на нем сырости. Удушливый воздух захватывал дыхание, сырость проникала члены, и холодный пот лился с меня градом.

Вся твердость меня оставила: в отчаянии я прислонился к стене, покрытой плесенью, и горькие размышления взволновали во мне душу.

«Вот судьба человеческая!—думал я.—Каких препятствий не должен был я преодолеть для этого путешествия? В продолжение нескольких лет я трудился, откладывал деньги, отказывал себе во всем, чтоб сохранить небольшую сумму—все для того, чтоб видеть Италию; с тою мыслию засыпал и просыпался; наконец достиг желаемой цели, оставил отечество, родных, друзей, все милое моему сердцу... Для чего? Чтоб едва не лишиться жизни, испытать все возможное уничижение от каких-то бездельников; чтоб мне, отворачивавшемуся от порезанного пальца, видеть у ног своих человека, плавающего в крови, и в заключение попасть в тюрьму, быть почти обвиненному в уголовном преступлении и провести первую ночь в Италии на голом полу, под заплесневелым сводом... И кто знает, что еще ждет меня?» Мысли мои делались час от часу мрачнее; я понял защитников исправительной системы, которые советуют запирать преступника в темную комнату и удалять его от всякого сообщения с людьми: ничто так не погружает человека в самого себя, ничто так не переносит его в мир отвлеченных понятий, как одиночество, темнота, безмолвие. Я, веселый, беззаботный житель столицы, для которого наем квартиры был самою отвлеченною в жизни идеей,—я вдруг обратился в философа, и неожиданно дошел до самых важных вопросов человеческой жизни, которыми заниматься мне до сих пор казалось пустым педантизмом или мечтами, ни к чему не ведущими.

Скоро усталость, однообразные шаги часового погрузили меня в род дремоты. Мысли мои час от часу мешались более, соединяясь с полугрезами: то холодные руки хватали меня за плечи, то ледяная гора скользила по моим щекам, то являлись безжизненные, свинцовые лица,—и из глаз их по синим бороздам катились кровавые слёзы, растягивались и паутиною обвивались вокруг меня; то мне казалось, что я был прикреплен к маятнику огромных часов и при каждом взмахе тщетно старался прицепиться за скользящую стену: я просыпался и засыпал беспрестанно. Не знаю, как долго находился я в этом состоянии; когда я пришел в себя, то очень удивился, что шаги часового, единственный признак жизни в этом ужасном безмолвии, прекратились. Вероятно, это самое обстоятельство заставило меня и проснуться. Но мое удивление еще увеличилось, когда я почувствовал, что стена за мною движется. Сначала я подумал, что это мечта расстроенного воображения; но, привстав, явственно увидел, что кирпичи в стене точно шевелятся. Невольное чувство заставило меня к ним прикоснуться. Я очень легко вынул один из них; и едва я его вынул, как в отверстии показался железный лом. Незнакомый голос шепотом говорил мне по-итальянски: «Русский, русский». Впросонках, не будучи в состоянии отдать себе отчета в своих мыслях, я, по невольному движению и по естественному, сильному желанию выйти из темницы, схватился за лом и начал обрушивать остальные кирпичи; но в самую эту минуту двери моей темницы с шумом отворились, из отверстия раздался крик, послышались выстрелы, тревога. Я увидел себя окруженного тюремщиками. Тут уже мне говорить было нечего: лом был в моих руках!.. Желание бежать—явно!.. И я, в совершенном ослаблении сил, позволил себя связать, не говоря ни слова. Из этой комнаты меня перевели в другую, еще ужаснейшую первой: в ней была едва сажень в длину и ширину. Меня бросили на пук гнилой соломы и приковали к ввернутой в стену цепи. Эта комната не имела никакого отверстия, кроме небольшой скважины в двери, в которую беспрестанно выставлялось лицо часового. Несколько часов провел я в этом ужасном состоянии; мысль, что я своим побегом дал себе вид преступника, беспокойное положение, в котором я находился, не позволяли мне свести глаз ни на одну минуту. Наконец я заметил какой-то белесоватый свет в отверстии двери, по которому догадался, что наступило утро.

Этот свет был большим для меня услаждением, «Чем бы это ни кончилось,—думал я,—по крайней мере я

выйду из мучительного положения!» Действительно, через несколько времени послышался шум, дверь отворилась, вошедшие сбиры отперли пояс, приковывавший меня к стене, и, окружив меня, с обнаженными саблями, вывели из тесного ночлега; мы прошли несколько коридоров и очутились во внутреннем дворе тюремного замка. Солнце всходило, легкий ветерок обвевал меня теплым воздухом, и я понял то чувство, которое ощущают люди, выходящие из долгого заключения на светлое небо.

Скоро мои провожатые ввели меня в комнату, где за столами сидели писцы. Мы прошли мимо их; они едва подняли головы — вероятно, им были в привычку такие явления. Наконец провожатые ввели меня в комнату, где за большим столом сидел человек в черном фраке, довольно тучный, который, прищуривая свои маленькие глазки, спросил мое имя. Я сказал ему имя и прибавил, что нахожусь в таком странном положении, которое могу объяснить только русскому посланнику. В ту же минуту мой новый знакомец отправил чиновника за моими бумагами и потом, обратясь ко мне, сказал:

— Желанье ваше видеть русского посланника будет исполнено, если, разумеется, он согласится на вашу просьбу. Но я должен вас предуведомить, что если вы и в самом деле тот, за кого вы себя выдаете, то ваш посланник не будет иметь права и даже не захочет вмешиваться в дело смертоубийства. Во всяком случае, вы будете судимы по законам той земли, в которой вы находитесь, и никто на свете не будет в состоянии спасти вас от участи, ожидающей смертоубийцу. Одно добровольное ваше признание, и — если вы назовете ваших соумышленников, возможет несколько смягчить строгость законов.

— Смертоубийцу? — вскричал я, — соумышленников? Но, именем бога, кого же умертвил я?

— Вы знаете, что вас застали над трупом полицейского чиновника, который был отправлен для наблюдения за приготовлявшимся злодеянием.

— Милостивый государь! — отвечал я, — я не мог убить никого, потому что сам находился пленником на той же лодке, на которой меня застала полиция.

— Пленником? Но чем вы это докажете?

— Тем, милостивый государь, что я сидел в лодке с завязанными глазами.

Судья взял лежавший на столе кусок полотна, в котором я узнал бывшую на мне повязку; приложил ее к моему лицу, стараясь сохранить оттиски, на ней оставши-

еся, и действительно увидел, что они приходились мне по мерке.

— Это доказательство, правда, несколько служит подтверждением ваших слов; но зачем и каким образом вы попались на эту лодку?

— Этого я не могу сказать вам. Я дал страшную клятву честного человека никому не открывать этой тайны.

— Вы можете сами рассудить,— сказал мне судья,— что это обстоятельство увеличивает подозрение правосудия, тем более что в нынешнюю ночь было сделано покушение освободить вас. Это не могло быть сделано без вашего согласия,— что, впрочем, доказывается и тем положением, в котором вас застали.

Я старался объяснить сколько мог, что я не имел понятия о людях, желавших освободить меня; старался объяснить то невольное чувство, которое, в минуту пробуждения от сна, заставило меня против собственной моей воли способствовать неизвестным моим освободителям,— но я сам чувствовал, что все слова мои были темны. Между тем принесены были мои бумаги; посмотрев их, судья сказал мне:

— Действительно, по вашим бумагам я вижу, что вы иностранец, вчера только вечером приехавший в Неаполь, и что невероятно предполагать в вас убийцу неизвестного полицейского чиновника; но вы согласитесь сами, что обстоятельства дела вашего так странны: правительство не будет в состоянии оправдать вас, если вы не дадите нужных объяснений. Напишите письмо к вашему посланнику: может быть, он убедит вас быть откровеннее.

Я благодарил судью за его участие ко мне и поспешил написать письмо. Когда я его окончил, судья сказал мне:

— Ваше письмо будет сию минуту отправлено; в ожидании ответа вы извините нас, если мы должны соблюсти меры предосторожности, которые обыкновенно принимаются в таких случаях.

Меня отвели в прежнюю мою комнату, но цепей уже более не надевали.

Через несколько минут я получил позволение явиться к посланнику, однако ж в сопровождении жандарма. Посланник принял меня как нельзя лучше и, имея уже обо мне сведение как по письмам, так и по словам моих товарищей на пароходе, вошел совершенно в мое положение; понял то чувство чести, которое воспрещало мне открыть всю тайну, однако ж сказал мне, что все, что он может сделать в мою пользу,— это засвидетельствовать перед неаполитанским правительством о моем звании и о

моем поведении. Он присовокупил, что все прочее он должен будет предоставить на произвол туземных судилищ.

Все это, признаюсь, мало меня утешало, особливо когда, при выходе от посланника, я был приглашен жандармским офицером в прежнюю карету. «Черт возьми!— думал я.— за делом я приехал в Неаполь. Прекрасное леченье — ходить для здоровья под обнаженными шпагами и дышать заплесневелым воздухом тюремных замков!» По возвращении в мою печальную квартиру мне отвели комнату несколько получше прежней. На этот раз все предосторожности ограничились лишь моим честным словом, что я не предприму ничего предосудительного до решения моей участи. В таком положении я провел день до вечера, и одно захождение солнца напомнило мне, что уже более суток у меня ничего не было в желудке: так сильное движение чувств может победить в человеке физические потребности! Но едва я вспомнил об этом, как в ту же минуту почувствовал жесточайший голод, и принесенные запачканным сбиром несколько волокон макаронов показались мне самым вкусным блюдом, которое когда-либо мне попадалось в продолжение жизни. Таков был мой первый обед в Неаполе. Я не успел еще окончить скудного пиршества, когда снова вошел ко мне полицейский офицер.

— Ваш посланник,— сказал он,— принял вас на свое поручительство; с сей минуты вы свободны, но потрудитесь прежде подтвердить подписью ваши словесные показания пред судьею нынешним утром, равно и подписать обещание по первому позыву являться в суд.

Я подписал все, чего хотели, и, вне себя от радости, выскочил из места своего заключения. Я не хотел более оставаться в том трактире, который был виною моего несчастного приключения, и в тот же день переехал, или лучше сказать, перенес мою котомку в другой, alla Vittoria, у самых ворот прелестной Villa-reale. Не успел я отдохнуть, как вошедший трактирщик подал мне небольшой сверток.

— От кого?— спросил я.

— Не знаю,— отвечал он мне.

Признаюсь, с большим неудовольствием развернул я этот сверток,— так я был напуган всякою таинственностью.

В свертке находился перстень старинной работы, на котором изображены были какие-то, как мне казалось, египетские фигуры,— змея с львиной головою, какой-то

сосуд, непонятные знаки и буквы. При перстне находилась записка:

«Вы сами, не зная того, спасли жизнь одной особы. Люди, которые одолжены вами, боялись оскорбить вас денежною платою; но они надеются, что вы не откажетесь принять, в знак памяти, прилагаемый при сем перстень. Он когда-нибудь может вам пригодиться; сверх того, как вы сами можете заметить, этот перстень принадлежит к числу таких редкостей, которыми дорожат ваши соотечественники и которые не приобретаются деньгами. Однако ж до некоторого времени вы хорошо сделаете, если никому не будете его показывать. Мы боимся снова нарушить ваше спокойствие».

Мало знакомый с древностями, я едва обратил внимание на чудесный перстень и чуть не выбросил его из окошка,—так одна мысль обо всем, относившемся к моему приключению, обдавала меня холодом; однако, по некотором размышлении, я положил перстень в свой бритвенный ящичек.

Я провел несколько дней в совершенном уединении, ожидая нового посещения полицейского чиновника, но он не являлся: не знаю, ходатайство ли посланника, интриги ли моих незнакомых друзей-врагов были причиною тому, что меня оставляли в покое? Наконец я ободрился. Журналы, которые приносил мне трактирщик, толковали о новой певице, приводившей в восхищение весь Неаполь. Я решился отправиться в Сан-Карло. Сходя с лестницы трактира, я заметил сошедшего с верхнего этажа низенького старика, в черном фраке, напудренного; во всей его особе было какое-то странное беспокойство; переступая ступени, он весь шевелился; его руки, ноги, нос, глаза, все было в каком-то движении. Смотря на него, можно было подумать, что он чему-то раз в жизни удивился и навек застыл в этом положении. Все эти наблюдения я уже сделал впоследствии, а в ту минуту взглянул на него с тем равнодушным любопытством, с каким смотришь на соседа, ибо по разговору его со встретившимся трактирщиком я догадался, что мой старик живет со мною в одном доме. Не желая заводить нового знакомства, я пошел своей дорогой. Прошед несколько улиц, я оборотился и, к чрезвычайному моему удивлению, увидел, что мой старик следует за мною. Напуганный всем со мною случившимся, я очень был недоволен этим сообществом. Желая избавиться от моего провожатого, я подошел к первому встретившемуся человеку и просил его указать мне ближайшую дорогу в Сан-Карло. В эту минуту старичок догнал меня и, услышав мой вопрос, сказал с

чрезвычайною быстротою: «Вы идете в Сан-Карло? Вы, верно, иностранец? Вы не знаете дороги? Я иду туда же... угодно вам идти вместе со мною?»

Отказаться было невозможно. В продолжение дороги мой старик говорил беспрестанно; закидал меня вопросами, не дожидаясь ответов; успел мне рассказать, что он большой любитель древностей, имеет большое собрание монет, живет со мной в одном доме; что сегодня на театре будет играть певица, которая давно уже не являлась на сцене; что в России должно быть очень холодно; что в нашем трактире стол не всегда хорош; что у синьоры Грандини в голосе две или три ноты фальшивых; что он сам умеет делать прекрасные макароны...

Все это чудным образом мешалось в разговоре г. Амброзия Беневоло — так назывался мой новый знакомец.

Мы вошли в театр и заняли рядом два порожние места. Давали «Анну Болену» Донизетти. Пораженный великолепием спектакля, я не сводил глаз с него. Но вообразите мое удивление, когда в примадонне я узнал ту женщину, которую видел в первую ночь моего приезда в Неаполь. Я не знал, что мне делать: во всяком случае, выйти вон было бы смешно, и могло только возбудить подозрение моих гонителей. Между тем мой товарищ выходил из себя от восхищения; все рулады певицы он повторял всем своим телом, а перед каденциею мало-помалу спускал с себя башмаки, складывал руки, удерживал дыхание, дрожал как в лихорадке и в конце трели в полном беспамятстве вскакивал с места без башмаков, выкрикивал несколько междометий и бил в ладоши изо всей силы. Во время речитатива он успокоивался и снова очень хладнокровно обращался ко мне с вопросами: много ли шуб носят в России? есть ли у меня собрание медалей, как мне нравится frutti di mare?[1] Но едва начиналась новая ария примадонны, снова Беневоло выходил из себя, спускал башмаки и бил в ладоши. Во всякое другое время меня, холодного северного жителя, очень бы забавляло это превращение, тем более что подобные судорожные движения я замечал во многих других местах залы. Но теперь много развлекало меня мое странное свидание с примадонною; во мне боролись — желание спросить об ней что-нибудь у нового знакомого и страх, не будет ли это нарушением моей клятвы; мне показалось даже, что примадонна узнала меня и что часто ее глаза невольно поворачивались в мою сторону. Я почти не смел смотреть

---

[1] Устрицы *(ит.)*.

на нее: сцена суда с ее гробовою музыкой так живо напомнила мне мои приключения, что я почти задыхался.

Беневоло посматривал на меня исподлобья, однако ж не сказал ни слова. Я не мог наверное узнать, заметил ли он мое смущение, или нет. Несмотря на то, невольное чувство привлекало меня к синьоре Грандини: она была прекрасна на сцене; несколько резкие черты лица ее смягчались отдалением; в голосе было что-то проницательное, что-то трогательное,—он не был совершенно чист и ясен, но звучен и мягок, как будто подернут бархатом. Однако ж, признаюсь, я очень был рад, когда занавес опустился.

На другой день, проснувшись, я увидел на своем столе записку, но писанную новою для меня рукою:

«Люди, желающие вам добра, не советуют вам ходить в театр Сан-Карло».

Признаюсь, это меня взорвало: я видел себя привязанным к интриге, которая накладывала цепь на все мои поступки и от которой я никак не мог освободиться. В тот же день я решился оставить Неаполь. Я еще был в размышлении о своих планах, когда у дверей моих услышал, что кто-то трепещущим голосом напевает — Cerca un lido, dove sicuro...[1] Дверь отворилась: то был Беневоло. Он тотчас подскочил ко мне с расспросами,— как провел я ночь? как мне понравился театр Сан-Карло? пил ли я шоколад? что я думаю о Донизетти, о Беллини?—и перемешивал свои вопросы восклицаниями — stupendo, stupenda!..[2] нельзя было догадаться, к чему они относились, к музыке, к Донизетти, к Беллини или к шоколаду.

Я не успевал отвечать на его вопросы; да Амброзио и не дожидался ответа; он принес мне целую кучу монет, медалей, показывал мне каждую поодиночке, восхищаясь над каждою, и предлагал мне менять их на русские деньги, какие у меня случились. Это было искусное приглашение купить у него некоторые из его редкостей. Чтоб отвязаться от докучливого старика, я променял несколько десятков русских рублевиков, бывших со мною, на его редкости и поспешил отправиться к посланнику, за паспортом и моими другими бумагами. В посольстве мне сказали, что прежде нежели мне выдадут паспорт, посольству необходимо будет снестись с неаполитанским правительством: это должно было замедлить мой отъезд на несколько дней.

---

[1] Ищу я брег, где мог бы без помех... *(ит.)*

[2] Изумительно, великолепно *(ит.)*.

С тех пор я не выходил более никуда. Беневоло не забывал посещать меня; каждый день приносил он мне по-прежнему медали, камеи и забавлял меня, снимая с них слепки с величайшим проворством. Однажды он мне принес позеленевший и почти стертый от времени русский рубль и много и долго говорил мне об его древности, о своих догадках, каким образом за триста лет перед этим мог он быть занесен в Италию. Я прекратил его диссертацию замечанием, что за триста лет не существовало в России круглой монеты. Это замечание его несколько смутило. В другой раз принес он мне несколько мешков разных медалей и просил меня на несколько времени оставить их у меня в комнате, говоря, что он имеет подозрение на некоторых любителей древности, которые хотят украсть у него его сокровище и которые, верно, не пойдут искать их в моей комнате, тем больше что я никуда не выхожу от себя. Я позволил делать что было ему угодно, чтоб только от него отвязаться.

Наконец, к величайшей радости, я получил известие от одного из моих приятелей, служащих при посольстве, что я завтра могу получить мой паспорт. Я не хотел медлить ни минуты, нанял веттурина и принялся собирать мой небольшой гардероб: в этом занятии застал меня Беневоло: «Вы уже собираетесь! Куда вы едете? верно, в Рим? Не забудьте остановиться в Милане в Амвросиевской библиотеке... Там много редкостей... на театре новая певица... в трактире Albergo reale прекрасный стол»,— и проч., и проч. Я продолжал мои занятия, отвечая старику одними междометиями. Не знаю как, перебирая бритвенный ящик, я выронил мой таинственный перстень; он покатился по полу; я нагнулся и столкнулся с Беневоло; он было также протянул руку за перстнем, и когда я, не показывая моей редкости, сжал ее между пальцами, Беневоло побледнел. В жизнь мою не забуду его фигуры в эту минуту: он весь пошел ходенем, локти его приросли к бокам, и между тем он махал обеими руками, подымал то одну ногу, то другую, раскрывал рот, мигал глазами и вытягивал шею.

— Продайте мне этот перстень,— говорил он мне, задыхаясь.

— Нет, не продам,— отвечал я.

— Позвольте мне по крайней мере снять с него слепок.

— И этого не могу.

— Покажите мне по крайней мере его.

— И этого не могу. Приезжайте за ним в Россию, тогда, пожалуй, я вам даже подарю его.

— В Россию, в Россию! — сказал Беневоло,— это невозможно. Да почему вы здесь не можете мне его показать? Разве к вашему перстню привязана какая-нибудь тайна.

— Да! тайна,— отвечал я.

— Хороша тайна! — вскричал Беневоло.— Хотите ли, я расскажу вам, что изображено на вашем перстне: на нем сосуд, змея с львиною головою, мумия с птичьим носом, кругом слова Iao,— не так ли?

— Может быть; но все-таки я вам не могу показать перстня.

— Это странно! — говорил Беневоло, прыгая по комнате,— очень странно! чрезвычайно как странно!.. Так вы не хотите дать мне перстня? — сказал он после некоторого молчания.

— Не могу,— отвечал я с некоторою досадою.

— Решительно не хотите?

— Решительно.

— Нет, скажите правду! Вы в самом деле никак не можете показать мне перстня?

Я отворотился от него молча.

Неотвязчивый старик почел это знаком нерешимости: он забежал ко мне с другой стороны, упер локти в бока и проговорил мне с видом превеличайшего подобострастия:

— Вам, кажется, можно показать мне перстень.

— Вы выводите меня из терпения,— сказал я ему наконец грозным голосом и притопнув ногой.

Беневоло сделал несколько прыжков по комнате, вышел и уже более ко мне не являлся.

Ввечеру, когда я ложился спать, в сладкой надежде выехать наконец из этого несчастного для меня города, трактирщик снова явился ко мне с запискою.

— Что еще? — спросил я с гневом,— кто тебе отдал эту записку?

— Незнакомый мне человек,— отвечал он.

Содержание записки имело все право рассердить меня, в ней были только следующие слова:

«Друзья ваши советуют вам, если вы дорожите своею жизнию, не выезжать из Неаполя в продолжение некоторого времени».

Я проклял моих друзей от чистого сердца. Сперва я подумал, что это была шутка Беневоло; но почерк руки был одинаковый с тою запискою, которую я получил еще до знакомства с ним; однако ж, несмотря ни на что, я решился, во что бы то ни стало, выехать из Неаполя и даже из Италии, которая уже мне опротивела.

На другой день я поспешил за моим паспортом, но едва вошел в канцелярию посланника, меня тотчас позвали к нему в кабинет. Посланник принял меня с таким видом, который не на шутку испугал меня.

— К величайшему моему сожалению,— сказал он,— я не могу вам выдать вашего паспорта. Напротив, я должен пригласить вас явиться в здешний суд. Ваше дело запуталось новыми обстоятельствами; оно так странно, что я не могу верить вашему в нем участию, и вместе так важно, что не могу отказать здешнему правительству. Вам, может быть, уже известно, что одна из певиц здешнего театра, Евлалия Грандини, пропала без вести. Она была очень любима здешнею публикою, и общее беспокойство об ее участи заставляет полицию принимать строжайшие меры.

— Я так мало выходил из дому, что даже в первый раз слышу об этом.

— Однако ж у вас видели кольцо или перстень, принадлежавший этой актрисе,— сказал мне посланник, устремив на меня проницательный взор.

Я невольно смутился, однако ж, собрав все свои силы, решился открыть посланнику ту часть тайны, в сохранении которой я не был обязан честным словом.

— Действительно,— сказал я,— я получил какой-то перстень, но не знаю, от кого.

— С какими-то мистическими знаками и с надписью Iao?— сказал посланник.

— Точно так,— отвечал я.

— Это очень странно; по бумагам я вижу, что этот перстень принадлежал какому-то тайному обществу, которое очень дорожило им и которого члены подвергаются теперь преследованиям правительства.

Я объяснил посланнику, каким образом достался мне этот перстень.

— Действительно,— сказал он мне,— здешнее правительство предполагает какую-то связь между этим обстоятельством и похищением Грандини, как равно и с умерщвлением полицейского офицера. Этого мало,— продолжал посланник,— вас обвиняют в связи с каким-то Амброзио Беневоло, подозреваемым в делании фальшивой монеты.

Руки у меня опустились.

— Я уверен,— продолжал посланник,— что вы оправдаетесь от взводимых на вас обвинений, но долг мой заставляет меня выдать вас неаполитанскому правительству. Не пеняйте на меня за это; поставьте самого себя на мое место,— вы бы поступили так же. Я имею все

нравственное убеждение в вашей невинности, но юридического, благодаря вашей скромности, никакого.

Я благодарил посланника за его истинно отеческое во мне участие, но с твердостью повторил, что я лучше подвергнусь всем возможным неприятностям, нежели изменю торжественно данному мной честному слову.

Посланник, как я уже сказал, был человек благородный; он совершенно понял меня, обещал употребить все с своей стороны, чтоб вывести меня из моего неприятного положения, и засим... предложил мне снова сообщество жандармского офицера.

Я не буду более вам скучать рассказом о моих переговорах с допрашивавшими меня судьями: это было бы повторение почти тех же обстоятельств, которые вы уже знаете; прибавлю только, что все расспросы нимало не объяснили мне самому моей тайны.

Ясно было одно, что дело хотели кончить ничем: все предложенные мне вопросы были как будто лишь приготовительные, неопределенные, поверхностные, иногда странные до невероятности; меня расспрашивали о всех мелочах моей частной жизни, в котором часу я встаю, что я делаю поутру, что вечером, знаю ли я древние языки, умею ли рисовать... Из всего этого я однако же понял, что Беневоло был на меня доносчиком: но каким образом он сам попал в обвиненные? Между тем прошло более трех недель; каждый день я приготовлялся к чему-нибудь решительному, и наконец, к несказанному моему удовольствию и удивлению, объявили мне, что я свободен. Мне возвратили мои вещи, которые были у меня забраны в продолжение процесса, за исключением перстня; об нем я мало сожалел, и, что всего для меня было усладительнее, я получил наконец позволение выехать из Неаполя.

С тех пор я почти год проездил по Италии совершенно спокойно, и наконец, посреди рассеянной жизни путешественника, почти забыл о моем неаполитанском приключении.

Однажды в Венеции, на бале у графини Грациани, я увидел женщину в голубом платье, которая промелькнула мимо меня в другом контрадансе. Лицо ее мне показалось знакомым: я спросил об ее имени у танцевавшей со мной дамы. Эти предосторожности необходимы для путешественника: так много встречаешь лиц, так быстро являются и исчезают они перед глазами, что всегда рискуешь заговорить с незнакомою дамой и пройти мимо той, у которой бывал в доме.

— О, это знаменитая графиня Лукенсини!

— Знаменитая! Почему?—спросил я.

— Это женщина большого характера,— отвечала она.— Берегитесь попасть в ее сети. Она пятнадцати лет умела выйти замуж за своего учителя; между тем обещать свою руку другому молодому человеку; в продолжение шести лет скрывать свой брак; обмануть опекуна; наконец развестись с мужем и выйти за другого и все носить имя своего мужа.

— Но как же?—сказал я моей даме,—разве ее учителем был граф Лукенсини?

— Так точно,—отвечала мне дама.— Граф Лукенсини был сын того Лукенсини, который, как, может быть, вы слышали, погиб на эшафоте; имение его было конфисковано, и сын принужден был давать уроки.

— Нельзя, однако ж, обвинять бедную графиню,— сказала другая дама, вслушавшись в наш разговор,—мать ее была женщина странного нрава, который сделался несноснее от ее беспрестанной болезни; бедная графиня до самой ее смерти принуждена была жить совершенною затворницею; единственные люди, которых она видела, были ее учители: мудрено ли, что она влюбилась в того из них, который был молод, прекрасен и в тесные сношения учителя с ученицею умел внести все очарования светского человека? Он влюбился в нее, она в него. Но как мать никогда б не согласилась на брак ее с таким человеком, то что удивительного, что она решилась обвенчаться с ним тайно?

Контраданс кончился; я раскланялся с моей дамой и невольно обратил глаза на графиню, чтоб вспомнить, кого она мне напоминала. Сверх того, взор мужчины всегда невольно останавливается на женщине, имевшей довольно твердости духа, чтоб презреть мнение общества: она возбуждает любопытство, смешанное с каким-то невольным уважением. Ум невольно вспоминает о борьбе, которую должна была претерпеть эта женщина с самой собою и со всем ее окружающим, а сердце воображает те страдания, которые пришлось ей перенести, чтоб избавиться от других, еще жесточайших страданий.

Все эти мысли толпились в голове моей, когда я смотрел на графиню, и мне показалось, что я обратил на себя ее внимание. Действительно, она также стала всматриваться в меня, и когда я проходил мимо ее, она мне сказала: «Signore!..»[1]

Я остановился: голос ее поразил меня.

— Вы, кажется, не узнаете меня?—продолжала она.

Я отступил шаг назад, ибо мне показалось, что передо

[1] Господин! *(ит.)*

мною стояла синьора Грандини. Минуты волнения, в которые я ее видел, вместе с прической,— тогда только дамы начали поднимать волосы вверх,— помешали мне узнать ее в первое мгновение.

— Я не знаю,— сказал я,— должен ли я узнавать вас.

— О, будьте спокойны!— отвечала мне графиня с улыбкою.— Те, которые наложили на вас страшную клятву, почти не существуют. Я имею полное право разрешить вас от всех ваших клятв. Если хотите узнать больше, то приезжайте ко мне завтра вечером. Надобно, чтоб вы были награждены за то унизительное положение, в котором вы находились по моей милости. Кстати,— продолжала она,— скажите, пригодился ли вам мой перстень?

— Ваш перстень? с мистическими знаками? Он остался в руках неаполитанского правительства.

— Верно, этот бездельник Беневоло им воспользовался.

— Так вы знали Беневоло?

— Беневоло?— повторила она с улыбкой.— Завтра вам все объяснится.

На другой день, в назначенный час, я поспешил к графине Лукенсини и сначала был очень удивлен, когда швейцар сказал мне, что графиня не принимает; но когда я назвал себя, швейцар немедленно позвонил в колокольчик, и двери отворились передо мной. Я прошел ряд великолепных комнат, роскошно и со вкусом убранных. Графиня ожидала меня в павильоне, находившемся на конце дома, и которого балкон выходил с одной стороны на Canal-grande, а с другой на пустую площадку. Она сидела в легком кисейном платье на диване, окруженном цветущими померанцами, и показала мне место подле себя.

— Вы должны знать, что вы мой избавитель,— сказала она.

— Ваш избавитель?— повторил я.

— Да; без вас я бы, может быть, должна была распрощаться с жизнию. Вы, сами того не зная, развязали узел в моем существовании. Я думаю, уже вам рассказали мою историю прежде. Ее все рассказывают с разными нелепыми прибавлениями. Я не буду оправдывать себя перед вами. Скажу вам только одно: мне нельзя было не выйти замуж за Лукенсини, потому что меня преследовал тот самый Беневоло, которого вы знаете. Пользуясь болезнию моей матери, живя в нашем доме, где он занимал должность сначала учителя, потом майордома, Амброзио не давал мне минуты покоя. Лукенсини был молод и прекрасен. Беневоло был почти всегда таким, как вы его видели. Я предпочла первого. Долго мне рассказы-

вать вам мою историю: на моего тайного мужа пало подозрение, которому причиною были связи его отца. Желая открыть себе какую-нибудь дорогу, он, после женитьбы, отправился искать счастья в России. На место его явился ко мне новый обожатель: мой дальний родственник Леонардо Амати. Вам уж, верно, рассказывали, что я обещала ему выйти за него замуж. Это правда; но вот как это случилось. С помощью хитрого своего отца и матушкина духовника он успел до того довести мою матушку, физически и нравственно расстроенную, что она при последнем издыхании потребовала от меня, чтоб я вышла за Леонардо. В минуту горести я ей все обещала; матушка скончалась, и в оставленном ею завещании она назначила Винченцо Амати, отца Леонардова, опекуном надо мною и над всем моим огромным имением. После первой горести, произведенной во мне кончиной матушки, Леонардо стал мне напоминать о моем обещании. Я решительно объявила, что я уже замужем. Это открытие взбесило Леонардо и отца его, которые надеялись посредством брака завладеть навсегда моим имением: они употребили все возможные средства, чтоб заставить меня расторгнуть брак с Лукенсини. Одаренная от природы характером решительным, я убежала из Венеции, переменила имя, и синьора Грандини явилась на разных театрах Италии, при шуме рукоплесканий и — окруженная толпою обожателей. Большие деньги, которые я получала моим талантом, доставляли мне средства уничтожать все происки Амати для расторжения моего брака. Между тем мой род жизни мне так понравился, что я скоро забыла моего мужа; да и он, кажется, забыл обо мне. Мой опекун, после тщетных исканий, нашел меня наконец в Неаполе: я тогда еще не достигла до совершеннолетия, и опекун сохранял еще всю власть надо мною; он выхлопотал ложное свидетельство о кончине моего мужа и настоятельно требовал исполнения моего обещания. Я знала, что это неправда, потому что почти в то же время получила письмо от графа, в котором он уведомлял меня, что наконец ему удалось уверить правительство в своей невинности и что он возвращается в Италию. Я притворилась, будто верю моим гонителям, надела на себя черное платье вдовы, позволила обить мою комнату черным сукном,— для того только, чтоб выиграть время, потому что уже недолго оставалось до моего совершеннолетия; но хитрый Амати угадал мое притворство и узнал в то же время, что Лукенсини находился на первом пароходе, который должен был приехать в Неаполь. Для Амати это была минута решительная; он видел, что я ускользала от

него, но не хотел заставить меня торжествовать без отомщенья; может быть, он надеялся, что по смерти мужа я буду к нему благосклоннее; может быть, также хотел он испугать нас обоих и дать нам на выбор смерть или замужество с Леонардом. Я никогда не могла хорошо понять его намерения: может, это было просто внушение его дикого калабрского характера. Вам известно средство, которое он употребил для достижения своей цели. Отдаленный дом, в котором мы жили, подкупленные слуги,— все, казалось, должно было им способствовать, но провидение употребило вас средством для уничтожения этого замысла. Когда, после нашего с вами свидания, он увез вас с собою, я решилась, во что бы то ни стало, выйти из-под власти моих мучителей. Так как мое мнение было главнейшею причиною их преследования, я воспользовалась смущением старого Амати и предложила ему в роде выкупа все мое имение. Он без труда согласился. Недоставало двух дней до моего совершеннолетия, и я подписала передним числом бумагу, в которой, изъявив благодарность Амати за прекрасное управление моим имением, объявляла себя ему должною в значительной сумме денег. Между тем возвратился Леонардо в изодранном платье, весь мокрый и в величайшем волнении. Он согласился на все. Я тогда заметила в нем что-то странное, но еще не могла узнать, что с ним случилось, потому что в ту же минуту оставила их и явилась снова на сцене. Уже впоследствии, когда разнесся слух об убийстве полицейского чиновника, мне пришла в голову мысль, что в этом случае должен был участвовать Леонардо. Действительно, месяц спустя один из слуг его объявил все правительству. Леонардо погиб на эшафоте, отец его умер с отчаяния. Полицейский служитель попал в это приключение по несчастному случаю. В нашей стороне были разные воровства; заметив также в лодке Леонардо что-то подозрительное, полицейский чиновник, увлекаемый ревностью к своему ремеслу, решился скрыться под парусом, чтоб узнать что-нибудь верное. Все это я узнала впоследствии, когда до меня дошли слухи об арестовании Леонардо; не имея чем жить, я снова вступила на театр в Неаполе, под именем Грандини.

Графиня остановилась.

— Я вам рассказала,— продолжала она,— все, что было любопытного для вас в моей истории. Прибавлю вам только то, что мое имение снова возвратилось ко мне: мы свиделись с графом и оба заметили друг в друге такое равнодушие, что без труда решились расстаться. Он хлопочет теперь в Риме об уничтожении нашего брака.

— Благодарю вас, графиня; но для меня в истории осталось еще лицо непонятное — Беневоло.

— Беневоло! — повторила с важным видом графиня,— на это ничего не могу вам сказать в сию минуту. Если вы хотите что-нибудь узнать об нем, то выйдите из моего дома, пройдите по всем комнатам, сядьте в лодку, возвратитесь сюда этим переулком и войдите ко мне через этот балкон: вам будет спущена лестница.

Я был в нерешимости; но графиня так улыбнулась, с таким видом подала мне руку, что я не мог отказать ей.

Я исполнил в точности все ее приказания; но признаюсь, сердце мое было не совсем на месте, когда я стал взбираться по веревочной лестнице, спущенной мне с балкона. Я застал графиню в том же легком платье; она встретила меня с улыбкою и показала мне дверь небольшого кабинета. Вошедши в него, я увидел все принадлежности мужского ночного туалета и не замедлил ими воспользоваться. Когда я выглянул из двери, графиня захохотала и показала мне место на диване возле себя, позвонила в колокольчик и положила на стол пару пистолетов.

— Что это значит? — спросил я у нее.

— Это необходимо,— сказала мне графиня важным тоном.

Я задумался и невольно осмотрел курки пистолетов.

Дверь отворилась, Беневоло вбежал в комнату.

— Амврозио! — сказала ему графиня,— знаешь ли ты этого молодого человека?

Беневоло затрясся всем телом.

— Ты видишь, Амврозио, я оставила одного мужа, отказалась от другого, вот у меня третий, а все не ты! Бедный Амврозио! Но теперь дело не о том: ты знаешь все, что ты сделал против этого молодого человека; он требует у меня отмщения; твоя последняя минута наступила,— признавайся. Допрашивайте его, граф,— сказала она, обратившись ко мне.

Я не мог смотреть без смеха на Беневоло, но с тем вместе он возбуждал во мне невольное сожаление.

Графиня заметила во мне это чувство и сказала:

— О, как вы добры, граф, вы еще об нем жалеете! Вы не знаете, что он за человек! Этого мало, что он осмелился влюбиться в меня,— нет! взбешенный неудачею, он перешел на сторону моих врагов, он помогал Амати, он был от них подослан к вам шпионом, писал к вам записки; он препятствовал мне видеться с вами, ибо Леонардо боялся, чтоб наше свидание не открыло его преступления. Этого мало: когда он узнал, что у вас

находится мой перстень, которого он долгое время от меня добивался, он решился взвести на вас нелепый донос в моем похищении, чтоб между судейскими интригами воспользоваться этою редкостию... Ведь вы верно знаете,— он любитель древностей?

— Он, кажется,— заметил я,— больше любитель денег, нежели древностей: он сам был остановлен за делание фальшивой монеты.

— О, нет!— сказала графиня,— на это у него и недостало бы духа. Правда, он делал фальшивую монету, только не новую, а древнюю; он занимался самым невинным ремеслом — выдумывал небывалых царей или делал подражания редким медалям и приводил в отчаяние антиквариев.

Амврозио трясся всем телом и только изредка проговаривал:

— Pregiotissima signora!.. Signor conte![1]

Наконец, когда графиня замолчала, он вскричал со слезами на глазах:

— Все это правда, совершенная правда; но вспомните, что я спас жизнь русского графа.

— Да, это правда. Помните лицо, которое выглянуло из-за двери в первое наше свидание: за это, кажется, можно простить его, граф,— как вы думаете?

Мне так был жалок бедный Амврозио, что я стал просить графиню окончить эту шутку.

— Благодари графа и ступай вон,— сказала синьора,— а завтра поутру сочини мне сонет на это приключение.

Беневоло бросился к ней в ноги и выскочил из комнаты.

— Он добрый старик,— продолжала графиня, обратясь ко мне,— то есть пока его держишь в руках. Он до сих пор влюблен в меня без памяти; я сама привыкла к нему, как к постельной собачке. Он беспрестанно рисует мои силуэты, пишет в честь мне стихи и бывает вне себя от восхищения, когда я ему позволю поцеловать мой пальчик. Я хотела, граф, доставить вам это маленькое удовольствие, ибо никогда бы не простила себе, чтоб за меня благородный человек подвергся оскорблению и остался неотмщенным. Если б Леонардо был жив, я бы непременно доставила вам с ним свидание; но это, к сожалению, невозможно. Теперь ваша роль кончилась. Прощайте!

— Как!— сказал я графине,— мне опять идти одеваться? Опять спускаться с балкона в эту темную, дождливую ночь?..

---

[1] Наидостойнейшая синьора! Синьор граф! *(ит.)*

СИЛЬФИДА

(Из записок благоразумного человека)

Посв. Анас. Серг. П—вой

Поэта мы увенчаем цветами и выведем его вон из города.

Платон

Три столба у царства: поэт, меч и закон.

Предания северных бардов

Поэты будут употребляться лишь в назначенные дни для сочинения гимнов общественным постановлениям.

Одна из промышленных компаний XVIII века

! ? ! ?

XIX век

ПИСЬМО I

Наконец я в деревне покойного дядюшки. Пишу к тебе, сидя в огромных дедовских креслах, у окошка; правда, перед глазами у меня вид не очень великолепный: огород, две-три яблони, четвероугольный пруд, голое поле — и только; видно, дядюшка был не большой хозяин; любопытно знать, что́ же он делал, проживая здесь в продолжение пятнадцати лет безвыездно. Неужли он, как один из моих соседей, встанет поутру рано, часов в пять, напьется чаю и сядет раскладывать гранпасьянс вплоть до обеда; отобедает, ляжет отдохнуть и опять за гранпасьянс

вплоть до ночи; так проходят 365 дней. Не понимаю. Спрашивал я у людей, чем занимался дядюшка? Они мне отвечали: «Да *так-с*». Мне этот ответ чрезвычайно нравится. Такая жизнь имеет что-то поэтическое, и я надеюсь вскоре последовать примеру дядюшки; право, умный был человек покойник!

В самом деле, я здесь по крайней мере хладнокровнее, нежели в городе, и доктора́ очень умно сделали, отправив меня сюда; они, вероятно, сделали это для того, чтоб сбыть меня с рук; но, кажется, я их обману: сплин мой, подивись, почти прошел; напрасно думают, что рассеянная жизнь может лечить больных в моем роде; неправда: светская жизнь бесит, книги также бесят, а здесь, вообрази себе мое счастие,— я почти никого не вижу, и со мной нет ни одной книги! этого счастия описать нельзя— надобно испытать его. Когда книга лежит на столе, то невольно протягиваешь к ней руку, раскрываешь, читаешь; начало тебя заманивает, обещает золотые горы,— подвигаешься дальше, и видишь одни мыльные пузыри, ощущаешь то ужасное чувство, которое испытали все ученые от начала веков до нынешнего года включительно: искать и не находить! Это чувство мучило меня с тех пор, как я начал себя помнить, и я ему приписываю те минуты сплина, которые докторам угодно приписывать желчи.

Однако ж не думай, чтоб я жил совершенно отшельником: по древнему обычаю, я, как новый помещик, сделал визиты всем моим соседям, которых, к счастию, немного; говорил с ними об охоте, которой терпеть не могу, о земледелии, которого не понимаю, и об их родных, о которых сроду не слыхивал. Но все эти господа так радушны, так гостеприимны, так чистосердечны, что я их от души полюбил; ты не можешь себе представить, как меня прельщает их полное равнодушное невежество обо всем, что происходит вне их уезда; с каким наслаждением я слушаю их невероятные суждения о единственном нумере «Московских ведомостей», получаемом на целый уезд; в этом нумере, для предосторожности обвернутом в обойную бумагу, читается по очереди все, от привода лошадей в столицу до ученых известий включительно; первые, разумеется, читаются с любопытством, а последние для смеха,— который я разделяю с ними от чистого сердца, хотя по другой причине; за то пользуюсь всеобщим уважением. Прежде они меня боялись и думали, что я, как приезжий из столицы, буду им читать лекции о химии или плодопеременном хозяйстве; но когда я им высказал, что, по моему мнению, лучше ничего не знать, нежели знать столько, сколько знают наши ученые, что

ничто столько не противно счастию человека, как много знать, и что невежество никогда еще не мешало пищеварению, тогда они ясно увидели, что я добрый малый и прекраснейший человек, и стали мне рассказывать свои разные шутки над теми умниками, которые назло рассудку заводят в своих деревнях картофель, молотильни, крупчатки и другие разные вычурные новости: умора, да и только! — И поделом этим умникам — об чем они хлопочут? Которые побойчее, те из моих новых друзей рассуждают и о политике; всего больше их тревожит турецкий султан по старой памяти, и очень их занимает распря у Тигил-Бузи с Гафис-Бузи; также не могут они добраться, отчего Карла X начали называть Дон-Карлосом... Счастливые люди! Мы спасаемся от омерзения, которое наводит на душу политика, искусственным образом, — т. е. отказываемся читать газеты, а они самым естественным — т. е. читают и не понимают...

Истинно, смотря на них, я более и более уверяюсь, что истинное счастие может состоять только в том, чтоб все знать или ничего не знать, и как первое до сих пор человеку невозможно, то должно избрать последнее. Я эту мысль в разных видах проповедую моим соседям: она им очень по сердцу; а меня очень забавляет то умиление, с которым они меня слушают. Одного они не понимают во мне: как я, будучи *прекраснейшим* человеком, не пью пунша и не держу у себя псовой охоты; но надеюсь, что они к этому привыкнут и мне удастся, хотя в нашем уезде, убить это негодное просвещение, которое только выводит человека из терпения и противится его внутреннему, естественному влечению: сидеть склавши руки... Но к черту философия! она умеет вмешаться в мысли самого животного человека... Кстати о животных: у иных из моих соседей есть прехорошенькие дочки, которых, однако ж, нельзя сравнить с цветами, а разве с огородной зеленью, — тучные, полные, здоровые — и слова от них не добьешься. У одного из ближайших моих соседей, очень богатого человека, есть дочь, которую, кажется, зовут Катенькой и которую можно бы почесть исключением из общего правила, если б она также не имела привычки прижимать язычок к зубам и краснеть при каждом слове, которое ей скажешь. Я бился с нею около получаса и до сих пор не могу решить, есть ли ум под этою прекрасною оболочкою, а эта оболочка в самом деле прекрасна. В ее полузаспанных глазках, в этом носике, вздернутом кверху, есть что-то такое милое, такое ребяческое, что невольно хочется расцеловать ее. Мне очень *желательно*, как здесь говорят, заставить заговорить эту куколку, и я

приготовляюсь в будущее свидание начать разговор хоть словами несравненного Ивана Федоровича Шпоньки: *«летом-с бывает очень много мух»*[1], и посмотрю, не выйдет ли из этого разговора нечто продолжительнее беседы Ивана Федоровича с его невестою.

Прощай. Пиши ко мне чаще; но от меня ожидай писем очень редко; мне очень весело читать твои письма, но едва ли не столь же весело не отвечать на них.

ПИСЬМО II

(Два месяца спустя после первого)

Говори теперь о твердости духа человеческого! Давно ли я радовался, что со мною нет ни одной книги; но не прошел месяц, как мне взгрустнулось по книгам. Началось тем, что соседи мои надоели мне до смерти; правду ты мне писал, что я напрасно сообщаю им мои иронические замечания об ученых и что мои слова, возвышая их глупое самолюбие, еще больше сбивают их с толка. Да! я уверился, мой друг: невежество не спасенье. Я скоро здесь нашел все те же страсти, которые меня пугали между людьми так называемыми образованными, то же честолюбие, то же тщеславие, та же зависть, то же корыстолюбие, та же злоба, та же лесть, та же низость, только с тою разницею, что все эти страсти здесь сильнее, откровеннее, подлее,— а между тем предметы мельче. Скажу более: человека образованного развлекает самая его образованность, и душа его по крайней мере не каждую минуту своего существования находится в полном унижении; музыка, картина, выдумка роскоши — все это отнимает у него время на низости... Но моих друзей страшно узнать поближе; эгоизм проникает, так сказать, весь состав их; обмануть в покупке, выиграть неправое дело, взять взятку — считается не втихомолку, но прямо, открыто, делом умного человека; ласкательство к человеку, из которого можно извлечь пользу,— долгом благовоспитанного человека; долголетняя злоба и мщение — естественным делом; пьянство, карточная игра, разврат, какой никогда в голову не войдет человеку образованному,— невинным, позволенным отдыхом. И между тем они несчастливы, жалуются и проклинают жизнь свою.— Как и быть иначе! Вся эта безнравственность, все это полное забвение человеческого достоинства переходит от деда к отцу, от отца к сыну в виде отеческих наставлений и

---

[1] Гоголь. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

примера и заражает целые поколения. Я понял, наблюдая вблизи этих господ, отчего безнравственность так тесно соединена с невежеством, а невежество с несчастием: христианство недаром призывает человека к забвению здешней жизни; чем более человек обращает внимания на свои вещественные потребности, чем выше ценит все домашние дела, домашние огорчения, речи людей, их обращение в отношении к нему, мелочные наслаждения, словом, всю мелочь жизни,— тем он несчастливее; эти мелочи становятся для него целию бытия; для них он заботится, сердится, употребляет все минуты дня, жертвует всею святынею души, и так как эти мелочи бесчисленны, душа его подвергается бесчисленным раздражениям; характер портится; все высшие, отвлеченные, успокоивающие понятия забываются; терпимость, эта высшая из добродетелей, исчезает,— и человек невольно становится зол, вспыльчив, злопамятен, нетерпящ; внутренность души его становится адом. Примеры этого мы видим ежедневно: человек всегда беспокойный, не нарушили ль в отношении к нему уважения или приличий; хозяйка дома, вся погруженная в смотрение за хозяйством; ростовщик, беспрестанно занятый учетом процентов; чиновник, в канцелярском педантизме забывающий истинное назначение службы; человек, в низких расчетах забывающий свое достоинство,— посмотрите на этих людей в их домашнем кругу, в сношении с подчиненными — они ужасны: жизнь их есть беспрерывная забота, никогда не достигающая своей цели, ибо они столько пекутся о средствах для жизни, что жить не успевают! — Вследствие этих печальных наблюдений над моими деревенскими друзьями я заперся и не велел никого из них пускать к себе. Оставшись один, я побродил по комнате, посмотрел несколько раз на свой четвероугольный пруд, попробовал было срисовать его; но ты знаешь, что карандаш мне никогда не давался: трудился, трудился — вышла гадость; принялся было за стихи — вышел, по обыкновению, скучный спор между мыслями, стопами и рифмами; я даже было запел, хотя никогда не мог наладить и di tanti palpiti[1] — и наконец, увы! призвал старого управителя покойного моего дядюшки и невольно спросил у него: «Да неужели у дядюшки не было никакой библиотеки?» Седой старичок низко мне поклонился и отвечал: «Нет, батюшка; такой у нас никогда не бывало».— «Да что же такое,— спросил я,— в этих запечатанных шкапах, которые я видел на мезонине?» — «Там, батюшка, лежат

[1] Буквально: с волнением, с трепетом *(ит.)*.

книги; по смерти дядюшки вашего тетушка изволила запечатать эти шкафы и отнюдь не приказывала никому трогать».— «Открой их».

Мы взошли на мезонин; управитель отдернул едва державшиеся восковые печати — шкаф открыт, и что я увидел? Дядюшка, чего я до сих пор не подозревал, был большим мистиком. Шкапы были наполнены сочинениями Парацельсия, графа Габалиса, Арнольда Виллановы, Раймонда Луллия и других алхимиков и кабалистов. Я даже заметил в шкафу остатки некоторых химических снарядов. Покойный старик верно искал философского камня... проказник! и как он умел сохранять это в секрете!

Нечего было делать; я принялся за те книги, которые нашлись, и теперь, вообрази себе меня, человека в XIX-м веке, сидящего над огромными фолиантами и со всеусердием читающего рассуждение: о первой материи, о всеобщем электре, о душе солнца, о северной влажности, о звездных духах и о прочем тому подобном. Смешно, и скучно, и любопытно. За этими хлопотами я почти позабыл о моей соседке, хотя ее батюшка (один порядочный, хотя и скучный, человек из всего уезда) часто у меня бывает и очень за мною ухаживает; все, что я ни слышу об ней, все показывает, что она, как называли в старину, предостойная девица, т. е. имеет большое приданое; между тем я слышал стороною, что она делает много добра, например выдает замуж бедных девушек, дает им денег на свадьбу и часто усмиряет гнев своего отца, очень вспыльчивого человека; все окрестные жители называют ее ангелом — это не по-здешнему. Впрочем, эти девушки всегда имеют большую склонность выдавать замуж, если не себя, так других. Отчего бы это?..

ПИСЬМО III

(Два месяца спустя)

Ты, я чаю, думаешь, что я не только влюбился, но даже женился,— ты ошибаешься. Я занят совсем другим делом; я пью — и знаешь ли что? чего не выдумает безделье! я пью — воду... Не смейся: надобно знать, какую воду. Роясь в библиотеке моего дядюшки, я нашел рукописную книгу, в которой содержались разные рецепты для вызывания элементарных духов. Многие из них были смешны до крайности; тут требовалась печенка из белой вороны, то стеклянная соль, то алмазное дерево, и

по большой части все составы были таковы, что их не отыщешь ни в одной аптеке. Между прочими рецептами я нашел следующий: «Элементарные духи,— говорит автор,— очень любят людей, и довольно со стороны человека малейшего усилия, чтоб войти в сношение с ними; так, например, для того, чтоб видеть духов, носящихся в воздухе, достаточно собрать солнечные лучи в стеклянный сосуд с водою и пить ее каждый день. Этим таинственным средством дух солнца будет мало-помалу входить в человека, и глаза его откроются для нового мира. Кто же решится обручиться с ними посредством одного из благородных металлов, тот постигнет самый язык стихийных духов, их образ жизни, и его существование соединится с существованием избранного им духа, который даст ему познание о таких таинствах природы... но более мы говорить не смеем... Sapienti sat...[1] здесь и без того много, много уже сказано для просветления ума твоего, любезный читатель»,— и проч. и проч. Этот способ показался мне столько простым, что я вознамерился испытать его, хоть для того, чтоб иметь право похвастаться, что я на себе испытал кабалистическое таинство. Я вспомнил было ундину, которая так утешала меня в ребячестве; но, не желая иметь дела с ее дядюшкою, я пожелал видеть сильфиду; с этою мыслию — чего не делает безделье? — бросил бирюзовый перстень в хрустальную вазу с водою, выставил эту воду на солнце, к вечеру, ложась спать, ее выпиваю, и до сих пор я нахожу, что по крайней мере это очень здорово; еще никакой элементарной силы я не вижу, а только сон мой сделался спокойнее.

Знаешь ли, что я не перестаю читать моих кабалистов и алхимиков, и знаешь ли, что́ я еще скажу тебе: эти книги для меня весьма занимательны. Как милы, как чистосердечны их сочинители: «Наше дело,— говорят они,— очень просто: женщина, не оставляя своего веретена, может совершить его,— умей только понимать нас».— «Я видел,— говорит один,— при мне это было, когда Парацельсий превратил одиннадцать фунтов свинца в золото».— «Я сам,— говорит другой,— я сам умею извлекать из природы первоначальную материю, и сам посредством ее могу легко превращать все металлы один в другой по произволению».— «Прошлого года,— говорит третий,— я сделал из глины очень хороший яхонт» и проч. У всякого после этого откровенного признания следует краткая, но исполненная жизни молитва. Для меня не-

[1] Для понимающего достаточно *(лат.)*.

обыкновенно трогательно это зрелище: человек говорит с презрением о том, что они называют ученостию профанов, т. е. нас; с гордою самоуверенностию достигает или думает достигнуть до последних пределов человеческой силы—и на сей высокой точке смиряется, произнося благодарную, простосердечную молитву всевышнему. Невольно веришь знанию такого человека; один невежда может быть атеистом, как один атеист невеждою. Мы, гордые промышленники XIX-го века, мы напрасно пренебрегаем этими книгами и даже не хотим знать о них. Посреди разных глупостей, показывающих младенчество физики, я нашел много мыслей глубоких; многие из этих мыслей могли казаться ложными в XVIII-м веке, но теперь большая часть из них находит себе подтверждение в новых открытиях: с ними то же случилось, что с драконом, которого тридцать лет тому почитали существом баснословным и которого теперь отыскали налицо, между допотопными животными. Скажи, должны ли мы теперь сомневаться в возможности превращать свинец в золото с тех пор, как мы нашли способ творить воду, которую так долго почитали первоначальною стихиею? Какой химик откажется от опыта разрушить алмаз и снова восстановить его в первобытном виде? А чем мысль делать золото смешнее мысли делать алмазы? Словом, смейся надо мною как хочешь, но я тебе повторяю, что эти позабытые люди достойны нашего внимания; если нельзя во всем им верить, то, с другой стороны, нельзя сомневаться, что их сочинения не намекают о таких знаниях, которые теперь потерялись и которые бы не худо снова найти; в этом ты уверишься, когда я тебе пришлю выписку из библиотеки моего дядюшки.

ПИСЬМО IV

В последнем моем письме я забыл тебе написать именно то, для чего я начал его. Дело в том, что я нахожусь, мой друг, в странном положении и прошу у тебя совета: я писал к тебе уже несколько раз о Катеньке, дочери моего соседа; мне наконец удалось заставить говорить ее, и я узнал, что она не только имеет природный ум и чистое сердце, но еще совсем неожиданное качество: а именно—она влюблена в меня по уши. Вчера приехал ко мне отец ее и рассказал мне то, о чем я слышал только мельком, препоручая все мои дела управителю; у нас производится тяжба об нескольких тысячах десятинах леса, которые составляют главный доход моих

крестьян; эта тяжба длится уже более тридцати лет, и если она кончится не в мою пользу, то мои крестьяне будут совершенно разорены. Ты видишь, что это дело очень важное. Сосед мой рассказал мне его с величайшими подробностями и кончил предложением помириться; а чтоб мир этот был прочнее, то он дал мне очень тонко почувствовать, что ему бы очень хотелось иметь во мне зятя. Это была совершенно водевильная сцена, но она заставила меня задуматься. Что, в самом деле? молодость моя уже прошла, великим человеком мне не бывать, все мне надоело; Катя девушка премилая, послушлива, неговорливая; женившись на ней, я кончу глупую тяжбу и сделаю хоть одно доброе дело в жизни: упрочу благосостояние людей, мне подвластных; одним словом, мне очень хочется жениться на Кате, зажить степенным помещиком, поручить жене управление всеми делами, а самому по целым дням молчать и курить трубку. Ведь это рай, не правда ли?.. Все это вступление к тому, что, как бы сказать тебе, что я уже решился жениться, но еще не говорил об этом отцу Кати, и не буду говорить, пока не дождусь от тебя ответа на следующие вопросы: как ты думаешь, гожусь ли я быть женатым человеком? спасет ли меня от сплина жена, которая, не забудь, имеет привычку по целым дням не говорить ни слова и, следственно, не имеет никакого средства надоесть мне? одним словом, должно ли еще мне подождать, пока из меня выйдет что-нибудь новое, неожиданное, оригинальное, или просто, как говорится, я уже кончил свой карьер, и мне остается заботиться только о том, чтоб из моей особы можно было сделать как можно больше спермацета? Ожидаю от тебя ответа с нетерпением.

ПИСЬМО V

Благодарю тебя, мой друг, за твою решительность, твои советы и за благословление; едва я получил твое письмо, как поскакал к отцу моей Кати и сделал формальное предложение. Ежели б ты видел, как Катя обрадовалась, покраснела; она даже мне проговорила следующую фразу, в которой вылилась вся чистая и невинная душа ее: «Я не знаю,— сказала она мне,— удастся ли мне это, но я постараюсь сделать вас столько счастливым, как я сама буду счастлива». Эти слова очень просты, но если б ты слышал, с каким выражением они были сказаны; ты знаешь, что часто в одном слове больше скрывается чувства, нежели в длинной речи; в Катиных словах я

видел целый мир мыслей: они должны были ей дорого стоить, и я умел оценить всю силу, которую дала ей любовь, чтоб превозмочь девическую робость. Действия человека важны по сравнению с его силами, а я до сих пор думал, что превозмочь робость было свыше сил Кати... После этого, ты можешь себе представить, что мы обнялись, поцеловались, старик расплакался, и по окончании поста мы веселым пирком да и за свадебку. Приезжай ко мне непременно, брось все свои дела — я хочу, чтоб ты был свидетелем моего, как говорят, счастия; приезжай хоть для курьеза, посмотреть на жениха с невестою, каких ты, верно, никогда не видывал: сидят друг против друга, смотрят обоими глазами, оба молчат и оба очень довольны.

ПИСЬМО VI

(Несколько недель спустя)

Не знаю, как начать мне мое письмо; ты меня почтешь сумасшедшим; ты будешь смеяться, бранить меня... Все позволяю; позволяю даже мне не верить; но я не могу сомневаться в том, что я видел и что вижу всякий день собственными глазами. Нет! не все вздор в рецептах моего дядюшки. Действительно, это остаток от древних таинств, которые доныне существуют в природе, и мы многого еще не знаем, многое забыли и много истин почитаем за бредни. Вот что со мной случилось: читай и удивляйся! Мои разговоры с Катею, как ты легко можешь себе представить, не заставили меня забыть о моей вазе с солнечною водою; ты знаешь, любознательность, или, просто сказать, любопытство есть основная моя стихия, которая мешается во все мои дела, их перемешивает и мне жить мешает; мне от нее ввек не отделаться; все что-то манит, все что-то ждет вдали, душа рвется, страждет — и что же?.. Но обратимся к делу. Вчера вечером, подошед к вазе, я заметил в моем перстне какое-то движение. Сначала я подумал, что это был оптический обман и, чтоб удостовериться, взял вазу в руки; но едва я сделал малейшее движение, как мой перстень рассыпался на мелкие голубые и золотые искры, они потянулись по воде тонкими нитями и скоро совсем исчезли, лишь вода сделалась вся золотою с голубыми отливами. Я поставил вазу на прежнее место, и снова мой перстень слился на дне ее. Признаюсь тебе, невольная дрожь пробежала у меня по телу; я призвал человека и спросил его, не замечает ли он чего в моей вазе; он отвечал,

что нет. Тогда я понял, что это странное явление было видимо только для одного меня. Чтоб не подать повода человеку смеяться надо мною, я отпустил его, заметив, что мне вода показалась нечистою. Оставшись один, я долго повторял свой опыт, размышляя над этим странным явлением.— Я несколько раз переливал воду из одной вазы в другую: всякий раз то же явление повторялось с удивительною точностию — и между тем оно не изъяснимо никакими физическими законами. Неужли в самом деле это правда? Неужли мне суждено быть свидетелем этого странного таинства? Оно мне кажется столько важно, что я намерен его исследовать до конца. Я больше прежнего принялся за мои книги, и теперь, когда самый опыт совершился пред моими глазами, все более и более мне делается понятным сношение человека с другим, недоступным миром. Что будет далее!..

ПИСЬМО VII

Нет, мой друг, ты ошибся и я также. Я предопределен быть свидетелем великого таинства природы и возвестить его людям, напомнить им о той чудесной силе, которая находится в их власти и о которой они забыли; напомнить им, что мы окружены другими мирами, до сих пор им неизвестными. И как просты все действия природы! Какие простые средства употребляет она для произведения таких дел, которые изумляют и ужасают человека! Слушай и удивляйся.

Вчера, погруженный в рассматривание моего чудесного перстня, я заметил в нем снова какое-то движение: смотрю — поверх воды струятся голубые волны, и в них отражаются радужные опаловые лучи; бирюза превратилась в опал, и от него поднималось в воду как будто солнечное сияние; вся вода была в волнении; били вверх золотые ключи и рассыпались голубыми искрами. Тут было соединение всех возможных красок, которые то сливались бесчисленными оттенками, то ярко отделялись. Наконец радужное сияние исчезло, и бледный зеленоватый цвет заступил его место; по зеленоватым волнам потянулись розовые нити, долго переплетались между собою и слились на дне сосуда в прекрасную, пышную розу — и все утихло: вода сделалась чиста, лишь лепестки роскошного цветка тихо колебались. Так уже прошло несколько дней; с тех пор каждый день рано поутру я встаю, подхожу к моей таинственной розе и ожидаю нового чуда; но тщетно — роза цветет спокойно и лишь

наполняет всю мою комнату невыразимым благоуханием.— Я невольно вспомнил читанное мною в одной кабалистической книге о том, что стихийные духи проходят все царства природы прежде, нежели достигнут своего настоящего образа. Чудно! чудно!

(Чрез несколько дней)

Сегодня я подошел к моей розе и в середине ее заметил что-то новое... Чтоб лучше рассмотреть ее, я поднял вазу и снова решился перелить ее в другую; но едва я привел ее в движение, как опять от розы потянулись зеленые и розовые нити и полосатою струею перелились вместе с водою, и снова на дне вазы явился мой прекрасный цветок: все успокоилось, но в средине его что-то мелькало: листы растворились мало-помалу, и — я не верил глазам моим! — между оранжевыми тычинками покоилось,— поверишь ли ты мне? — покоилось существо удивительное, невыразимое, неимоверное — словом, женщина, едва приметная глазу! Как описать мне тебе восторг, смешанный с ужасом, который я почувствовал в эту минуту! — Эта женщина была не младенец; представь себе миньятюрный портрет прекрасной женщины в полном цвете лет, и ты получишь слабое понятие о том чуде, которое было перед моими глазами; небрежно покоилась она на своем мягком ложе, и ее русые кудри, колеблясь от трепетания воды, то раскрывали, то скрывали от глаз моих ее девственные прелести. Она, казалось, была погружена в глубокий сон, и я, жадно вперив в нее глаза, удерживал дыхание, чтоб не прервать ее сладкого спокойствия.

О, теперь я верю кабалистам; я удивляюсь даже, как прежде я смотрел на них с насмешкою недоверчивости. Нет, если существует истина на сем свете, то она существует только в их творениях! Я теперь только заметил, что они не так, как наши обыкновенные ученые: они не спорят между собою, не противоречат друг другу; все говорят про одно и то же таинство; различны лишь их выражения, но они понятны для того, кто вникнул в таинственный смысл их... Прощай. Решившись исследовать до конца все таинства природы, я прерываю сношения с людьми; другой, новый, таинственный мир для меня открывается; я лишь для потомства сохраню историю моих открытий. Так, мой друг, я предназначен к великому в этой жизни!..

ПИСЬМО ГАВРИЛА СОФРОНОВИЧА РЕЖЕНСКОГО К ИЗДАТЕЛЮ

Милостивый государь!

Извините меня, что хотя я лично не имею чести быть с вами знакомым, но, по сведению о тесной вашей дружбе с Михаилом Платоновичем, решаюсь беспокоить вас письмом моим. Вам, конечно, небезызвестно, что у меня с покойным его дядюшкою, по коем он ныне находится законным наследником, имелась тяжба о значительном количестве строевого и дровяного леса. Почувствовав склонность к старшей дочери моей Катерине Гавриловне, ваш приятель предложил мне себя в зятья, на что я, как вам известно, изъявил свое согласие; впоследствии чего, надеясь на обоюдную пользу, я остановил ход сего дела; но ныне нахожусь в крайнем недоумении. Вскоре после обручения, когда и повестки были ко всем знакомым разосланы, и приданое дочери моей окончательно приготовлено, и все бумаги нужные к сему очищены, Михаил Платонович вдруг прекратил ко мне свои посещения. Полагая сему причиною случившееся нездоровье, я посылал к нему человека, а наконец и сам, несмотря на свою дряхлость, к нему отправился. Неприлично, да и обидно мне показалось напоминать ему о том, что он забыл свою невесту; а он хоть бы извинился! только что рассказывал мне о каком-то важном деле, им предпринятом, которое ему должно кончить до свадьбы и которое в продолжение некоторого времени требует его неусыпного внимания и надзора. Я полагал, что он хочет завести поташный завод, о котором он прежде поговаривал; думал я, что он хочет удивить меня и припасти для меня свадебный подарок, показав на опыте, что он может заниматься чем-нибудь дельным, по причине того, что я его часто журил за его пустодомство; однако же я никаких приготовлений для такого завода не заметил и ныне не вижу. Я положил было посмотреть, что дальше будет, как вчера, к величайшему моему удивлению, узнал, что он заперся и никого к себе не пускает, даже кушанье ему подают в окошко. Тут мне пришла, милостивый государь, престранная мысль в голову. Покойный дядя его жил в этом же доме и слыл в нашем уезде чернокнижником; я, сударь, сам некогда учился в университете; хотя немного поотстал, но чернокнижию не верю; однако же мало ли что может причиниться человеку, особливо такому философу, как ваш приятель! Что же наиболее уверяет меня в том, что с Михаилом Платоновичем случилось что-то недоброе,— это слух, дошедший до меня стороною, будто бы он сидит

по целым дням и смотрит в графин с водою. В таковых обстоятельствах, милостивый государь, обращаюсь к вам с покорнейшею просьбою — немедленно поспешить вашим сюда приездом для вразумления Михаила Платоновича, по вашему к нему участию, дабы и я мог знать, чего мне держаться: снова ли начать тяжбу, или покончить решенное дело; ибо сам я, после нанесенной мне вашим приятелем обиды, к нему в дом не поеду, хотя Катя и с горькими слезами меня о том упрашивает.

В надежде скорого свидания с вами, честь имею быть, и проч.

РАССКАЗ

Получив это письмо, я счел долгом прежде всего обратиться к знакомому мне доктору, очень опытному и ученому человеку. Я показал ему письма моего приятеля, рассказал его положение и спросил его, понимает ли он что-нибудь во всем этом?.. «Все это очень понятно,— сказал мне доктор,— и совсем не ново для медика... Ваш приятель просто с ума сошел...» — «Но перечтите его письма,— возразил я,— есть ли в них малейший признак сумасшествия? отложите в сторону странный предмет их, и они покажутся хладнокровным описанием физического явления...»

«Все это понятно...— повторил медик.— Вы знаете, что мы различаем разные роды сумасшествий — vesaniae[1]. К первому роду относятся все виды бешенства — это не касается до вашего приятеля; второй род содержит в себе: во-первых, расположение к призракам — hallucinationes;[2] во-вторых, уверенность в сообщении с духами — demonomania[3]. Очень понятно, что ваш приятель, от природы склонный к ипохондрии,— в деревне, один, без всяких рассеянностей, углубился в чтение всякого вздора; это чтение подействовало на его мозговые нервы; нервы...»

Долго еще объяснял мне доктор, каким образом человек может быть в полном разуме и между тем сумасшедшим, видеть то, чего он не видит, слышать, чего не слышит. К чрезвычайному сожалению, я не могу сообщить этих объяснений читателю, потому что я в них ничего не понял; но, убежденный доводами доктора, я

---

1 Безумия *(лат.)*.
2 Галлюцинации *(лат.)*.
3 Демономания *(лат.)*.

решился пригласить его ехать со мною в деревню моего приятеля.

Михайло Платонович лежал в постели, худой, бледный; в продолжение нескольких дней он уже не принимал никакой пищи. Когда мы подошли, он не узнал нас, хотя глаза его были открыты; в них горел какой-то дикий огонь; на все наши слова он не отвечал нам ни слова... На столе лежали исписанные листы бумаги — я мог разобрать в них лишь некоторые строки, вот они:

ОТРЫВКИ

Из журнала Михаила Платоновича

— Кто ты?

— У меня нет имени — оно мне не нужно...

— Откуда ты?

— Я твоя — вот все, что я знаю; тебе я принадлежу и никому другому... но зачем ты здесь? как здесь душно и холодно! У нас веет солнце, звучат цветы, благоухают звуки... за мной... за мной!.. как тяжела твоя одежда — сбрось, сбрось ее... а еще далеко, далеко до нашего мира... но я не оставлю тебя! — Как все мертво в твоем жилище... все живое покрыто хладною оболочкой: сорви, сорви ее!

...Так здесь ваше знание?.. Здесь ваше искусство?.. вы отделяете время от времени и пространство от пространства, желание от надежды, мысль от ее исполнения, и вы не умираете от скуки? — За мной, за мной! скорее, скорее...

...Ты ли это, гордый Рим, столица веков и народов? Как растянулась повилика по твоим развалинам... Но развалины шевелятся, из зеленого дерна подымаются обнаженные столпы, вытягиваются в стройный порядок, — чрез них свод отважно перегнулся, отряхая вечный прах свой, помост стелется игривым мозаиком, — на помосте толпятся живые люди, сильные звуки древнего языка сливаются с говором волн, — оратор в белой одежде с венцом на главе поднимает руки... И все исчезло: пышные здания клонятся к земле; столпы сгибаются, своды врываются в землю — повилика снова вьется по развалинам — все умолкло, — колокол призывает к молитве, храм отворен, слышны звуки мусикийского орудия — тысячи созвучных переливов волнуются под моими пальцами, мысль стремится за мыслию, они улетают одна за другою как сновидения... если бы схватить, остановить их? — И покорное орудие снова вторит, как верное эхо, все минутные, невозвратимые движения души... Храм

опустел, лунный блеск ложится на бесчисленные статуи; они сходят с мест своих, проходят мимо меня, полные жизни; их речи древни и новы, важна их улыбка и значителен взор; но снова они оперлись на свои пьедесталы, и снова лунный блеск ложится на статуи... Уж поздно... нас ждет веселый, тихий приют; в окошках мелькает Тибр; за ним Капитолий вечного града... Очаровательная картина! она слилась в тесную раму нашего камелька... да! там другой Рим, другой Тибр, другой Капитолий. Как весело трещит огонек... Обними меня, прелестная дева... В жемчужном кубке кипит искрометная влага... пей... пей... Там хлопьями валится снег и заметает дорогу — здесь меня греют твои объятия...

Мчитесь, мчитесь, быстрые кони, по хрупкому снегу, взвивайте столбом ледяной прах: в каждой пылинке блистает солнце — розы вспыхнули на лице прелестной — она прильнула ко мне душистыми губками... Где ты нашла это художество поцелуя? все горит в тебе и кипячею влагою обдает каждый нерв в моем теле... Мчитесь, мчитесь, быстрые кони, по хрупкому снегу... Что? не крик ли битвы? не новая ли вражда между небом и землею?.. Нет, то брат предал брата, то невинная дева во власти преступления... и солнце светит, и воздух прохладен? Нет! потряслася земля, солнце померкло, буря опустилась с небес, спасла жертву и омыла преступного,— и снова солнце светит, и воздух тих и прохладен, лобызает брат брата, и сила преклоняется пред невинностию... За мной, за мной... Есть другой мир, новый мир... Смотри: кристалл растворился — там внутри его новое солнце... Там совершается великая тайна кристаллов; поднимем завесу... толпы жителей прозрачного мира празднуют жизнь свою радужными цветами; здесь воздух, солнце, жизнь — вечный свет: они черпают в мире растений благоуханные смолы, обделывают их в блестящие радуги и скрепляют огненною стихией... За мной, за мной! мы еще на первой ступени... По бесчисленным сводам струятся ручьи: быстро бьют они вверх и быстро спускаются в землю; над ними живая призма преломляет лучи солнца; лучи солнца вьются по жилам, и фонтан выносит на воздух их радужные искры; они то сыплются по лепесткам цветов, то длинною лентою вьются по узорчатой сети; жизненные духи, прикованные к вечнокипящим кубам, претворяют живую влагу в душистый пар, он облаками стелется по сводам и крупным дождем падает в таинственный сосуд растительной жизни... Здесь, в самом святилище, зародыш жизни борется с зародышем смерти, каменеют живые соки, застывают в металличе-

ских жилах, и мертвые стихии преобразуются началом духа... За мной! за мной!.. На возвышенном троне восседает мысль человека, от всего мира тянутся к ней золотые цепи,—духи природы преклоняются в прах перед нею,—на востоке восходит свет жизни,—на западе, в лучах вечерней зари, толпятся сны и, по произволу мысли, то сливаются в одну гармоническую форму, то рассыпаются летучими облаками... У подножия престола *она* сжала меня в своих объятиях... мы миновали землю!

Смотри—там в безбрежной пучине носится ваша пылинка: там проклятия человека, там рыдания матери, там говор житейской нужды, там насмешка злых, там страдания поэта—здесь все сливается в сладостную гармонию, здесь ваша пылинка не страждущий мир, но стройное орудие, которого гармонические звуки тихо колеблют волны эфира.

Простись с поэтическим *земным* миром! И у вас есть поэзия на земле! оборванный венец вашего блаженства! Бедные люди! странные люди! в вашей смрадной пучине вы нашли, что даже страдание есть счастие! Вы страданию даете поэтический отблеск! Вы гордитесь вашим страданием; вы хотите, чтоб жители другого мира завидовали вашей жизни! В нашем мире нет страдания: оно удел лишь несовершенного мира,—создание существа несовершенного!—Вольнó человеку преклоняться пред ним, вольнó ему отбросить его, как истлевшую одежду на плечах путника, завидевшего родину . . . .

Неужли ты думаешь, что я не знала тебя? Я с самого младенчества соприсутствовала тебе в дыхании ветерка, в лучах весеннего солнца, в каплях благовонной росы, в неземных мечтаниях поэта! Когда в человеке возрождается гордость его силы, когда тяжкое презрение падает с очей его на скудельные образы подлунного мира, когда душа его, отряхая прах смертных терзаний, с насмешкою попирает трепещущую пред ним природу,—тогда мы носимся над вами, тогда мы ждем минуты, чтоб вынести вас из грубых оков вещества—тогда вы достойны нашего лика!.. Смотри, есть ли страдание в моем поцелуе: в нем нет времени—он продолжится в вечность: и каждый миг для нас—новое наслаждение!.. О, не измени мне! не измени себе! берегись соблазнов твоей грубой, презренной природы!

Смотри—там вдали, на вашей земле поэт преклоняется пред грудою камней, обросших бесчувственным организмом растительной силы. «Природа!—восклицает он в восторге,—величественная природа, что выше тебя в этом мире? чтó мысль человека пред тобою?» А слепая,

безжизненная природа смеется над ним и в минуту полного ликования человеческой мысли скатывает ледяную лавину и уничтожает и человека, и мысль человека! Лишь в душе души высоки вершины! Лишь в душе души бездны глубоки! В их глубину не дерзает мертвая природа; в их глубине независимый, крепкий мир человека; смотри, *здесь* жизнь поэта — святыня! *здесь* поэзия — истина! здесь договаривается все недосказанное поэтом; здесь его земные страдания превращаются в неизмеримый ряд наслаждений...

О, люби меня! Я никогда не увяну: вечно свежая, девственная грудь моя будет биться на твоей груди! Вечное наслаждение будет для тебя ново и полно — и в моих объятиях невозможное желание будет вечно возможной существенностию!

. . . .

Этот младенец — это дитя наше! он не ждет попечений отца, он не будит ложных сомнений, он заранее исполнил твои надежды; он юн и возмужал, он улыбается и не рыдает — для него нет возможных страданий, если только ты не вспомнишь о своей грубой, презренной юдоли... Нет, ты не убьешь нас одним желанием!

Но дальше, дальше — есть еще другой, высший мир, там самая мысль сливается с желанием.— За мной! за мной!..

Дальше почти невозможно было ничего разобрать; то были несвязные, разнородные слова: «любовь... растение... электричество... человек... дух...» Наконец, последние строки были написаны какими-то странными неизвестными мне буквами и прерывались на каждой странице...

Запрятав подальше все эти бредни, мы приступили к делу и начали с того, что посадили нашего мечтателя в бульонную ванну: больной затрясся всем телом. «Добрый знак!» — воскликнул доктор. В глазах больного выражалось какое-то престранное чувство — как будто раскаяние, просьба, мученье разлуки; слезы его катились градом... Я обращал на это выражение лица внимание доктора... Доктор отвечал: facies hippocratica![1]

Чрез час еще бульонная ванна — и ложка микстуры; за нею порядочно мы побились: больной долго терзался и упорствовал, но наконец проглотил. «Победа наша!» — вскричал доктор.

---

[1] Предсмертная маска (*лат.*).

Доктор уверял, что надобно всеми силами стараться вывести нашего больного из его оцепенения и раздражить его *чувственность*. Так мы и сделали: сперва ванна, потом ложка аппетитной микстуры, потом ложка бульона, и благодаря нашим благоразумным попечениям больной стал видимо оправляться; наконец показался и аппетит — он уже начал кушать без нашего пособия...

Я старался ни о чем прежнем не напоминать моему приятелю, а обращать его внимание на вещи основательные и полезные, как-то: о состоянии его имения, о выгодах завести в нем поташный завод, а крестьян с оброка перевести на барщину... Но мой приятель слушал меня как во сне, ни в чем мне не противоречил, во всем мне беспрекословно повиновался, пил, ел, когда ему подавали, хотя ни в чем не принимал никакого участия.

Чего не могли сделать все микстуры доктора, то произвели мои беседы о нашей разгульной молодости и в особенности несколько бутылок отличного лафита, который я догадался привезти с собою. Это средство, вместе с чудесным окровавленным ростбифом, совершенно поставило на ноги моего приятеля, так что я даже осмелился завести речь о его невесте. Он выслушал меня со вниманием и во всем со мною согласился; я, как человек аккуратный, не замедлил воспользоваться его хорошим расположением, поскакал к будущему тестю, все обделал, спорное дело порешил, рядную написал, одел моего чудака в его старый мундир, обвенчал — и, пожелав ему счастия, отправился обратно к себе домой, где меня ожидало дело в гражданской палате, и, признаюсь, поехал весьма довольный собою и своим успехом. В Москве все родные, разумеется, осыпали меня своими ласками и благодарностию.

Устроив мои дела, я чрез несколько месяцев рассудил, однако же, за благо навестить молодых, тем более что я от молодого не получал никакого известия.

Застал я его поутру: он сидел в халате, с трубкой в зубах; жена разливала чай; в окошко светило солнышко и выглядывала преогромная спелая груша; он мне будто обрадовался, но вообще был неговорлив...

Я выбрал минуту, когда жена вышла из комнаты, и сказал, покачав головою:

— Ну, что, несчастлив ты, брат?

Что же вы думаете? он разговорился? Да! Только что он напутал!

— Счастлив! — повторил он с усмешкою, — знаешь ли ты, что ты сказал этим словом? Ты внутренно похвалил себя и подумал: «Какой я благоразумный человек! я

вылечил этого сумасшедшего, женил его, и он теперь, по моей милости, счастлив... счастлив!» Тебе пришли на мысль все похвалы моих тетушек, дядюшек, всех этих так называемых благоразумных людей — и твое самолюбие гордится и чванится... не так ли?

— Если бы и так...— сказал я.

— Так довольствуйся же этими похвалами и благодарностию, а моей не жди. Да! Катя меня любит, имение наше устроено, доходы сбираются исправно,— словом, ты дал мне счастье, но не мое: ты ошибся нумером. Вы, господа благоразумные люди, похожи на столяра, которому велели сделать ящик на дорогие физические инструменты: он нехорошо смерил, инструменты в него не входят, как быть? а ящик готов и выполирован прекрасно. Ремесленник обточил инструменты,— где выгнул, где спрямил,— они вошли в ящик и улеглись спокойно, любо посмотреть на него, да только одна беда: инструменты испорчены.— Господа! не инструменты для ящика, а ящик для инструментов! Делайте ящик по инструментам, а не инструменты по ящику.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ты очень рад, что ты, как говоришь, меня вылечил, то есть загрубил мои чувства, покрыл их какою-то непроницаемою покрышкою, сделал их неприступными для всякого другого мира, кроме твоего ящика... Прекрасно! инструмент улегся, но он испорчен: он был приготовлен для другого назначения... Теперь, когда среди ежедневной жизни я чувствую, что мои брюшные полости раздвигаются час от часу более и голова погружается в животный сон, я с отчаянием вспоминаю то время, когда, по твоему мнению, я находился в сумасшествии, когда прелестное существо слетало ко мне из невидимого мира, когда оно открывало мне таинства, которых теперь я и выразить не умею, но которые были мне понятны... где это счастие? — возврати мне его!

— Ты, братец, поэт, и больше ничего,— сказал я с досадою,— пиши стихи...

— Пиши стихи! — возразил больной,— пиши стихи! Ваши стихи тоже ящик; вы разобрали поэзию по частям: вот тебе проза, вот тебе стихи, вот тебе музыка, вот живопись — куда угодно? А может быть, я художник такого искусства, которое еще не существует, которое не есть ни поэзия, ни музыка, ни живопись,— искусство, которое я должен был открыть и которое, может быть, теперь замрет на тысячу веков: найди мне его! может быть, оно утешит меня в потере моего прежнего мира!

Он наклонил голову, глаза его приняли странное выражение, он говорил про себя: «Прошло — не возвратится — умерла — не перенесла — пáдай! падай!» — и прочее тому подобное.

Впрочем, это был его последний припадок. Впоследствии, как мне известно, мой приятель сделался совершенно порядочным человеком: завел псарную охоту, поташный завод, плодопеременное хозяйство, мастерски выиграл несколько тяжеб по землям (у него чересполосица); здоровье у него прекрасное, румянец во всю щеку и препорядочное брюшко (NB. Он до сих пор употребляет бульонные ванны — они ему очень помогают). Одно только худо: говорят, что он немножко крепко пьет с своими соседями — а иногда даже и без соседей; также говорят, что от него ни одной горничной прохода нет, — но за кем нет грешков в этом свете? По крайней мере он теперь человек, как другие.

Так рассказывал один из моих знакомых, доставивший мне письма Платона Михайловича, — очень благоразумный человек. Признаюсь, я ничего не понял в этой истории: не будут ли счастливее читатели?

ОРЛАХСКАЯ КРЕСТЬЯНКА

(Из цикла «Беснующиеся»)

> Я предвижу, что многие почтут слова мои за выдумку воображения; я уверяю, что здесь нет ничего выдуманного, но все действительно бывшее и виденное не во сне, а наяву.
>
> *Шведенборг*

— Скажите, отчего мы любим брильянты? — сказала молодая княгиня Рифейская, подходя к графу Валкирину, который, сидя в углу дивана, с каким-то особенным вниманием поочередно рассматривал окружающие его лица небольшого домашнего круга княгини.

— Княгиня,— отвечал он,— вопрос ваш гораздо труднее, нежели как вы думаете. Если отвечать вам на него так, как надобно, вы засмеетесь, как и всегда...

Все захохотали: — Ну, уж знаем, что будет!

— Так! Я еще не сказал ни слова, а вы уже все смеетесь,— хладнокровно заметил граф.— Что же будет, когда я скажу? За это не будет вам ответа,— прибавил он с улыбкою, но в которой было что-то грустное.

— Скажите, скажите,— проговорили все в один голос.

— Обещаю вам, что не буду смеяться,— прибавила молодая княгиня.

— Так слушайте ж. Уверяю вас, что ваш вопрос гораздо важнее, нежели как он кажется с первого раза. Да,— повторил граф вздохнувши,— этот вопрос очень далеко заходит.

— Не до потопа ли? — спросила молодая племянница княгини.

— Гораздо прежде,— отвечал чудак с величайшею важностью. Присутствующие закусили губы, чтоб удер-

жаться от смеха. Граф был, по-видимому, в нерешимости и молчал.

— Ну, что же? — говорили дамы.

— Что? Поверите ли вы мне, когда я скажу вам, что наше пристрастие к этим светящимся камням есть воспоминание о чем-то давно, давно прошедшем? — Что было время, когда наше тело светилось ярче всех алмазов на свете?.. что эти грубые камни, так скудно рассыпанные по земле, напоминают нам о нашей прежней светлой одежде... напоминают невольно, ибо нам сделалось уже непонятно это светлое состояние!..

Все захохотали.

— Ах, как хорошо должно быть это платье, — сказала княгиня, — из цельного алмаза!.. Нельзя ли вам как-нибудь постараться достать этой материи! хоть на шляпку...

— Знаете ли, княгиня, — сказал граф важно, посмотрев на нее, — то, чтó вы теперь говорите, говорите не вы?

— Кто же, если не я?..

— Да кто-то другой... Вы, вы не стали бы смеяться над тем, что я теперь говорю; но кто-то другой заставляет вас смеяться. Ему это очень выгодно.

— Да кто же этот другой?

— Этого я не могу вам сказать... — После этих слов все как-то притихли.

В эту минуту встал со стула человек весьма пожилых лет, с холодною, почти безжизненною физиономией, с которым все обращались весьма почтительно, называя его Иваном Крестьяновичем. Граф заметил это движение, с большим любопытством обратил на него глаза и спросил у соседа: «Кто это?»

— Как! вы не знаете? это Иван Крестьянович Рындин, человек с большим весом... Прекраснейший человек, добрый, прямой такой.

Граф опустил голову и о чем-то крепко задумался.

Иван Крестьянович шел заглянуть в другую комнату, где раскладывался зеленый стол; проходя мимо хозяйки дома, он шепнул ей: «Что это за граф у вас? Я его никогда еще не видал».

— Он недавно здесь; он много путешествовал; я не знаю, где он не был: и в Турции, и в Египте, и в Индии...

— Ну, кажется, он немного ума навез из своего путешествия...

— Он немножко странен, но очень мил и забавен...

— Ведь вас, дам, не разберешь! — отвечал Иван Крестьянович с мужиковатостью, которую выдавал за откровенность, — извините, — вы знаете, я человек откровенный... Ну, что тут забавного? Он просто, что по-русски

говорится, несет дичь. Вот за чем нынче ездят по чужим землям — все вздор да пустошь... А что же наша партия? — продолжал Иван Крестьянович, обратясь к подходившему старику.

— Составлена, составлена, Иван Крестьянович; я шел за вами...

— Пойдемте-ка, пойдем на реванж.

Между тем за дамским столиком смеялись и толковали различным образом о том, кто может в человеке говорить вместо его самого.

— Я совершенно согласен с графом,— сказал барон Кейнезейт, молодой дипломат, на время возвратившийся из-за границы, который вслушивался в слова рассказчика с притворною доверенностью.— В проезд мой чрез Германию только и толков было, что об одной крестьянской девушке, в которой будто говорил человек, умерший лет за 400, и будто бы рассказывал такие подробности о том, что было за 400 лет, которые, казалось, не могли прийти в голову простой крестьянки.— Мои добрые немцы всему этому верили...

— А вы видели эту девушку? — спросил граф, мгновенно вышедши из задумчивости.

— Нет. Хотел видеть, но мне сказали, что родные ее никого к ней не впускают, что я нахожу очень благоразумным. Дело все в том, что в эту деревеньку ездило множество народа, и хоть никто ничего не видал, но деревенька, говорят, обогатилась от приезжающих.

— В этом вся и загадка! — заметили многие.

— Жаль, что вы не заехали в Орлах,— сказал граф.— Правда, когда бедная девушка занемогла, отец перестал пускать любопытных, которые своими расспросами только мучили больную. Об этой истории было много ложных рассказов; но в самом существе она не подлежит ни малейшему сомнению.

— Вы, верно, знаете эту историю в совершенстве, граф Валкирин? Расскажите ее, сделайте милость,— говорили дамы, улыбаясь.— Обещаю вам, что никто не будет смеяться,— прибавила княгиня, также насмешливо улыбаясь.

— Извольте,— сказал граф,— я никогда не отказываюсь от таких рассказов, когда меня просят, ибо,— заметил он, понизив голос,— в вас просит далекое внутреннее чувство, которое вам самим непонятно.

— Ну, еще, еще! — проговорила княгиня.— Однако ж счастье, что в нас говорят не одни черти. Но кто же еще?.. Я не поняла.

— Кто-то, княгиня, кто, несмотря на ваши насмешки,

заставляет вас желать рассказа этой истории и возбуждает в вас любопытство... может быть, спасительное,— прибавил граф с таинственным видом, устремив на нее огненные глаза.

— Ах, как странно вы на меня смотрите!— сказала княгиня.

— О, не смейтесь, умоляю вас; прислушивайтесь к тем голосам, которые говорят внутри вас: вы услышите чудные звуки; вы скоро можете приобрести способность отличать один голос от другого, вы...

— Без предисловий,— заговорили все,— историю! историю!

Все придвинулись к столику, за которым сидел наш оратор. Его слушатели были: молодая графиня, княгиня, хозяйка дома, молодой дипломат, возвратившийся из чужих краев, какой-то деловой человек, с весьма важным видом дожидавшийся партии, молодая племянница княгини, только что вышедшая из пансиона и не потерявшая еще привычки слушать со вниманием и даже иногда удивляться. Наконец было несколько домашних лиц, которые в обществе и в жизни играют роль того, что наши старинные стихотворцы называли затычками, каковы слова: «лишь», «уж» и другие, нужные для наполнения стиха; без них нельзя, а все-таки они никуда не годятся.

Рассказчик начал:

— В Германии, в местечке Орлах, жил, а может быть, еще живет и поныне, крестьянин Громбах, лютеранин, человек очень честный и умный,— так что он даже был выбран в звание какого-то начальника в своей деревне. У Громбаха четверо детей; между ними двадцатилетняя дочь, по эмени Энхен, образец немецкого трудолюбия и здоровья: плотная, краснощекая, свежая. Целые дни она на сенокосе или на молотьбе и одна отвечает за двух работников. Она никогда не была больна, не имела никаких детских болезней, никаких припадков и отроду не отведывала никакого лекарства. Школьное учение ей не давалось; она едва знала грамоте и имела даже род отвращения от книг.

— Должно признаться,— заметила графиня,— что ваша героиня вовсе не интересна.

— Я рассказываю истину без всяких прикрас. Все, что я вам буду рассказывать, мне передано почтенными людьми, которые были очевидными свидетелями всего происшествия.— Несколько лет тому назад Громбах купил себе новую корову...

— Не она ли будет настоящею героинею?— заметила насмешница.

— Почти,— отвечал рассказчик.— Но если вы будете меня перерывать, то мы никогда не дойдем до конца. Итак, Громбах купил себе новую корову; вдруг стали замечать, что когда ее привяжут на одном месте в хлеву, то утром она явится на другом месте, также привязанною. Никто не входил в этот хлев, кроме Громбаха и его дочери. В том же хлеву стояли еще три коровы...

Княгиня не могла удержаться:— Какие интересные подробности!.. C'est du George Sand tout pur!..[1]

Рассказчик, как бы не слушая этих слов, продолжал:

— Скоро домашние с удивлением заметили, что кто-то у коров плетет хвосты, да так плотно, как самый искусный мастер. Когда же расплетали хвосты, то они невидимою рукою опять заплетались, как только коров оставляли одних в хлеву. Эти проказы продолжались несколько недель раза по четыре и по пяти в день, и никогда нельзя было заметить, кто это делал.

— Ах, мои батюшки!— заметила Рунская, недавно приехавшая из Москвы,— вот до чего у вас в Петербурге дошли ученые; это у нас, в Москве, лишь кучера уверяют, что домовой у лошадей гривы сплетает; поленятся расчесать, да и на домового!

Рассказчик показал снова вид, будто бы он не слыхал этого замечания, и продолжал:

— Однажды Энхен доила коров, как вдруг,— извините за невежливость,— невидимая рука ударила бедную девушку так сильно, что чепчик слетел с ее головы. Бедная Энхен вскрикнула; на крик прибежал отец, но возле Энхен никого не было. Прошло несколько дней; в хлеву стала появляться то черная кошка с белою головою, то черная птица, похожая на ворона, и также с белою головою. Все домашние их видели, и однажды кошка бросилась на бедную девушку и больно ее укусила. Такие странные случаи продолжались целый год. Однажды, когда Энхен была с братом в хлеву, вдруг показался в углу огонь...

Деловой человек пожал плечами и вышел из комнаты, бормоча: «Что это за вздор! Будто нельзя найти разговора приличнее бабьих сказок». Место делового человека очистилось, и остальные слушатели плотнее сдвинулись вокруг рассказчика. Он продолжал:— Огонь стал пробивать под крышу. Закричали; позвали соседей, залили огонь; но тем не кончилось. В продолжение нескольких дней сряду пламя появлялось в разных частях дома, так, что наконец Громбах, приписывая эти пожары злому умыслу, должен

---

[1] Это прямо-таки Жорж Санд! *(фр.)*

был обратиться к полиции. Расставили вокруг дома караульных, но ничто не помогало; несмотря на денной и ночной присмотр, пламя вспыхивало само собою беспрестанно то в том, то в другом месте. Дошло до того, что Громбах с семейством решился выбраться из дома. Дом опустел, но по-прежнему продолжал загораться, несмотря на все предосторожности. Однажды, когда после пожара Энхен в половине седьмого утром пришла в хлев, вдруг в углу, как бы под стеною, явственно раздался младенческий крик. Надобно вам знать, что дом Громбаха построен был на остатке плотной старинной каменной стены, что очень часто встречается в Германии. Энхен позвала отца. Он осмотрел везде и вокруг хлева, но не нашел ничего. В тот же день, в половине восьмого, Энхен в темном углу хлева увидела женщину в сероватом платье, с черною пеленою на голове. Привидение тянулось к девушке и как бы удерживалось невидимою силою. Энхен испугалась, вскрикнула — на крик ее прибежал отец; привидение исчезло.

Бедная девушка, немного успокоившись, через несколько часов снова пошла в хлев кормить коров; смотрит: в том же углу та же женщина в сероватом платье с черною повязкою на голове. Снова то тянется она к Энхен, то исчезает в темноте — наконец перерывающимся голосом, как бы с необыкновенным усилием, привидение проговорило: «Сломать дом, сломать! — непременно сломать! А не то беда, сгорит — и беда вам всем — так хочет злой — я мешаю ему — но трудно — не могу — сломать — сломать — найдете... Обещай! Обещай!»

Испуганная Энхен все обещала — и привидение исчезло... Ночью, когда Энхен уже лежала в постели, серая женщина явилась снова. «Не бойся меня,— говорила она,— не бойся, я тебе зла не сделаю, я тебя люблю, ты мне сестра; да, я также родом из Орлаха; и родилась с тобой в один день, только — 400 лет прежде тебя, и меня также звали Анной; мне очень тяжко, я связана с злым, ты можешь освободить меня от него — о! Сломать дом, сломать дом поскорее...»

С тех пор привидение так часто стало являться к бедной крестьянке, что Энхен привыкла к этому странному явлению и разговаривала с привидением как с обыкновенным человеком. Энхен часто спрашивала свою чудную сестру: отчего она страждет? Кто этот злой, о котором она так часто говорит? Как она с ним связана? Зачем надобно сломать дом? — Но на все вопросы привидение отвечало весьма неопределенно, вздыхало, грустило и вскоре потом исчезало.

Часто серая женщина, не дожидаясь вопроса Энхен, говорила: «Знаю, о чем ты хочешь спросить меня», и иногда отвечала на мысленный ее вопрос; иногда говорила: «Не спрашивай же меня об этом, я не могу тебе отвечать», и всякий раз привидение повторяло: «Сломать дом! сломать дом, не то беда... сил моих не достает. О, когда настанет минута моего освобождения!»

Часто также привидение предсказывало Энхен разные обстоятельства ее простой жизни, как, например, о приходе того или другого лица, и тому подобное; но [так] как привидение было видимо только одной Энхен, то отец ее, посоветовавшись с докторами, приписывал все рассказы своей дочери — болезни и не решался сломать дом свой. Между тем серая женщина не переставала по-прежнему являться к Энхен, по-прежнему тосковала и умоляла о том же.

— Так и всегда бывает,— заметил, улыбаясь, один из слушателей,— уж если явится привидение, то никогда двум вместе, а всегда кому-нибудь одному, которому и с руки рассказывать об нем что угодно.

— Дослушайте же далее,— отвечал хладнокровно рассказчик и продолжал:

— Настало время сенокоса. Однажды, когда Энхен с отцом пошла на луг, ей послышался голос соседского работника.— Слышите ли, батюшка, Франц кричит нам, чтоб мы погодили, что и он хочет с нами идти? Но отец ничего не слыхал. Немного спустя Энхен снова услышала, что тот же голос повторил те же слова и потом засмеялся злобным хохотом. Целый день мелькала перед нею то черная кошка, то черная собака, то взвивалась над нею черная птица; но все это видела одна Энхен — отец ее не видал ничего.

На другой день, на том же сенокосе, невидимый голос сказал на ухо Энхен: «Посмотри-ка, что это за барыня идет к тебе», и злобно засмеялся. В отдалении перед нею мелькнул образ серой женщины. В самый полдень, когда работники разбрелись, перед Энхен явился, как она рассказывала, мужчина в черном платье, ходил с нею по лугу взад и вперед, приговаривая: «Зачем к тебе ходит эта барыня? Чего ей от тебя надобно? Пожалуйста, ты не слушайся ее и не отвечай ей; она тебя только сбивает с толка. Отвечай лучше мне: я тебе за то дам ключ от погреба под вашим домом; там еще есть бочек восемь доброго, старого вина...» Но в этом голосе было что-то столь странное, что Энхен не могла ему в ответ выговорить ни слова.

В следующие дни тот же человек снова появлялся.

«Энхен,— говорил он,— не хочешь ли мне помочь собрать сено? Я тебе дам по талеру за копну; а если б ты знала, какие у меня талеры, звонкие, полновесные! Хочешь, что ли? Да отвечай же мне! Не отвечаешь? Ну, я вижу, ты такая же глупая, как та, которая к тебе ходит».

Иногда черный говорил ей: «Дай мне свою косу; я ее тебе наточу» и в самом деле брал косу, точил ее, и так исправно, что уже целый день не нужно было ее точить. То приставал к Энхен с обольщениями другого рода: «Хочешь,— говорил он,— я тебя проведу к той барыне, которая к тебе ходит? Мы славно повеселимся: там есть чего и поесть, и попить. Да что же ты не отвечаешь? За каждый твой ответ я тебя осыплю золотом — ведь я очень богат...»

Прилежно ухаживал черный за бедною девушкою: то переворачивал сено, то косил вместе с нею, то рассказывал разные разности, и добивался только одного — ответа; но Энхен по какому-то невольному чувству никогда ему не отвечала. Часто, чтоб выманить ее ответ, он являлся в виде работницы, звал Энхен к отцу, или в виде соседки, которая приходила будто бы наведаться о ее здоровье,— но странно, что черный человек никогда не мог совершенно изменить своего голоса, так что Энхен всегда его узнавала и по-прежнему оставляла без ответа. Однажды, вошедши с сестрою в хлев, она увидела на бревне мешочек, наполненный старинными серебряными деньгами, подняла его, думая, не потерял ли кто из домашних; но в доме не нашлось хозяина этим деньгам, и пропажи никакой не было. Сестра не знала, что делать с этой находкой, как вдруг возле Энхен очутился черный человек и проговорил с злобным хохотом: «Не бойся, Энхен, бери эти деньги,— они твои, я их взял у одного господина, который обманул другого на шесть карлинов. Да хоть поблагодари меня, Энхен;— это тебе за ту пощечину, которую я тебе дал в начале нашего знакомства, потому что ты мне очень нравишься...»

В ту же ночь явилась к Энхен серая женщина. «Ты хорошо делаешь, что не отвечаешь злому черному; не оставляй у себя и денег, а раздавай их бедным. Первый раз, когда ты будешь в Галле, поди по городу, пока тебя кто не кликнет. Тебе подарят денег, а ты на них купи добрую книгу и старайся читать ее, когда тебе будет грустно.— Да что же дом? Скоро ли его сломают? Скоро ли? Скоро ли?»

Энхен исполнила в точности данное ей приказание. Дома не ломали, но из денег черного человека отдали

часть в штутгардтский сиротский дом, другую в галльский дом призрения бедных, остальную в орлахское училище. Однажды, будучи в городе, Энхен проходила по улице; какой-то купец позвал ее к себе в лавку и спросил, не она ли девушка из Орлаха, о которой рассказывают такие странные приключения, и подарил ей гульден, на который и купила она сказанную ей книгу.

С другой стороны, и черный не переставал посещать бедную Энхен под разными образами; он говорил ей: «Зачем ты пускаешь к себе эту барыню? Зачем говоришь с нею? Ведь она тебе денег не дает; я же тебе и деньги даю, а ты не хочешь отвечать мне?» К сим словам черный присоединял то насмешку, то обольщения, то угрозы: «Уж обману я тебя, уж будешь отвечать мне! Ну что тебе в твоей скучной жизни? Ну что радости целый век коров доить и сено косить,— отвечай мне только одно слово, и ты будешь богата, всем довольна, ничего не будешь делать; если же не получу от тебя ответа,— то не пеняй на меня,— увидишь, что будет!»

Эти странные явления несколько времени повторялись беспрерывно; то приходил черный, то от одного появления серой женщины исчезал и снова появлялся при ее уходе.

За сим в течение четырех или пяти дней привидения не являлись; но однажды Энхен, совсем здоровая и спокойная, сказала: — Вот опять идет серая женщина; она говорит, что мне готовятся еще бóльшие страдания от черного, но чтоб я с твердостью перенесла их, что она будет помогать мне. Не понимаю многого, что она говорит, а только повторяет, чтоб скорее сломали дом, что тогда ей будет легче. Ах! Послушайте ее, послушайте, что говорит она! Она говорит, что черный очень зол и мстителен, она его знает... Послушайтесь, исполните ее волю.

Отец Энхен все еще был в нерешимости. Однажды бедная девушка сидела на скамье и вязала чулок; вдруг побледнела и вскрикнула: — Черный, черный! Вот он! Он идет ко мне, он протягивает руки, он жмет мои плечи холодными пальцами, он грозит задушить меня,— вот он! вот он! — «Где? где?» — спрашивали окружающие.— Здесь! здесь! — отвечала Энхен, показывая на сердце; лицо ее подернулось страшными судорогами, глаза помутились, приняли какое-то зверское выражение, и в одно мгновение Энхен заговорила грубым мужским голосом.— Что вам надобно от меня? — вскричала она громко,— что вы пристаете ко мне? Думаете меня выгнать? Ничего не бывало! Я у вас не в гостях, я здесь начальник — я приор.

Слушайтесь меня: здесь под домом... А! опять эта негодная женщина,— опять надоедает мне,— не пойду,— не выйду — ни за что...

Затем последовали ужаснейшие проклятия, которые, казалось, не могли и на ум войти бедной девушке.

Судороги усилились; Энхен упала без чувств; призвали доктора,— тщетно, никакие медицинские пособия не помогали. Через несколько минут она очнулась сама собою, и хоть была еще слаба, но чувствовала себя совершенно здоровою. Она не помнила ни слов, произнесенных ею во время припадка, ни вопросов, которые ей делали; но рассказывала только, что видела, как черный с ужасным видом приблизился к ней, как оперся на ее плечи холодными как лед руками и вскочил прямо в ее сердце. Она чувствовала, как терзало ее присутствие этого незваного гостя; хотела жаловаться, но не могла: черный вполне распоряжался ее мыслями и речами. Через несколько времени Энхен увидела свою знакомку в сером платье, увидела, как она также приблизилась и также вошла в правую сторону ее груди. Тут между обоими привидениями начался, по словам Энхен, спор, которого она понять не могла, ибо они говорили на неизвестном ей языке, после чего она видела, как черный, проклиная все на свете, вышел из ее тела, слышала, как серая женщина повторяла: «Сломать дом! Сломать дом!» и наконец Энхен утверждала, что она как бы проснулась.

Такая сцена была не последняя; несколько раз Энхен рассказывала снова о появлении то черного, то серого привидения, снова чувствовала прикосновение холодных пальцев, снова заговаривала грубым мужским голосом и впадала в беспамятство.

Тысячи людей собирались смотреть на это дивное явление; присутствие некоторых людей раздражало черного, говорившего устами бедной крестьянки; других он принимал ласково; над иными он насмехался и рассказывал всю их жизнь с самого рождения, открывал такие тайные их действия, которые приводили в ужас слушателей, тем более что между любопытными находились люди, приехавшие издалека, о которых Энхен в своем обыкновенном состоянии не могла иметь никакого понятия.

Выходя из беспамятства, Энхен плакала горько и жаловалась, что у ней, верно, падучая болезнь. Отец был в совершенном отчаянии; лекарства не помогали, и он решился наконец исполнить странное приказание серой женщины: перевез больную на другую квартиру и приступил к сломке дома. Доктор присоветовал скрыть на время

бедную девушку от любопытных, которые своими расспросами, казалось, еще увеличивали ее терзания.

В новом жилище припадки больной продолжались, но с меньшею силою. Замечали, что во время беспамятства лицо ее склонялось то на правую, то на левую сторону, принимало то зверское, то добродушное выражение и наконец совсем склонялось на правую сторону: — это был признак, что припадок оканчивался.

Однажды Энхен сказала: «Сегодня поутру, когда я лежала одна в постели, моя добрая знакомка явилась мне; но она уже была не в сером платье, но под белым длинным покрывалом, которое так сильно блистало, что я не могла смотреть на нее. Она, казалось, была очень весела; велела мне благодарить отца за то, что он исполняет ее просьбу, и потом прибавила: «Теперь я могу тебе рассказать многое. Четыреста лет тому, как мне было еще двадцать четыре года, черный уговорил меня уйти из моего дома; он переодел меня в мужское платье и привел меня в свой дом, на самое то место, где теперь находится ваш дом. Я любила его! Когда родился наш первый ребенок, черный тотчас убил его, чтоб его крик не обнаружил нашей преступной тайны; труп был закладен в стену. О! Ужасна была для меня эта минута! Но любовь моя была еще во всем разгаре,— я все простила и снова бросилась в его объятия. Родился другой ребенок; он убил и его; это было слишком; я пришла в отчаяние; мои рыдания надоели жестокому,— он убил и меня! Труп мой также закладен в стене. Несколько лет еще он предавался всем возможным преступлениям и однажды, в минуту бешенства, сделался самоубийцею. С тех пор тень моя бродит за его тенью: мой прах и прах детей моих связывают нас неразрывными узами; ты одна можешь разорвать их, и теперь лишь наступило для того время. Вооружись твердостью, перенеси еще несколько страданий — они не продолжатся долго; этой ценою ты купишь мое избавление!»

Сказав это, белое привидение протянуло руку к девушке. Энхен, пораженная сим явлением, не осмелилась подать ему свою руку иначе, как обернув ее платком; когда рука привидения коснулась платка, платок затлелся, но без всякого дыма. Энхен показывала этот платок родным и знакомым: на нем явственно прогорелыми местами означились ладонь и пять пальцев.

Приступили к сломке дома. Энхен была спокойна и здорова, как вдруг вскричала с ужасом: «Опять, опять черный! Вот он подходит ко мне, послушайте, что говорит он; он бранит меня, он насмехается над *нею* (так называла

она белое привидение), зачем она рассказала мне его тайны... О, страх! Он говорит, что опять войдет в меня и что хоть это будет в последний раз, но что он будет долго меня мучить». И Энхен замолкла, побледнела; лицо ее приняло зверское выражение, глаза плотно сомкнулись; когда силою поднимали ее веки, зрачка не было видно; пульс не переменялся, а между тем вся левая сторона была холодна как лед. В ту же минуту она заговорила голосом черного; жестоко он насмехался над всеми окружающими: «Ну, что?—говорил он устами Энхен,— вы узнали все мои проказы? Ну да, я был злодей, так что ж за беда? Что же мне делать? Отец мой был человек богатый; он немножко разбойничал по дорогам, а с ним и я, да еще двое моих старших братьев. У нас был славный замок в Гейслингене, на час пути от Орлаха. Жили мы весело, и к этой веселой, разгульной жизни я очень привык; отец мой умер; старшему брату достался замок, а я пошел ни с чем. Не отвыкать же мне было от моей прежней жизни: вы бы то же сделали на моем месте, не правда ли? Я не забывал красавиц, и они меня не забывали; я их переодевал в мужское платье, и они преспокойно поживали со мной; да та была беда, что завелись у них дети: не нянчить же мне их было! На беду, между красавицами попадись вот и эта белая барыня, которая повадилась сюда ходить непрошеная; когда я избавил ее и себя от ребят, она и вздумала донести на меня через одного прислужника,—вот этого она не рассказывает. Нарядили суд; беда бы мне была, да и только, но хорошо, что я спохватился да отправил ее в то же укромное место, куда и ребят ее спровадил: искали, искали, ничего не нашли,—так дело и кончилось. Только после уж мне трудно было приводить к себе красавиц: за мною присматривали. Скучно мне показалось на свете жить, подумал: дерево срубят, оно так и лежит—и с человеком то же бывает; подумал, да и перерезал себе горло. Правда, вижу теперь, что не то: нет мне покоя ни на минуту, да зато и другим не даю покоя: брожу, брожу,—замечу, у кого дверь отворена, и вскочу в нее,—ведь нашему брату куда хорошо приютиться в человеке, и не холодно и не жарко; в ином так весело, что живешь в нем целую жизнь, да и знака не покажешь; живешь смирно целые годы—никто не заметит; умираете вы только скоро, негодные,—то и дело переменяй квартиру. Хотел было я приютиться в этой глупой девчонке, сам не знаю, как забрел к ней, да, вишь, нашла себе покровительницу... Только что сердят да выживают меня,—зато от меня и достается!»

С каждым из сих слов страдания бедной Энхен увеличивались; она металась во все стороны,— шесть человек присутствующих не могли держать ее; страшные судороги сводили ее члены; из уст ее вырывались то самые ужасные проклятия, то насмешки.

Между тем дом сламывался; под фундаментом его нашли своды совсем другой постройки, по-видимому, принадлежавшие весьма давнему времени. В этих сводах открылось место, которого известка явственно отличалась от находимой в других частях строения. Едва ударили в это место киркою, как из него посыпались человеческие кости. В ту же самую минуту Энхен, находившаяся в другом доме и, разумеется, не могшая знать о случившемся во время сломки, вдруг пришла в себя, почувствовала себя совершенно здоровою, и с тех пор припадки ее не возвращались. Свидетелями этой сцены были несколько врачей и многие другие известные в Германии люди.

Вот вам моя история. Из нее вы, княгиня, можете вывести, в виде нравоучения, что бывают случаи, когда действительно говорим не мы, а кто-то другой говорит за нас...

Рассказчик умолк.— Было уже за полночь. Потому ли, что в эти часы воображение всякого человека бывает более или менее наклонно к чудесному, оттого ли, что граф говорил красноречиво — но насмешек не было, а все как-то невольно призадумались.

— Позвольте, однако же, заметить,— сказал Звенский, молодой племянник княгини, только что вышедший из университета и который слушал рассказчика с большим вниманием,— позвольте заметить, что это происшествие ничего не доказывает в пользу вашего мнения и что все, вами рассказанное, очень хорошо может быть объяснено известными законами природы. У бедной Энхен действительно была падучая болезнь; а известно, что в этой болезни после самого ужасного припадка человек чувствует себя совершенно здоровым и не помнит ничего, что с ним было. Рассказы Энхен, видимо, почерпнуты из немецких сказок, в которых белые и черные привидения играют большую роль; что же касается до того, что ее припадки прекратились в ту самую минуту, когда найдены были кости, то это не иное что, как случайность, которая могла быть и не быть.

— Так,— отвечал граф Валкирин,— но вот в чем дело, не только Энхен, но даже и терпеливые немецкие ученые не подозревали существования замка, о котором говорила

Энхен. Ее слова расшевелили всех антиквариев; пошли толки в журналах, начали рыться в архивах и между кипами старых бумаг, в которые сотни лет никто не заглядывал, отыскали подлинное дело о следствии, произведенном за четыреста лет над злодеем, жившим, как видно было по документам, на самом том месте, где потом был построен дом Громбаха, отца Энхен. Другие документы обозначали то место, где находился гейслингенский замок, которого развалины до сих пор могут видеть путешественники и которого существования также никто не подозревал до той минуты.

— Вы знаете,— отвечал молодой человек,— что во всех историях такого рода многое должно быть исследовано с большою тщательностью, как юридический процесс; но позвольте заметить и то, что все подобные происшествия перестают быть чудесными с тех пор, как нам стал известен магнетизм...

— Известен? — повторил граф с едва заметною, но горькою улыбкою.— Берегитесь, молодой человек, чтоб он в самом деле не сделался вам вполне известен!..— прибавил граф таким выразительным тоном, что молодой человек не нашелся, что отвечать, а только посмотрел на графа с удивлением и любопытством.

Разговор кончился, гости стали расходиться. На лестнице дипломат очень остроумно на ухо дамам подшучивал над рассказчиком, а сам думал про себя по-французски: «Право, недурное средство; этого молодца все слушали, а мне не удалось вымолвить ни слова; оставалось только глотать свой язык; а недурное средство — надобно испытать его! Необходимо прочесть что-нибудь об этих бреднях; Европа уж так сделалась известна всякому встречному и поперечному, так избита, что говорить о ней становится делом дурного тона. Нечего делать, надобно будет приняться за бесовщину, а потом... потом перещеголять этого молодца... Можно найти что-нибудь и пострашнее его рассказа...»

Сии размышления были прерваны криком швейцара, который провозглашал исковерканную фамилию нашего дипломата...

САЛАМАНДРА

I

ЮЖНЫЙ БЕРЕГ ФИНЛЯНДИИ В НАЧАЛЕ XVIII СТОЛЕТИЯ[1]

Посв. графине Эмилии К-е Мусиной-Пушкиной

«Гина, прибрось еще дров в печку. Даром что лето, а тепла еще нет, или уж я от старости тепла не чую». Гина встала, бросила в очаг несколько сосновых поленьев; сильно запылала смолистая кора и обдала всю хижину живым, веселым светом; старушка вздохнула.

---

[1] В сей повести читатели найдут опыт рассказа, основанного большею частию на финских поверьях. Гроту, переводчику тегнеровой «Саги о Фритиофе», с такою пользою посвятившему труды свои Финляндии, мы обязаны нежданным и в высшей степени любопытным открытием драгоценных подробностей о характере и преданиях финнов, столь разительно отличающихся от преданий всех других народов (см. «Современник» 1839—1840). О финнах нельзя судить, не проникнувши внутрь их страны и не познакомясь с их семейным бытом. Врожденная страсть к чудесному соединяется в них с сильным поэтическим элементом и с полудикою привязанностью к своей земле. Вообще финны добры, терпеливы, покорны властям, привязаны к своим обязанностям, но недоверчивы и столько хитры, что, увидев незнакомца, до случая умеют притворяться, будто его не понимают; однажды раздраженные, они не знают пределов своей мстительности. Они живут не в селениях, но уединенно в хижинах, разбросанных между гранитных скал; редко сообщаются не только с другими людьми, но и между собою; оттого известия о всем происходящем в мире до них доходят в виде искаженных слухов; в каждой хижине этот слух дополняется каким-либо чудесным рассказом (ибо финны большие рассказчики), и так мало-помалу происшествие, вчера случившееся, у них обращается в баснословное предание: явление любопытное, объясняющее до некоторой степени, каким образом образовались древние мифы. Вообще финнов можно назвать народом древности, перенесенным в нашу эпоху. Ленрот,

— Вот,— сказала она,— когда был у нас Павали, не носила я дров; а теперь уж и дрова на исходе, кто-то их нам перетащит в избу?

И старушка пригорюнилась.

— Ничего, еще придет, натаскает дров и лучины наколет к рождеству,— произнес старик нетвердым голосом, как бы сам не доверяя словам своим.

И она замолкла. Между тем из-за кучи хвороста вышел мальчик лет 12-ти, приемыш бедного финна, и весело тащил за собою маленькую Эльсу, внучку стариков. Но Эльса не хотела идти к печке и вырывалась у него из рук; Якко дразнил ее и громко смеялся, но увидя печальный вид старика, примолкнул и спокойно уселся на полу против огня.

Избушка, в которой происходила эта небольшая сцена, была построена на самом берегу Вуоксы. Теперь берега Вуоксы выглажены, разряжены, по скалам тянется ровная дорожка с перилами; беседки в безвкусном английском роде, хорошо выбеленные, ожидают праздных путешественников; но и теперь, как прежде, ужас находит на человека, когда он осмеливается заглянуть в страшную клокочущую бездну. Река Вуокса тиха и спокойна в своем течении; но беспрестанно скалы то ложатся поперек ее, то сжимают ее узкими берегами, и река кипит, бурлит, рвется к родному морю, ползет на утесы, бросает в воздух глыбами белой пены, подмывает огромные сосны; сосны падают в пучину, чрез минуту за версту от порога Вуокса прибивает к берегу дребезги огромного дерева — и снова течет тихо и спокойно. Она похожа на доброго человека, которого судьба раздражает на каждом шагу жизни: гневно и сильно борется он с судьбою, но после борьбы все затихает в душе его, и снова светится в ней ясное солнце.

отличный финский поэт, бродя по всем краям своей отчизны, собрал народные песни, никем до того не записанные; пересматривая их, он заметил между ними некоторую связь; при дальнейшем исследовании Ленрот открыл, что эти народные песни суть части целой стройной поэмы, и тем доставил новое доказательство для последователей Вольфовых мнений о происхождении «Илиады». Предания о происшествиях времен Петра и Карла XII еще живы в памяти финнов, но превратились в баснословное предание. Жизнь, близкая к природе, научила их знать свойства трав и кореньев; им известны даже таинства животного магнетизма; все это играет у них роль колдовства: послушайте рассказы о нем русских крестьян, поселившихся в Финляндии. Из письма финского крестьянина к императору Александру (Грот — в «Современнике») можно видеть, как охотно финны любят рассуждать обо всем, о чем только узнают, и с какой точки зрения смотрят они на предметы. Вообще быт, предания, поверья сего народа в высшей степени заслуживают внимания и суть неоцененное сокровище для литературных произведений. (*Примеч. В. Ф. Одоевского.*)

За 130 лет на Иматре не было ни дорожек, ни беседок; праздные петербургские пришельцы не обращали себе в забаву грозной силы природы; она была во всем своем девственном величии; но и тогда, как теперь, между порогов скользила ладья рыболова; отважный, он вверялся родной реке и спокойно закидывал сети между клокочущими безднами. На берегу к двум утесам была прислонена финская избушка; между каменьями, подернутыми желтым мохом, пробирались корни деревьев, а ветви их сплетались над кровлею, усаженною зеленым дерном; избушка была темна; четвероугольная печь с вечно пылающими дровами, несколько обрубков сосен, куча хвороста, служившая постелью, на стене кантела, народный финский инструмент, похожий на лежачую арфу с волосяными струнами,—вот все, чем украшалось бедное жилище рыболова.

Ветер свистал в волоковое окно, некрепко припертое, иногда пробегал по струнам кантелы, и струны печально, нестройно звучали; когда утихал ветер, тогда слышался гул порогов; тряслись стены старой избушки, дверь, скрипя, поворачивалась на вереях; искры сыпались из печи, дым облаком выносило из устья; по временам сильный порывистый дождь прорывался сквозь кровлю и брызгами обдавал жителей, но они, казалось, привыкли ко всему этому и не обращали ни на что внимания.

Так протекло довольно долгое время в совершенном молчании; лишь изредка Якко поворачивал глаза к старику, как будто хотел о чем-то спросить его, но боялся, или беззаботно бросал свежие ветки сосны в огонь и с детским любопытством смотрел, как мало-помалу в золотистых искрах истлевали зеленые смолистые иглы. Наконец Гина встала, достала с шеста несколько кружков древесной коры, подбеленных мукою, сняла с печки деревянную чашу с кислым молоком, и вся семья принялась за скудный ужин. Одна Эльса, получив свою долю, ушла снова за хворост.

В эту минуту Якко, поглядев пристально на старика, сказал: «Давно я хотел спросить тебя, дедушка, куда ушел наш Павали?»

— Куда,—отвечал старик,—разве ты не видел, как его солдаты увели?

— Да куда ж они его увели?

— Куда? на войну с вейнелейсами[1].

— А что такое война, дедушка?

---

[1] Так финны в стариу называли русских. (*Примеч. В. Ф. Одоевского.*)

— А вот видишь, Якко, с одной стороны приходят рутцы[1], а с другой вейнелейсы, и спорят о том, кому достанется наша земля.

— Да нам-то что́ до этого за дело?—заметила Гина.— Пусть бы дрались между собою, а нас бы не обижали; ну, зачем они увели нашего Павали? На что он им?

— Да вишь, им нужны проводники дорогу показывать.

— Дорогу показывать?—сказала Гина.—Да что́ нам до этого? Как нам жить без Павали? И дров наносить некому, и коры некому намолоть.

— А вот придет,—повторил старик неверным голосом.

Якко обратил снова к старику свои быстрые, вопрошающие глаза.

— Помнишь, дедушка, об рождестве, ты, подыгрывая на кантеле, распевал нам об нашей земле и о том, как о ней спорят калевы с пахиолами; это они-то и есть, что теперь спорят? Я тогда не понял всего; расскажи-ка еще, дедушка.

— Нет! То было в старину, а то теперь,—отвечал старик вздохнувши.

— Да на что им наша земля?—сказала Гина.—Разве нет у них своей?

Старик не отвечал, печально наклонил голову, седые локоны нависли на его бледные морщины, он сложил руки на коленях и, качая головою, стал говорить, как будто самому себе:

ФИНСКАЯ ЛЕГЕНДА

Нет на свете земли краше нашей Суомии; у нас и море широкое, и озера глубокие, и сосны вечнозеленые; и в других землях также есть солнце, да оно покажется, посветит и спрячется, как у нас зимой. А наше солнце полгода отдыхает, зато полгода светит, и на полях наших едва уляжется роса вечерняя, как поднимается роса утренняя. Но в старину было еще лучше: было у нас чудное сокровище Сампо, пестрое, из разноцветных каменьев, и с такою крышей, что теперь всем ковачам не сковать. Тогда-то был рай земной в Суомии; ничего люди не делали, все делало Сампо: и дрова носило, и дома строило, и кору на хлеб мололо, и молоко доило, и струны на кантелу навязывало, и песни пело, а люди только лежали перед огнем, да с боку на бок поворачива-

[1] Старинное название шведов в Финляндии. (*Примеч. В. Ф. Одоевского.*)

лись; всего было в изобилии; но когда Вейнемейнен[1] рассердился на нас, Сампо ушло в землю и заплыло камнем, а на земле осталась только кантела. Тогда лю́ди были не такие, как теперь, а великорослые, сильные. Они хотели разбить камень, трудились долго, но не дошли до Сампо, а только навалили груды каменьев на нашу землю. С тех пор проведали и другие люди, что в нашей земле есть такое сокровище; сперва рутцы, а потом и вейнелейсы; вот они и спорят с тех пор, кому достанется Сампо. У народа рутцы есть король, а у вейнелейсов царь. Оба они великие тиетаи[2]. Они ведают, как добыть сокровище из земли, но один другому уступить его не хочет. Давно уж они готовились завладеть им. Уж чего не знает наш тиетай Кукари? Он видит все, из чего что произошло, откуда и железо, и бурелом, и все силы земные, но перед царем и королем меркнет и его ум чудодейный. Царь, видно, сильнее короля, ибо знает, как он родился. Едва вышел король из материнского чрева, как топнул ногою об землю и сказал: что Юмала дал, того у меня Пергола не отнимет. И пошел он по земле с железным мечом; куда ни придет, махнет мечом, все люди вокруг него умирают; и такова его мудрость, что никто еще не видал, чтоб он ел или пил, а спит он одним только глазом, другим же все смотрит и в небо, и в землю, и все видит, чтó и как от чего происходит; одного только не видал он, как произошел царь вейнелейсов. Говорят, что вышел он прямо из моря. Была сильная буря, волны землю подмывали, корабли тонули, скалы с берегов падали в море. Король сидел на берегу, помахивал железным мечом и приказывал скалам подыматься из моря, но скалы не слушались; король рассердился, море пуще взбушевало; как вдруг расступилось, и из воды вышел царь вейнелейсов; одною рукою он приподнял скалы, а другою повел вокруг себя и сказал: все мое, что ни вижу. Король и пуще рассердился и бросил в царя железом; царь отвечал ему тем же. Тогда король бросил в него серою и селитрою. У царя же не было ни серы, ни селитры. Бой стал неровный. Царь собрал своих вейнелейсов и стал с ними ходить по белому свету; перешел он и за полудесятое море, там где небо к земле прислонилось. Придет в одно место, ударит железом по земле, скажет: копайте, и из земли выйдет железо. В другом месте ударит, выйдут из земли сера и селитра; в третьем — разные сокровища. Но все он не дорылся до Сампо, потому что Сампо только в нашей Суомии. Что ни

---

[1] Род финского Аполлона. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*
[2] Мудрецы, маги. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

собрал царь, все принес в свою землю. Но он так долго ходил по белому свету, что на его земле все люди постарели, у всех отросли длинные бороды. Царь рассердился. «Хочу,— сказал он вейнелейсам,— чтоб все помолодели, потому что нужны мне люди молодые и сильные». И такова была его мудрость, что от одного его слова все вейнелейсы помолодели: сделались они здоровы и сильны, и бороды у них отпали. Тогда царь велел вейнелейсам ковать оружие против врага своего, короля рутцов. Три дня усердно помогают царю рабы, на плечах у них пыль в сажень толщиной, на голове сажа в аршин, на всем теле густой слой копоти. Но про то узнала сестра царева. Приходит, смотрит и молвит: «много ты, братец, навел ковачей из-за полудесятого моря; вели мне сковать царское ожерелье, чтоб все почитали меня царицей; да вели мне выковать месяц из серебра и солнце из золота, чтоб они ходили вокруг меня и днем и ночью светили. Не выкуешь, братец, злые слова пошлю на тебя». Рассердился царь, услышав такие речи. «Нет царя,— сказал он,— кроме меня; есть у меня царское ожерелье, да не для тебя; есть месяц и солнце, да не тебе они светят». Царская сестра пригорюнилась и с досады стала гребнем чесать свои черные волосы; волосы падали на землю, и от каждого выросло ядовитое зелье. Потом разломала она свой гребень на части, и из каждого зубца вышел великан с луком и стрелами. Узнал об этом и король рутцов, и Турка, вечный враг всех христиан. И сошлись они вместе и напали на мудрого ковача. Увидевши это, ковач ударил молотом по наковальне, и от одного стука рассыпались в прах великаны; он ударил в другой раз — от наковальни отскочили куски железа и засыпали Турку; ковач ударил в третий раз — от наковальни брызнули искры, зажгли серу и селитру и опалили короля рутцов. Король бросился в море, чтоб затушить огонь; царь за ним,— приходит к морю, а король уже за морем; царь гнаться — смотрит, нет корабля, вокруг него только песок морской, да голые камни, да топь, да болота. Царь собрал своих вейнелейсов и говорит им: «Постройте мне город, где бы мне жить было можно, пока я корабль построю».— И стали строить город, но что положат камень, то всосет болото; много уже камней навалили, скалу на скалу, бревно на бревно, но болото все в себя принимает и наверху земли одна топь остается. Между тем царь сострoил корабль, оглянулся: смотрит, нет еще его города. «Ничего вы не умеете делать»,— сказал он своим людям и с сим словом начал поднимать скалу за скалою и ковать на воздухе. Так выстроил он целый город и опустил его на землю. Между

тем король, на другом берегу, ходит и думает: что такое царь затевает. Встречает его месяц. Король кланяется месяцу: «Ах, месяц божий, не видал ли ты, что делает царь вейнелейсов?» Но месяц ему не отвечает. Короля встречает солнце; он кланяется солнцу: «Ах, солнце божие, не видало ли ты, что́ делает царь вейнелейсов?» Но и солнце ему не отвечает. Король встречает море, он кланяется морю: «Ах, море божие, не видало ли ты, что делает царь вейнелейсов». Море, наконец, ему отвечало: «Знаю, что он делает, он землю сушит, волны гонит в мое сердце; тесно мне становится в моих берегах, как тебе, королю, в твоем королевстве».— Нападем же на него,— сказал король,— авось либо просторнее будет нам на белом свете.— И согласились они, и пошли на царя войною. Король приготовил серу и раскаленные уголья, а море взбушевало, вылилось из берегов и всползло на кровли нового города. Царь отдыхал тогда после дневной работы, проснулся, видит: хочет море залить его! Сильно ударил он жезлом по морю, и море смутилось, быстро потекло в берега и только в страхе обмывало царские ноги. «Неси мои корабли!»— вскричал царь грозным голосом, и море приняло их на свои влажные плечи. «Застынь»,— сказал царь, и море подернулось льдом серебристым. «Дуй, буря, в мои паруса»,— сказал царь, и корабли покатились по скользкому льду. Король между тем, видя, что море застыло, смотрит и радуется. «Победило море,— говорит,— и затянуло вейнелейсов под своей льдиной». Еще смотрит он, чернеет что-то по белому снегу, ближе... ближе... горе!.. то летят корабли вейнелейсов; тщетно заклинает их король, тщетно обсыпает красным угольем, с кораблей дышит бурный ветер, свивает в облако горючую серу и палит короля и всю землю рутцийскую. Испугался король и побежал к Турку просить подмоги. Но такова его мудрость, что он и у Турка за морями, и у нас на берегу в одно время. Чем-то кончится эта кровавая битва? Кому достанется земля наша? Кому достанется наше сокровище Сампо?»

Старик умолк, старуха давно уж дремала, Эльса изредка выглядывала из-за хвороста и опять пряталась. Лишь Якко, устремив блистающие глаза на старика, казалось, боялся проронить слово.

Старик не обращал внимания на своих слушателей; его речь овладела им совершенно; слова невольно лились одно за другим; он сам с любопытством слушал рассказ свой и боялся прервать его.

— Кукари говорил мне,— продолжал он после некоторого молчания,— что с некоторого времени ему чудятся

странные сны: видит он, как поднимаются с суомийских берегов огромные скалы, переплывают под ноги царя вейнелейсов, и все он поднимается выше и выше, и на громаду скал взбегают суомийцы, и царь вейнелейсов прикрывает их своей огромною рукою. То чудится ему, что на береге моря скалы разрываются с треском, а из них выходит огромный блестящий город; там собираются тиетаи со всех сторон света и громким голосом ведут мудрые речи со всеми людьми суомийскими. И над городом опять царь вейнелейсов в золотом венце; его носят облака небесные, с венца его на Суомию падают златистые искры и светят, как тысяча солнц. Чудно! Чудно!!

Старик призадумался. Все затихло в бедной избушке, лишь ветер свистел в волоковое окошко и печально пробегал по струнам кантелы; шумели пороги, дождь прорывался сквозь кровлю; длинные тени от очага то являлись, то исчезали по закопченным бревнам избушки.

Вдруг Гина вздрогнула: «Что это? Гром?» — вскричала она.

В самом деле, средь гула порогов послышались громовые раскаты; еще, еще — наконец удар следовал за ударом.

— Нет, Гина, — сказал старик, прислушавшись, — это не гром, это пушки. Гина, война и до нас дошла.

— Где-то теперь наш Павали? Как стоит он под пушкой, ведь убьет его.

Старик молчал и не мог скрыть своего беспокойства.

— Вот еще, еще... слышишь, муж... ах, скажи мне, где наш Павали?

Старик молчал; седые его волосы рассыпались по бледным морщинам, глаза не двигались; что-то мрачное в них отражалось.

Гина зарыдала.

— Слушай, Руси, — сказала она, — я ведь знаю, ты сам тиетай, ты с живой руки можешь видеть сам все, что хочешь...

Старик сердито посмотрел на Гину.

— Не сердись на меня, я твоя верная, покорная жена; я сорок лет знала твою тайну и никогда даже тебе не говорила об этом... Но теперь — чего тебе стоит? Узнай, узнай, где наш Павали... ты сам будешь спокойнее...

Старик встал и стал ходить по избушке, качая головой с видом нерешимости. Между тем пушечные выстрелы становились чаще и чаще и, казалось, приближались. Гина вскрикивала при каждом ударе и дрожала всем телом.

После некоторого времени старик откинул свои седые локоны и сказал: «Быть так! Полно плакать, может, узнаем, где наш Павали. Ну, да полно же плакать, говорят тебе!»

Старуха в минуту затихла и только смотрела на вещуна умоляющими глазами.

Старик продолжал: «Только смотри же, Гина, ступай на печь и не смей оборачиваться, а не то и тебе, и мне худо будет. Якко, ступай в хворост, зажмурь глаза и лежи смирно, пока я не позову тебя».

Все немедленно было исполнено по приказанию старика. Тогда он призадумался, повел по лицу рукою и сказал мрачным голосом: «Эльса, поди сюда».

Эльса упрямилась и не хотела идти из-под хвороста. Старик повторил свое приказание, и Эльса выползла из-под хвороста, приблизилась к старику, но жалась к стене и трепетала.

Почти силою старик подвел ее к огню и посадил на обрубок. Едва лицо бедного дитяти стало краснеть от действия жара, как она еще более задрожала, все ее тело пришло в судорожное движение. Старик взял ее за голову и придерживал крепко, чтоб лицо бедной малютки не отворачивалось от очага.

Через несколько времени он сказал ей тихим, но сердитым голосом: «Смотри, где твой отец». Судорожное движение дитяти увеличилось; бедная Эльса билась, чтоб вырваться из рук старика, но тщетно; его железные руки приковывали ее к обрубку.

— Смотри же, где твой отец? — повторил старик еще более гневным голосом.

Эльса затрепетала сильнее, но пристально устремила глаза свои в очаг.

— Вижу, — наконец сказала она прерывающимся голосом, — вижу отца... он сидит на камне... возле него дерево... нет, не дерево... возле него человек... солдат... он что-то говорит отцу... но я не могу расслушать...

— Слушай, — сказал грозно старик.

— Солдат говорит отцу, чтоб он отдал ему свое платье... отец не дает... они горячо спорят... ах, он замахивается на отца... отец ударил солдата... ах, солдат стреляет... отец падает... ах, отец умер...

Старик отскочил от нее при этих словах. Гина вскрикнула на печке... Эльса зарыдала, старик наклонил голову в ужасе и шепотом проговорил: «Вот мое наказание...» Якко дрожал под хворостом...

Чрез несколько времени послышался лошадиный топот... жители избушки вздрогнули... онемение прошло...

вот как будто что-то ударилось о землю; скоро дверь со стуком отворилась, и вбежал человек в финском платье, с мушкетоном в руке, облитый дождем, забрызганный кровью и грязью.

— Лодку! Лодку! — вскричал он на шведском языке, — скорее лодку.

Старик посмотрел на него и очень холодно произнес: än mujsta[1]

— Слышишь ли, что́ я говорю, — вскричал швед с гневом, — проклятая лошадь у меня пала... лодку!.. Сию минуту вези меня на другой берег.

Старик, хладнокровно поворотя голову, по-прежнему хотел выговорить свое: än mujsta, но Гина вдруг бросилась на пришельца: «Это платье Павали, ты снял его с Павали? Ты убил Павали? Где он, где он?»

Швед не понимал слов Гины и с гневом оторвался от нее: «Что за толки! Говорят вам: лодку, мне нельзя терять времени; я с важным донесением... Выборг взят русскими... слышите, понимаете... лодку... лодку, или убью».

Старик посмотрел на шведа с мрачным видом и, не двигаясь с места, опять проговорил: än mujsta.

Тогда швед потерял терпение: «Коли не понимаешь, — вскричал он, — так я тебе иначе покажу, чего мне надо...»

С сим словом он схватил старика за длинные волосы и потащил из избы. Гина впилась в шведа: «Ты убил моего сына, ты хочешь убить и мужа!» — кричала она, заслоняя двери и силясь помочь своему мужу. Раздраженный швед толкнул Гину так сильно, что она головою ударилась об окраину двери — Гина и не вскрикнула... Старик хотел схватиться за нее, но швед не дал ему времени и сильною рукою повлек его на берег...

На дворе прояснилось; ветер разрывал облака, и они как дым неслись по белому небу; дерева пригибало к земле, пена порогов, усиленная бурею, с ужасным ревом разбивалась о гранитные камни; первые лучи зари отражались на серых волнах кровавыми пятнами...

— Где переправа? — кричал швед, тряся старика из всей силы...

Кажется, на этот раз старик понял, он не отвечал ничего, но пошел прямо к лодке, привязанной между соснами, растущими по верховью над главным порогом.

— А! Понял наконец, — сказал швед с радостью, — вези скорее.

---

[1] Не понимаю — обыкновенная фраза хитрого финна. (*Примеч. В. Ф. Одоевского.*)

Старый финн отвязал лодку и хотел было уступить место шведу, но швед проник его намерение.

— Нет! — сказал он, — ведь вы народ хитрый, — пустишь меня, да сам уйдешь; ступай-ка вперед!

С сими словами он втолкнул старика в лодку, — старик повиновался. Привычными руками взялся он за весло, — видно было, что ему не впервые проводить свою лодку между опасными порогами... Изредка он посматривал на шведа, но в лице финна не было видно никакого чувства... На средине реки — швед вздрогнул. «Правее! Правее, — вскричал он, — нас несет к порогу».

— Än mujsta, — отвечал финн, злобно улыбаясь...

«Правее! говорю тебе, — или...» С сими словами швед взялся за мушкетон — но было уже поздно: лодку быстро втянуло в белую пену, — едва раздался из волн сильный хохот старика, крик шведа... Мелькнуло что-то черное посреди клубов пены — и все исчезло навеки: и финн, и швед, и лодка.

Никто не был свидетелем этой сцены, кроме Якко, который в испуге бежал за стариком и при страшном зрелище окаменел на берегу.

В эту минуту несколько всадников в зеленых мундирах скакали на берегу... Вдруг конь передового поднялся на дыбы.

— Смотрите! — вскричал всадник по-русски, — здесь пала шведская лошадь, он должен быть здесь недалеко!

С сими словами начальник русского отряда быстро соскочил с лошади, за ним последовали другие, и все вместе вбежали в избушку; на пороге лежала убитая Гина; огонь на очаге потух; они не заметили Эльсы, которая еще не могла прийти в себя под кучей хвороста.

— Видно, что здесь был швед нерубленый, — сказал начальник отряда, — куда же он девался? Верно переплыл через реку; беда, если его не захватим.

Быстро выбежали русские на берег и встретили бедного Якко.

— Где гонец шведский? — спрашивали русские.

Якко в самом деле не понимал их, но догадываясь, показывал рукою вниз по течению Вуоксы.

— Он должен быть недалеко, — сказал начальник, — на коней, живей!

С сими словами начальник вскочил на коня, посадил поперек седла бедного Якко, и весь отряд поскакал по берегу. Так проскакали они добрую версту; там, где кипение порога прекращается, Якко замахал рукою, русские соскочили с коней к берегу и увидели, как волна

прибивала дребезги лодки, обезображенные трупы старого рыболова и шведа в финской одежде.

— Не переплыл, голубчик,— вскричал начальник,— туда ему и дорога. Теперь марш назад, а не то шведы захватят. Ты, малый, будешь нам служить провожатым — и отряд помчался во всю лошадиную прыть.

Так неслись они около десятка верст; Якко не помнил самого себя: быстрое движение коня отбило у него и последнюю память.

Вдруг в лесу послышались ружейные выстрелы; русский начальник остановил свой отряд и стал прислушиваться.

Из лесу показалась толпа шведов. Увидев русских, они хладнокровно построились в боевой порядок и дали по отряду залп из ружей; но кажется, не разочли расстояния: только немногие из русских лошадей были ранены; между ними была, однако же, и лошадь начальника отряда; он спустил Якко на землю и, вскрикнув: «Ребята, за мною!» с палашом в руке бросился на шведов. Шведы не успели дать второго залпа; русский отряд расстроил ряды их, смял их лошадьми и рубил палашами. Шведы оборонялись храбро штыками; большая часть лошадей русских были ранены; почти весь отряд спешился, быстро стал в боевой порядок и, как новое свежее войско, пошел на израненных, смутившихся шведов; бой стал вполне рукопашный; штыки изломались; шведы бились прикладами, русские палашами. Преследуемый двумя шведскими фузильерами, начальник русского отряда, прислонившись к утесу, отважно отбивался от них надломленным палашом. Товарищи его были далеко, гибель казалась неизбежна. Уже русский творил молитву на смертный час, как вдруг один из его противников, пораженный сзади, упал на землю, за ним последовал и другой: тогда только русский начальник увидел пред собою маленького Якко с изломанным прикладом в руках. С сверкающими глазами, распаленный мщением, маленький финн ходил между рядами и когда замечал схватку, то поражал прикладом того, кто был в шведском мундире; он не спускал никому, ни раненым, ни убитым, и злобно ударял по головам где ни попало.

— Вот молодец,— кричали русские,— славно, славно, только лежачих не бей.

Через несколько времени разбитые шведы рассеялись снова по лесу. Начальник русского отряда, расставив несколько всадников для наблюдения, поспешил к главному русскому корпусу невдалеке от Выборга.

— Ты не расстанешься с нами, молодец,—сказал он молодому финну.

Якко не понимал ничего, глаза его горели, одно в нем было чувство: злоба на шведов; остальное все было забыто: он не знал, что́ с ним делается, и всему бессознательно покорялся. Чрез несколько верст поручик Зверев, начальник отряда, примкнул к главному русскому корпусу; уже он сбирался ехать с донесением, когда среди лагеря все пришло в движение. «Царь едет! Царь едет!» — говорили между собою солдаты.

Якко ничего не понимал, что́ вокруг него делается; он видел только, что множество людей столпилось вокруг высокого черноволосого человека, пред которым все снимали шляпы; скоро и Якко привели в ту же толпу. Поручик Зверев взял Якко за руку, а высокий черноволосый человек, пред которым все снимали шляпы, потрепал его по щеке и проговорил что-то окружающим на языке, для финна непонятном.

Якко еще смотрел на черноволосого человека, не мог отвести глаз от него, хотел ему что-то вымолвить и не мог...

Через несколько минут Якко посадили в телегу, и он помчался сам не зная куда...

Так продолжалось дня три: во время дороги провожатый Якко, израненный солдат, ласкал, холил и кормил бедного финна.

Невиданные предметы, незнакомые люди, незнакомая пища, все это поражало молодого финна и приводило его в состояние, близкое к очарованию. Наконец, миновали финские горы, пошла ровная дорога между болотами. Скоро Якко увидел дома, показавшиеся ему удивительно огромными; проехав далее, он увидел дома еще огромнее прежних, широкую реку и за рекой другой город какого-то странного вида: на стенах блещут медные пушки и ходят часовые с ружьями; огромные лодки, каких Якко еще никогда не видывал, несутся по широкой реке; наконец телега остановилась у каменного дома, проводник вышел из телеги, вытащил Якко, обессилевшего от тряской дороги, и повел его за собою, где изразцовая печь с изображением людей и разных животных вывела из бесчувствия бедного финна. Чрез минуту в комнату вошел человек пожилых лет; он долго́ говорил что-то с проводником и гладил по голове Якко. Якко, ободренный этими ласками, стал бодро ходить по комнате; всякий предмет останавливал его внимание; он ощупывал мебели, обшитые зеленою кожею, дотрагивался до стекол, которых назначения никак не мог постигнуть. Особенно поразило

его небольшое зеркало в простенке. Якко сначала обрадовался, увидев финна, но потом испугался, отбежал и спрятался в угол.

Между тем в комнату вошла женщина и за ней восьмилетняя девочка; они напомнили финну его прошедшую жизнь, напомнили ему Гину, Эльсу. В продолжение последних четырех дней Якко, пораженный всем случившимся, забыл все былое, но теперь он всплеснул руками, заплакал и стал кричать: «Эльса, Эльса!» Но никто не понимал бедного финна; его ласкали, старались утешить, но он все плакал и не ел целый день. На другое утро Якко сидел уже на корабле, вместе с другими молодыми людьми разных возрастов, и тщетно старался растолковать себе, где он и куда его везут.

Благосклонный читатель уже верно догадался, что Якко был привезен в Петербург, в новую столицу преобразователя России, только что возникшую из болот финских. В то время просветитель России дал повеление отправить в Голландию несколько молодых людей; они поручались попечению князя Куракина. Неохотно русские люди отправлялись зá море обучаться басурманским наукам. Финский сирота, обративший на себя внимание Петра, был находкою в таком случае; корабль уже был снаряжен, бедным финном заменили какого-то нижегородского недоросля, о котором горько плакалась мать.

На корабле Якко встретил старых знакомых, и именно пожилого человека, который так ласкал молодого финна; этот пожилой человек был отец поручика Зверева, секретарь и домашний человек князя Куракина; он отправлялся со всем своим семейством к князю в Голландию.

Мы не будем описывать, как полудикий финн мало-помалу обратился в образованного европейца, как он выучился иностранным языкам, как сделался отличным физиком, механиком.

Протекли одиннадцать лет, и Якко, называвшийся теперь Иваном Ивановичем Якко, жил в Голландии у старика Зверева, который любил его, как родного. Сенные девушки толковали даже, что Иван Иванович приволакивался за меньшею дочерью Зверева, Марьею Егоровною, но старик часто твердил, что Ивану Ивановичу надобно прежде всего у царя выслужиться. Наконец, настало время разлуки; Иван Иванович должен был ехать в Петербург; с тем вместе отправлялся лестный отзыв князя Куракина к монарху о нашем Якко.

Приемыш бедного рыболова едва узнал юную столицу,— так возмужала она в короткое время; берега островов застроились, лес мачт покрывал лазурную поверх-

ность Невы: и страшно, и весело было на душе финна. И теперь, как прежде, он знал о России еще по слуху; но ее величие тем сильнее поражало его. Он вспомнил свою родимую избушку, вспомнил баснословные рассказы о русском царстве и с трудом еще верил, что он посреди этого баснословного мира. Он вспомнил, ка́к в первый раз увидел монарха; действительность мешалась в душе финна с очарованием: великий вождь России представлялся ему то в виде исполина, то в виде чудного волхва, покоряющего стихии; это верование в Якко получило полную силу, когда образованный ум его находил на каждом шагу убеждение, что чудные подвиги Петра не вымысел, но действительность. Тогда разгоралась в душе Якко восторженная любовь к преобразователю России и уверенность, что и он не недостоин быть орудием монарха. Молодой финн знал, как дорожит он образованными людьми, которые в состоянии понимать его великие предположения, и гордою надеждой расширялось сердце молодого финна.

Действительно, чудные тогда были минуты в русском царстве: Нейштадский трактат был заключен; Россия праздновала свою силу и подносила царю звание императора и Великого. Отечество было безопасно от врагов; еще не умолкал гул войны, но то был гул отдаленный, не близ юной столицы, но далеко на востоке. По сношениям князя Куракина наш молодой финн знал, что внутреннее улучшение обращало теперь на себя все внимание монарха. Россия походила на огромную машину, которой необъятная сила не знала границ; не доставало лишь маятника, который бы этой силе дал равномерное движение. Распорядок дел земских, средства сообщения, воспитание народа, все возникало в голове Петра и с высоты престола, как могучее семя, падало на плодоносную русскую землю. С восторгом говорил себе финн, что для этих дел Петру нужны были люди; знал он и то, что монарх смотрел на возрастающее поколение, как на лучшую свою надежду, что часто с ранних лет он следил за молодым человеком, внимательно наблюдал за развитием его способностей, и вдруг, мгновенно посвящал его в высшие таинства трудов своих; тогда почитатели старины ворчали и удивлялись ошибке царя; но еще более дивились они, когда юноша оправдывал блистательные надежды, когда способности избранника соответствовали именно тому делу, на которое он был предназначен; старики приписывали такое счастие случаю или находили в царе искусство угадывать, не зная того, что великий царь издавна трудолюбиво следил своим орлиным оком за человеком, им избранным. Наш финн заметил также, что

как все великие люди, богатые мыслями, опережающими время, Петр любил, чтоб его угадывали, что он ненавидел простое буквальное исполнение, что он искал в своих помощниках той любви к делу, которая превозмогает все препятствия, переходит за границы исполнения, изобретает новые средства для новых целей и предупреждает великие намерения Великого. Часто из писем монарха к князю Куракину Якко видел, что царь берег таких людей, как зеницу ока; он видел также, как часто Великий жаловался, что ему не́ за кого взяться.

В самом деле, царь издавна, по отзывам князя Куракина, знал подробно способности и любимые занятия молодого финна.

Однако воображение Якко не переходило выше унтерлейтенанта или гиттен-фервалтера,—но другое нежданное для него дело приготовлялось. В аудиенции пред государем он проговорился о Венеции и о тамошних типографиях; несколько слов Якко показали, что ему известно это дело; а об этом деле уже с давнего времени заботился Петр Великий; теперь же вся его деятельность обращена была на это мощное орудие просвещения; типографское искусство еще мало было известно в России; немногие люди в России тогда могли быть к нему способны. Наш Якко был находкою для Петра в этом случае, и он дал ему в одно время несколько важных поручений: он велел ему заняться переводом некоторых иностранных книг, между тем заготовить план для образования новой типографии и в особенности обучить мастеров для типографского дела. Удивление и восхищение Якко были невыразимы; он невольно упал на колени пред великим царем и от полноты чувств не мог проговорить ни единого слова. Так полудикий финн, под могучей рукою Петра, должен был сделаться одним из орудий русского просвещения.

В конце 1722 года почтовая кибитка остановилась невдалеке от Вуоксы; молодой человек в богатом немецком кафтане выскочил из повозки, бросился на землю и целовал ее с жаром юноши. С трудом он выговаривал несколько финских слов, которые едва поняли окружающие; однако ж, они догадались, что путешественник спрашивает о дочери старого Руси.

Память о старике еще не исчезла между жителями Иматры; они помнили отважного рыболова и его удивительные рассказы в долгие зимние ночи. Показали Якко на берег, и в одно мгновение молодой человек бросился в лодку.

Когда он вышел на берег, слезы брызнули из глаз его; он узнал родимую хижину, родимые пороги,— сердце его сильно забилось. «Где же Эльса? Эльса?» — спрашивал он.

Невдалеке несколько праздных финнов окружали молодую девушку лет двадцати; она перебирала пальцами по ка́нтеле, пела старинные песни о финском сокровище Сампо и приплясывала; в переднике ее лежали куски хлеба, полученные ею, вероятно, от слушателей.

— Вот Эльса, внучка старого Руси,— сказали провожавшие молодого человека.

— Эльса! Эльса! — вскричал он и бросился обнимать ее.

Эльса испугалась, закричала, хотела бежать.

— Эльса! сестрица! неужели ты не узнаешь своего Якко?..

— Ты обманываешь меня, Якко умер, убит,— отвечала Эльса и горько заплакала.

— Твой Якко жив, это я, приемыш твоего деда, понимаешь ли?

Эльса смотрела на него, но не верила и продолжала плакать.

Якко едва мог объяснить ей свои мысли. Выучившись почти всем языкам европейским, он забыл свой собственный и не находил в нем самых обыкновенных слов или употреблял одно слово вместо другого; но вид родимых мест помогал его памяти, и финские слова, хотя с трудом, прорастали сквозь пласты чуждых слов и понятий, как корни берез сквозь финские граниты.

— Ты не веришь, что я точно Якко? — продолжал он.— Посмотри на меня хорошенько — неужели я так переменился?

— Якко был наш, суомиец, а ты не наш, ты большой господин.

— Эльса! Эльса! я все тот же; только платье на мне другое. Посмотри, вот камень, на который мы, бывало, взбегали; вот рябина, с которой я бросал тебе ягоды; вот здесь я тебе сделал рожок из воловьего рога; пойдем в избу, я тебе расскажу, где что лежало, где мы спали с тобою, где сидел Руси, где сидела Гина за печкой...

Они вошли в избу; все было в ней на прежнем месте, только стены немного покривились; та же четвероугольная печь, то же волоковое окно, те же сосновые обрубки, та же куча хвороста, служившая постелью. Страшная ночь, рассказ Руси, его смерть, смерть Гины,— все живо возобновилось в памяти молодого финна; он все повторил Эльсе с подробностию.

Эльса уверилась наконец, что пред нею действительно Якко, и бросилась, рыдая, в его объятия.

Они сели.

— Скажи же мне, Эльса, как живешь ты? Где живешь ты?

— Я живу здесь, в этой избе.

— Одна?

— Одна; да чего ж бояться? все здесь свои люди. Днем я хожу к пастору учиться грамоте—я уж умею читать, Якко,—потом выхожу на дорогу, играю на кантеле, пою—добрые люди дают мне хлеба—посмотри-ка, я сколько уж набрала его, на целый год. Тут есть даже кнакебре[1].—Эльса с гордостью показала на ворох кусков, ею набранных.—Вечером прихожу сюда, вспоминаю об отце, о деде, о тебе, Якко, поплачу и лягу спать.

— Ну, Эльса, скажу тебе, теперь будет не то,—я теперь богат, и ты будешь жить богато...

— Чтó же ты нашел, Сампо, что ли?

— Почти так.

— Где же ты нашел его, Якко?

— У русских...

— Ах, и рутцы тебя не убили?—вскрикнула Эльса, не поняв своего собеседника...

— Не рутцы, а русские, Эльса, или, по-твоему, вейнелейсы.

— Так ты был в их земле?

— Я живу там и тебя повезу туда с собою...

— Зачем? Как можно?—вскричала с ужасом Эльса.—Ведь это так далеко, далеко от нас... Где же мы спать будем?..

— Там, в моей земле...

— Да здесь твоя земля, Якко... эта земля моя, мне сказал пастор, а стало быть, и твоя...

— Ты не понимаешь меня, милая Эльса; в России у меня есть дом, в шесть раз больше, нежели твоя избушка; там ты будешь ходить в пестром платье, каждый день есть чистый хлеб...

— Как это можно?—повторяла Эльса.

— Послушай!—наконец сказала она ему,—знаешь, что я выдумала; вместо того, чтоб мне с тобою ехать, ты привези сюда свое Сампо?..

— Это невозможно, Эльса.

— Отчего невозможно? Ты думаешь, что я не управлюсь; нет, я большая хозяйка; я умею коров доить, делать

---

[1] Лепешки из муки, употребляемые только зажиточными поселянами. «Он круглый год ест чистый хлеб» есть у финнов выражение величайшего богатства. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

кислое молоко, даже кнакебре напеку на целый год; а если у тебя столько достанет богатства, то мы купим соли и насолим рыбы, то-то будет счастье.

Молодой человек покачал головою, улыбаясь:

— Все это невозможно, милая Эльса, я служу царю вейнелейсов, я должен ехать в его землю, а неужели ты меня покинешь?

— Как мне расстаться с тобою, Якко! Ни за что, ни за что. На мне уж многие хотели жениться, но я всем отказывала, я всем говорила, что один Якко будет моим мужем, и теперь говорю, как же мне расстаться с тобою? Но зачем тебе ехать, не понимаю; по крайней мере, будем ли мы приезжать домой?

— Мы будем, пожалуй, иногда приезжать сюда.

— Иногда, а как часто? Каждый день?..

— Невозможно.

— Ну, раз в неделю, в воскресенье, в церковь.

— И это невозможно, а разве раз в год.

Эльса не отвечала, но горько плакала.

Между тем невинное предложение Эльсы выйти за него замуж заставило молодого человека задуматься. Посмотрев пристальнее на Эльсу, он заметил, что, несмотря на ее странный наряд и на волоса, поднятые на маковку под безобразную шапочку, Эльса могла почесться красавицей; лицо ее было не совсем правильно, но имело невыразимую прелесть, особенно когда улыбалась; иногда ее голубые глаза беспрестанно перебегали от предмета к предмету, иногда оставались совсем неподвижными, и тогда в них отражалось то грустно-таинственное чувство, которое замечается лишь у женщин северного племени.

Странные мысли приходили в голову молодого человека; теперь он уже другими глазами смотрел на Эльсу; он воображал себе ее одетую в парадное платье, в его доме, в петербургской ассамблее, и сердце его билось сильно и порывисто; но с другой стороны, ему страшно казалось соединить навек судьбу свою с женщиною почти полудикою, которой язык не будет никому понятен, которая понимает в жизни лишь первые ее потребности; он воображал себе все огорчения, которым она будет подвергаться в обществе, для нее недоступном, все насмешки, которые будут преследовать ее безыскусственное простосердечие и совершенное незнание самых обыкновенных предметов. Он испугался мысли провести с нею три дня в одной повозке: самая невинность, самая непритворность ее чувств могли быть для них обоих гибельны.

— О чем ты задумался, милый Якко? — сказала ему Эльса, схватив его за лицо руками. — Ты, верно, раздумал и хочешь дома остаться, не так ли? — И с сими словами она, пока он еще не мог опомниться, горячо поцеловала его в губы. Невольная дрожь пробежала по членам молодого человека.

— Нет, Эльса, не то, — отвечал молодой человек, стараясь казаться хладнокровным. — Ты знаешь дорогу к пастору?

— Как же, и самую короткую, я все тропинки знаю...

— Поведи меня к нему.

— Пойдем, пойдем, но ты, я чай, голоден; есть не хочешь ли? — И с сими словами она подала ему лепешку из коры пополам с мукою...

Якко с отвращением и горестью посмотрел на эту странную пищу. — Нет, — сказал он, — я не хочу есть; пойдем поскорее к пастору.

И Эльса побежала, схватив Якко за руку и с аппетитом пригрызывая свою лепешку.

В пасторе Якко нашел человека доброго и образованного. Молодой человек объяснил ему странность своего положения, и пастор совершенно понял его.

— Я могу помочь вам, — сказал добрый старик, — жена моя отправляется сегодня в Ниеншанц, т. е. в Петербург, хотел я сказать; у ней есть место в одноколке, и ваша Эльса может с нею доехать в этом экипаже, пока еще не привыкла к лучшим.

Молодой человек, поблагодарив пастора за его одолжение, прибавил, что у него нет ничего, кроме кибитки, и должно признаться, сказал он: — что *наши* русские повозки вовсе не годятся на *ваших* горах.

Когда все было улажено к отъезду, пастор отвел молодого человека в сторону: «Я должен вас предостеречь, — сказал он, — вы везете Эльсу в чужую сторону; знайте, что она подвержена чему-то похожему на падучую болезнь; особенно удаляйте ее от огня и от лунного света: и то и другое, кажется, производит на нее вредное влияние; от того и от другого она приходит в какой-то сон и начинает говорить престранные речи. Простой народ считает ее колдуньей».

От этого рассказа Якко вздрогнул; он вспомнил забытое им до того гаданье старика и, несмотря на свою образованность, по духу времени, не мог выбить себе из головы, чтоб Эльса не была в самом деле околдована. Он не сообщил, однако же, своего замечания пастору, но дал себе слово не упускать из виду этого обстоятельства.

Много стоило труда уговорить бедную Эльсу сесть в одноколку; она не хотела и ехать из родины, и не хотела быть не вместе с Якко, и не хотела не ехать. Она плакала навзрыд; почти без чувств усадили ее в повозку.

Якко с удивлением замечал во время дороги, что на Эльсу ничто не производило впечатления; ни любопытство, ни изумление не были доступны ее душе; одно в ней было заметно — страх при виде чужих и воспоминание о родимой избушке.

Наконец повозка остановилась у петербургской заставы,— караульные солдаты разглядывали одноколку, отлично окрашенную красною краскою, засматривались и на наших дам.

— Вот,— толковали они,— и чухна в красной коробке приехала,— помоложе-то недурна,— хоть куда,— вишь какая смазливая... Эльса испугалась, смотря на эти усатые лица, запаленные порохом, выглядывавшие из-под огромных шишаков. И пасторша струхнула, хотела что-то сказать солдатам, но немногие русские слова, которые она знала, мешались с финскими и немецкими.

— Что ты там лепечешь, чухонская ведьма? Или боишься, что сглазят? — сказал один из солдат, и вся толпа захохотала громким русским смехом.

В эту минуту Якко догнал наших путешественниц и подошел к одноколке. При виде человека в немецком кафтане и который притом говорил по-русски,— толпа разошлась.

— Куда ты завез меня? — говорила Эльса.— Какие люди здесь страшные! И говорить не умеют, а все что-то так страшно кричат!

Якко засмеялся замечаниям бедной Эльсы и старался ее утешить. Между тем пасторша поняла в разговоре русских только одно слово: «ведьма», потому что ей уже не раз случалось слышать его, она не замедлила рассказать Эльсе, что их бранили, и Эльса с простодушием спрашивала: по какому праву их бранят, когда они ничего дурного не сделали?

Якко шепнул слова два вышедшему на ту пору караульному офицеру; он прикрикнул, и Эльса видела, как страшные люди в шишаках вытянулись и сделались как окаменелые.

Все это казалось Эльсе и чудно, и страшно.

На первую минуту пасторша привезла Эльсу в дом своих родственников; Якко, поручив им заботу о ее костюме, отправился к Звереву, рассказал ему свое

сиротство, как он призрен был отцом Эльсы, его печальную кончину, чудесное сохранение его дочери и просил именем благодарности и человеколюбия принять к себе в дом бедную девушку. Добрый Зверев, посоветовавшись с женою, согласился.

И вот наша Эльса, боязливое, своенравное дитя природы — в фижмах, в полуроброне; ее учат держаться прямо, ходить тихо, не бросаться на шею Якко; она скована во всех движениях, не смеет поднять головы, не смеет пошевелиться, едва смеет курнычать свои печальные финские напевы.

Егор Петрович Зверев был человек русский, но полунемец или, лучше сказать, полуголландец. Он не получил большого образования, но долгое пребывание в Голландии сильно на него подействовало. Он сделался воплощенною аккуратностью: каждый день вставал в определенное время, надевал белый миткалевый халат, заплетал свою косичку, выкуривал трубку голландского канастера и принимался за дело, которое непременно оканчивал в определенный час, и каждый день проговаривал свою заветную фразу: «уже двенадцать часов за полдень — не пора ли обедать, Федосья Кузьминишна?» Он не постигал ничего, что делается в России, но делал и говорил то, а не другое только по той причине, что *так следует*. Дом его был бы как заведенная машина, если б не мешала ему немного жена его, Федосья Кузьминишна; она хотя также жила в Голландии и часто с какою-то гордостью рассказывала о том своим соседкам, но на нее голландский дух мало подействовал; она никак не могла понять, зачем каждый день надевать чистое белье; зачем в 8 часов, а не прежде и не после поливать цветные луковицы; почему каждую субботу надобно было мыть все полы, окошки и стены и натирать мебель воском, когда не ожидали гостей.

От этого между супругами бывали стычки; увидя кресло не на прежнем месте, стол ненатертый, Егор Петрович говаривал жене шепотом, чтоб не слыхали домашние: «Не вашего ума это дело, Федосья Кузьминишна».

А она отвечала также шепотом: «Что делать, глупешенька, мой батюшка, так век изжила, так и в могилку пойду». Никогда эти ссоры не выходили наружу; только домашние знали, что когда старики начинали говорить друг другу: *вы*, то значило, что между ними черная кошка пробежала.

Марья Егоровна была срединою между отцом и матерью; полна, свежа, румяна, но немного смугловата; ей

бы и поспать, и на лежанке понежиться, и поболтать под вечерок с просвирнею о том, что делается в околотке, но настанет утро, и Марья Егоровна затянется в корсет, наденет фижмы и сделается совсем голландкою; не разговорится, не пошевелится и только крахмаленные манжеты оправляет.

Сын Зверева был всегда в походах.

Затем к семье причислялись Евдоким, старый слуга Зверева, и несколько сенных девушек, из которых главная была Анисья-ключница, которой отличительным свойством была ужасная скупость, не за себя, но за господ; отпуская масло и другие домашние снадобья, она всегда отмеривала немножко меньше положенного и преравнодушно выслушивала за такое соблюдение господского добра жестокие упреки других челядинцев.

Вот в какую семью попала наша Эльса. Сначала, запутанная новостью предметов, видом чужих людей, она слепо повиновалась, но возвращаясь в отведенную ей комнату, она с восхищением сбрасывала свой дневной наряд, начинала потихоньку плакать, петь свои финские песни, а потом и приплясывать.

Якко через день навещал Эльсу; чаще нельзя ему было ходить; он занят был важным делом, переводил какую-то книгу по *цифирной науке;* работы было много, а времени мало — торопили нашего переводчика.

— Якко, Якко, — говорила ему Эльса, — здесь беда, здесь в баню нельзя ходить...

— Отчего же, Эльса?

— Как отчего? Я хотела потихоньку истопить, чтоб не околдовали, но эти вейнелейсы большие тиетаи, тотчас узнали и помешали; все со мной в баню хотят идти и все смеются надо мною; они заколдуют меня — это верно... — И Эльса заплакала. Якко напрасно старался вразумить ее.

— Нет, — говорила она, — что ни говори, а здесь страшная земля, и страшные люди твои вейнелейсы. Онамедни повели меня по улицам, смотрю — они собрались и землю наказывают...

— Как? Землю наказывают?..

— Да! Ты скажешь, что и это неправда, я сама видела, как они обтесали дерево колом и огромным молотом на веревках вбивали его в землю, так что земля стонала, а они-то кричат, кричат... до сих пор у меня в ушах отдается этот страшный крик.

— Глупенькая! Да они вбивали сваи, чтобы строить дома!..

— Да зачем же, у нас на Вуоксе дома и без того строят?

— Да на Вуоксе камень, а здесь земля не держит...

— И земля здесь не держит! Все здесь не так, как надобно! Страшно, страшно, Якко! Послушай — а это что значит? Когда мы ехали сюда, я на дороге видела, вейнелейсы подложили огонь под большой утес, утес грохнул и разлетелся на мелкие части — что они, Сампо, что ли, искали?

— Нет, они хотели разрыхлить землю...

— Как? Им кажется земля то слишком мягка, то слишком крепка — вот видишь, что ты сам противоречишь себе, Якко; уж я вижу, что тут что-то нечисто. Страшно, страшно здесь, Якко. И грустно мне, грустно! Как вспомню наши горы, наши дороги — так и зальюсь слезами; там я была вольна, как рыба в воде, — день-деньской на свежем воздухе, над головою небо, кругом туман, в недалеке родимые песни и на душе чудный говор; а здесь ни неба, ни тумана, ни песен, ровно нет ничего, а сердце молчит от испуга: поверишь ли, Якко, я здесь еще ни раза не слыхала родимой песни; только и видишь в окошко, что ходят усатые вейнелейсы да землю роют, Сампо ищут. Послушайся меня, милый Якко, убежим, убежим отсюда скорее, пока вейнелейсы и нас в землю не вколотили или на воздух не взорвали...

— Куда же бежать нам, Эльса?

— Куда? Домой, домой, на Вуоксу, на Вуоксу — не век же здесь жить! Там мы женимся, Якко, и забудем про вейнелейсов...

Подошедшая Федосья Кузьминишна прервала разговор.

— Скажи ей, батюшка Иван Иваныч, ведь она ни по нашему, ни по-немецкому не понимает, — что она все хныкает; уж, правду сказать, бог с ней, такая чудная; хлебного мякиша не ест да корки собирает; за обедом в рот ничего не возьмет, а только день-деньской свои корки гложет...

— Э! Федосья Кузьминишна, — сказал Егор Петрович, — это уж народ такой, я знаю его; — ничего! Молода, попривыкнет... так следует.

— Это ваша воля, — отвечала Федосья Кузьминишна с видимым неудовольствием, — а ведь вы сами же в доме порядка требуете и выговариваете, когда на полу крошки или что другое.

Марья Егоровна молчала, но проницательный Якко скоро заметил, что она исподтишка ревновала его к Эльсе.

У Ивана Ивановича на уме было и один и два. Нравилась ему Марья Егоровна, девушка красивая, сми-

ренная, по-тогдашнему довольно образованная; семейство у ней доброе; Марья Егоровна не осрамила бы его и в царской ассамблее; но как сравнить ее с Эльсою, то своенравною, то задумчивою, то веселою Эльсою. Когда, сидя под окном пригорюнившись, она раскидывала свои белокурые локоны, глаза ее беспрепятственно перебегали от предмета к предмету, и она напевала любимую свою песню о том, как жаловалась береза на свое одиночество, Якко забывал и свои житейские выгоды, и надежды; родное чувство отзывалось в груди его, и он, подобно Эльсе, готов был все бросить и укрыться с нею в бедную избушку на финляндских порогах.

Проходило несколько часов, Якко вспоминал о своей новой жизни, о своем участии в трудах Великого, и тогда пелена спадала с глаз его: он видел в себе будущего начальника адмиралтейской типографии, воеводу, близкого к государю человека; тогда, по неизбежному сцеплению мыслей, он пугался своей женитьбы на полудикой чухонке, и Марья Егоровна представлялась ему во всем великолепии, в богатом робронте, при дворе, окруженная иностранными гостями, которые не могут надивиться ее ловкому и учтивому обращению.

В таких мыслях Якко, не зная, на что решиться, уходил домой и принимался за свою книгу о цифирной науке.

Егор Петрович с отцовскою добротою занимался бедной Эльсою; не знала она грамоте — он приговорил приходского дьячка учить ее по-русски; но неискусство ли учителя, неспособность ли ученицы,— наука не давалась; Эльса училась, терзалась и плакала как ребенок. Приставлен был к ней и танцмейстер; хотя долго бился добрый немец Штолцерман. но эту науку она поняла скорее — Эльса уже очень порядочно танцевала менуэт, кланялась и приседала; Егор Петрович не мог ею довольно налюбоваться; но после урока Эльса по-прежнему убегала в свою комнату, пригорюнивалась и опять начинала петь о своей березе.

Скоро представился Эльсе случай показать свои танцевальные способности во всем блеске.

Егор Петрович объявил, что следует всем явиться на ассамблею, которая была объявлена в их соседстве. Федосья Кузьминишна было и воспротивилась, но Егор Петрович ей заметил: «Не прекословьте, Федосья Кузьминишна, так следует: на ассамблеях бывают и шкипера голландские с женами, и знатные люди, и сам государь, а вы только приоденьтесь хорошенько и приоденьте девиц — так следует, говорю вам».

— Как?—возразила Федосья Кузьминишна, всплеснув руками,—и чухонку с собою везти?

— Непременно, Федосья Кузьминишна, и чухонку; пусть ее людей увидит, себя покажет, надобно же ей свет узнать... Так следует, говорю я вам, Федосья Кузьминишна.

На такую речь у Федосьи Кузьминишны не было возражений, она покачала головой и отправилась приготовлять наряды.

Наступил день ассамблеи. Егор Петрович, в голубом глазетовом кафтане, с стразовыми пуговицами, в полосатых чулках с красными стрелками и с корабликом под мышкою; Федосья Кузьминишна в желтом робронте, Марья Егоровна в розовом,—Эльса, которую звали Лизаветой Ивановной,—в ярко-красном, что ей очень нравилось.

Вот пришли в ассамблею; Егор Петрович, раскланявшись с хозяином, скоро встретил голландского шкипера, который пригласил его на кружку пива и на трубку табака. Федосья Кузьминишна уселась с барышнями к дамам, которые плотно пристали по стенке, ожидая начатия танцев: старые с ужасом, молодые с нетерпением.

Эльса ничего не видала и не слыхала, что вокруг нее; она была так испугана с самого своего приезда, что сердце ее находилось беспрестанно то в тревоге, то в полном онемении. Она села также и по обыкновению бессознательно поводила глазами со стороны в сторону; перед ней пестрела толпа, и лица, сменяясь одно другим, почти исчезали для нее; шум разговоров, свет, движение, все оглушало ее и физически, и морально. Вдруг глаза ее остановились на противоположной стенке; она смотрит: что-то знакомое... да, это берега Вуоксы, это пороги— над ними светит солнце—радуга играет в причудливых брызгах,—тут и родная избушка, и утес, к которому она прислонена... Не чудо ли это? Не какой ли тиетай перенес Эльсу на родимую землю... Сердце Эльсы сильно бьется, в глазах темнеет... она слышит шум порогов... ей дует в лицо влажный ветер... чудятся звуки родного языка,—не поют ли любимую ее песню?—И Эльса начинает потихоньку напевать ее... потом... громче, громче—вдруг ужас! раздался какой-то треск, Эльсу окружают страшные лица вейнелейсов, между ними Якко с сердитым лицом говорит: «Опомнись, опомнись, Эльса...»

И все исчезло—Эльса видит себя опять в ассамблее, вокруг нее толпа народа, все хохочут, Якко смотрит на нее с недовольным лицом.

— Что с тобою, Эльса?—спрашивает ее Якко.

Эльса не могла отвечать, но только рукою показала на противоположную стену.

Тогда для Якко все объяснилось; на стене висела большая картина, представлявшая иматрский водопад. Вокруг Якко столпились люди, и он несколько раз принужден был рассказать, отчего распелась хорошенькая чухонка; говорят, что и государь, из другой комнаты пожелавший узнать о причине тревоги, улыбнулся, слушая рассказ об этом невольном порыве души бедной Эльсы.

Егор Петрович был очень оконфужен этим происшествием и не знал, чтó отвечать на упреки Федосьи Кузьминишны, которая толковала, что Лизавета Ивановна навек их осрамила при всей компании. А делать было нечего, уйти домой нельзя из ассамблеи, царь еще не выходил—и волею-неволею надобно было остаться. Скоро, чтоб отвлечь внимание от Эльсы, Якко пригласил Марью Егоровну на менуэт; он был отличный танцор, все поднимались с места, когда он выводил даму, и теперь мгновенно вокруг танцующих составился маленький кружок; между зрителями была и Эльса; она с удивлением смотрела на своего Якко и старалась себе растолковать: почему не пошел он танцевать с нею? Она была печальна и угрюма во весь вечер и на все вопросы Якко ничего не отвечала.

Между тем Федосья Кузьминишна положила во что бы то ни стало сбыть с рук эту проклятую чухонку, которая в людях срамит, а дома какие-то чудеса делает. Мы передадим тайный разговор между Федосьей Кузьминишной и Егором Петровичем в спальной комнате. Федосья Кузьминишна, как женщина тонкая, начала разговор стороною.

— Знаешь что, Егор Петрович,—сказала она,—ведь житье в Петербурге становится дорогонько...

— Да и я замечаю это, Федосья Кузьминишна,—да что делать?—так следует, в город все народ прибывает...

— А вот Анисья докладывала мне, что у нас расход прибывает: и масла, и хлеба, и солонины—всего не в пример больше выходит...

— Да отчего бы это так, Федосья Кузьминишна?..

— Ну, сам посуди, Егор Петрович, лишний человек в доме не шутка... сегодня, да завтра, да всякий день за столом, в комнату свеча... и мыло лишнее...

— Эку историю завела! Что тебя, Лиза-то, что ли, объедает?—Эх, матушка, уж на это, кажись, пожаловать-

ся не можешь; ест, что твой цыпленок... не тем, Федосья Кузьминишна, наши деды разорялись.

— Это воля ваша, Егор Петрович, как сами рассудите, а мое дело сказать вам, что нехорошо...

— Что нехорошо?

— Да и в ассамблее вашей, что ли? Осрамила нас...

— Правда, нехорошо—да прошлое дело, Федосья Кузьминишна, сам государь про то знает и только что улыбнуться изволил...

— Ну, да одно ли это, и многое другое нехорошо.

— Ну да что ж еще?..

— Да так,—нехорошо—она, бог с ней, чудная такая—вы знаете, шведки...

— Да Лиза не шведка...

— Ну, все равно, из шведской же земли...

— Ну, да что ж она такое?.. Ну, говори.

— Ну да что? Ведь вы рассердитесь; попросту вам скажу—она ведьма, колдует...

Егор Петрович расхохотался:—Не вашего ума это дело, Федосья Кузьминишна, такие речи говорить... ну, что такое ведьма?

— Что делать, батюшка, глупешенька, совсем глупешенька, так век изжила, так и в могилу пойду; не понимаю я вашей премудрости, а сужу попросту: ведьма так ведьма. Послушайте-ка, что весь дом говорит.

— Ну, что еще болтают?..

— А вот что: онамедни девушки смотрят, а Лизавета Ивановна пробирается в баню и хочет топить... вот девушки ей говорят: «Э, матушка, давно бы сказала, мы тебе, пожалуй, баню истопим». Истопили баню, пришли за нею, она было пошла,—как увидела, что в баню, то и руками и ногами—а? Как это по-вашему? По-нашему оттого, что ведьма...

— Нету ведьм, Федосья Кузьминишна, это только старые девки болтают... просто дика еще, не обтерлась в чужих людях.

— Ну, а это что такое, скажу вам, Егор Петрович, что она день-то деньской напевает себе под нос?—Уж не даром...

— Ну, да что напевает? Песни; уж у них обычай такой, все, знай, курныкают...

— Ну хорошо,—а что ж это такое: девушки раз ночью слышат, что у нее шум в комнатке... смотрят в щелочку, она поет да прядает на полу, да колдует...

— Ну так, молодая девка дурачится...

— Вы все так толкуете, Егор Петрович, а это что? недавно чухна приехал к нам на двор с провиантом... она

увидела, выскочила и прямо к нему на шею, и начали толковать по-своему...

— Эка мудрость—земляка увидела. Однако после договорим, Федосья Кузьминишна, уже скоро 6 часов; чем из пустого в порожнее пересыпать, да на бедную девку нападать, подай-ка мне епанчу—пора в канцелярию.

Федосья Кузьминишна исполнила приказание мужа, но оставшись одна, покачала головою, всплеснула руками и проговорила:

— Вот всегда-то так... вишь ты, из пустого в порожнее... бедную девку... ах, ты старый греховодник! Батюшки-светы, да, никак, она его околдовала!

В столовой между тем происходила другая сцена. Якко, проходя рано поутру мимо дома Зверева, не мог не зайти проведать семью, которая для него была второю отчизною.

Марья Егоровна прибирала завтрак; ее черные локоны, загнутые за уши, были прикрыты белым голландским чепчиком; полосатая ситцевая кофта обхватывала гибкую талию; рукава с манжетами, доходившие только до локтя, открывали полную упругую ручку; черные башмаки с красными каблуками, застегнутые оловянною пряжкою, стягивали стройную ножку. Заспанные глазки Марьи Егоровны были томны; то вспыхивали блестящими искрами, то покрывались прозрачною влагою; девические мечты, может быть, ночные грезы придавали лицу Марьи Егоровны задумчивость, которая обыкновенно исчезала в течение дня.

— Как вы сегодня к лицу одеты!—сказал Иван Иванович, целуя у ней руку.

— Вы шутите,—сказала Марья Егоровна, улыбаясь,— на мне домашнее платье, которое вы не раз уже видели.

Иван Иванович смешался; он совсем не то хотел сказать; душа его говорила:—Как вы хороши сегодня, Марья Егоровна, в вас сегодня что-то особенно привлекательное. Но такие фразы тогда не говорились девушкам и были бы сочтены неприличием.

Чтоб переменить разговор, Иван Иванович спросил:

— А где все наши?

— Батюшка в канцелярии, матушка хлопочет по хозяйству...

Якко замолчал и стал рассматривать скатерть с большим любопытством; но когда Марья Егоровна отходила от стола, Якко взглядывал на прекрасный стан ее, и

сильно брало его раздумье; он не мог не любоваться и красотою Марьи Егоровны, и ее ловкостью, и любовью к порядку — «добрая жена! добрая хозяйка!» — эти слова невольно отдавались в его слухе. Вот Марья Егоровна придвинула стул к шкапу, чтоб поставить посуду на верхнюю полку; она проворно вскочила на стул, одна ее ножка уперлась в подушку, другая поднялась на воздух, и эта стройная ножка, в сером чулочке со стрелками, была в полной красоте своей. Сердце забилось у молодого человека, глаза его заблистали... он хотел что-то выговорить, но дверь отворилась и вошла Эльса; ее кофта была едва застегнута, белые, как лен, локоны рассыпались по белой, полуоткрытой груди, она была печальна, в глазах выражалось что-то полудикое; по инстинкту она поняла то чувство, с которым Якко смотрел на Марью Егоровну, и сердито отвернулась.

— Здравствуй, Эльса! — сказал Иван Иванович по-русски, подавая ей руку.

— Än mujsta! — отвечала Эльса, надувши губки и отдергивая руку.

— Да скоро ли же ты выучишься по-русски?

— Än mujsta! — повторила Эльса.

— Что с тобою, Эльса? — сказал Иван Иванович по-фински.— На кого ты сердишься? Разве тебя обидели?

— Что тебе до меня? — ты знай пляши с нею, вот твое дело.

— А, так ты сердишься, зачем я плясал с Марьею Егоровною? Что ж за беда? Пора тебе привыкнуть к здешним обычаям...

— По нашему обычаю, только пляшут с своею невестою...

— Растолкуйте Лизавете Ивановне,— прервала Марья Егоровна, лукаво поглядывая на Эльсу,— чтобы она не забывала шнуроваться; маменька сердится, а мы никак ей не можем растолковать, что это неприлично.

Якко передал эти слова Эльсе. Эльса всплеснула руками.

— Ах, Якко, как тебя околдовали вейнелейсы. Все, что они ни выдумают, тебе кажется хорошо, а все наше дурно. Ну зачем они меня стягивают тесемками? Зачем? Расскажи! Им хочется только, чтоб я не могла ни ходить, ни говорить, ни дышать — и ты то же толкуешь. Ну скажи же мне — зачем шнуроваться? Что, от этого лучше, что ли, я буду?

Якко думал, что отвечать на этот странный вопрос, а между тем невольно смотрел на свою прекрасную единоземку.

Правда, грудь ее была полураскрыта, но эта грудь была бела как снег; локоны в беспорядке рассыпались по ее плечам, но так она еще более ему нравилась; туфли едва были надеты, но тем виднее открывали ножку стройную и красивую. Странные мысли боролись в душе молодого человека.

Эльса продолжала:

— Вот Юссо, так похитрее тебя — его вейнелейсы не могут обмануть; послушай-ка, что он говорит.

— Какой Юссо?

— Ты не знаешь Юссо, сына Юхано? Ты всех своих позабыл, Якко, вейнелейсы совсем отбили у тебя память.

— Где же ты его видела?

— Его вейнелейсы заставили везти сюда разные клади — я его тотчас узнала из окошка...

— Что же он тебе такое рассказывал?

— О! Много, много! У Анны отелилась корова, Мари вышла замуж за Матти...

— Что же еще он тебе рассказывал?..

— Ты хочешь все знать? — сказала Эльса, хлопая в ладоши с насмешливым видом,— пожалуй, скажу. Он звал меня с собою домой.

— Звал с собою?

— Да! Он похитрее тебя, он говорит, что как ни лукавы вейнелейсы, а им несдобровать, рутцы хотят еще раз напустить на них море...

— Что за вздор, Эльса... да ведь это сказка...

— Да! сказка! — Юссо не то говорит; он толкует, что нам, бедным людям, не годится жить с вейнелейсами; он сказал еще, что набрал здесь много денег за масло — вейнелейсам бог и масла не дает...— Поедем, говорил он, со мной, я на тебе женюсь, денег у меня много, круглый год будем есть чистый хлеб.

— И ты согласилась?

— Нет еще,— отвечала Эльса лукаво,— я сказала, что спрошусь об этом у братца.

Марья Егоровна, видя, что ею не занимаются, вышла из комнаты.

Якко задумался. На что ему было решиться? — Дожидаться ли долгого, долгого образования полудикой Эльсы, подвергать ее всем неприятностям непривычной жизни или махнуть рукой и возвратить ее на родину. При мысли о родине сердце его билось невольно: Эльса, подруга детства, казалась еще прелестнее и расстаться с нею, расстаться навсегда — казалось ему ужасным.

Эльса поняла действие своего рассказа; она захлопала в ладоши, прыгнула к Якко на колени, схватила его за

голову, прижала к себе, свежая, атласистая грудь ее скользнула по лицу молодого человека, он вздрогнул и почти оттолкнул ее от себя.

Эльса заплакала.— Якко выбежал из комнаты.

— Он не хочет и целовать меня,— проговорила Эльса сквозь слезы,— о! это недаром, эта Мари приколдовала его; он с нею пляшет, он на нее так смотрит — хорошо, увидим... недаром старые люди меня учили...

С сими словами Эльса побежала в свою комнату — и дверь на крючок; через час она вышла и тихонько пробралась в комнату Марьи Егоровны; осмотрелась — видит: нет никого, поспешно приблизилась к постели и сунула что-то под перину.

Эльса обернулась, за нею машутся накрахмаленные лопасти чепчика, блещут глаза сквозь пару медных очков.

Из-под чепчика послышался грозный голос Анисьи-ключницы:

— Что ты это, матушка, здесь проказничаешь? — С сими словами старушка руку под перину и вынула оттуда маленький сверток; скорее к Федосье Кузьминишне — и началась потеха.

На общем совете с Анисьею и другими сенными девушками положено было раскрыть сверток. Раскрыли не без страха, не без приговорок — видят: две тряпочки, бумажка, уголек и глинка, все перетянуто накрест черною ниткою. Колдовство — нет ни малейшего сомнения.

За Эльсой — показывают — спрашивают — она лукаво смеется.

Уже поговаривали связать колдунью и представить в полицию, но, к счастью, возвратился Егор Петрович. Узнавши о причине суматохи, он наружно улыбнулся, но внутренне и сам притрухнул: «кто ее знает?» — подумал он. Помолчавши с минуту, он сказал: что мы ее спрашиваем? ведь она нас не понимает и рассказать не может. Полагать должно так, сглупа; вот вечером придет Иван Иванович, пускай он ее расспросит, что и зачем она это делала.

— Хорошо, батюшка,— отвечала Федосья Кузьминишна,— вы и видите, да не верите; быть по-вашему, только до тех пор позвольте мне припереть ее на крюк. Не шутка, батюшка, ведь Марья Егоровна-то нам не чужая.— Егор Петрович промолчал.

К вечеру выпустили бедную затворницу.

Было уже около семи часов вечера; на дворе морозило; в гостиной Зверева затопили огромную шведскую

печку; заслонки были распахнуты; свет из устья багровым туманом проходил по комнате; тень от окошек, освещенных полною луною, резко обозначалась на торцевом полу; две нагоревшие свечи стояли на столе и колебались от движения воздуха; все эти роды освещения мешались между собою; отраженные ими причудливые тени мелькали на потолке, на широком деревянном резном карнизе и на стенах, обитых черною кожею, с светящимися бляхами.

За столом сидели: Зверев, его жена и Якко. Казалось, они только что кончили длинный, неприятный разговор, за которым последовало совершенное молчание. Наконец, двери отворились, и вошла, как преступница, бледная, трепещущая Эльса. Якко с важным видом показал ей на стул, стоявший против огня. Эльса не хотела садиться, но Якко грозным голосом подтвердил свое приказание, и Эльса повиновалась. Она села на стул, сложила руки и устремила в устье неподвижный взор.

— Не пугайся, Эльса,— сказал Якко по-фински, тихим голосом,— тебе никто не сделает зла; но скажи мне откровенно, что значит этот сверток, который ты видишь здесь на столе? Какое твое было намерение? — Эльса ничего не отвечала и все пристальнее устремляла глаза в устье очага; лицо ее разгорелось; локоны повисли на глаза; лунный свет широкою полосою ложился на ее белое платье; она трепетала всем телом, как пифия на очарованном треножнике.— Отвечай же,— повторил Якко, устремив на Эльсу сердитые глаза.

— О чем ты спрашиваешь меня, Якко,— наконец сказала Эльса прерывающимся голосом,— сверток безделица... ребяческая шутка... я думала этим средством отучить тебя от этой Марии, которая хочет отнять тебя у меня... Но теперь не то... совсем не то... теперь... я все знаю, все вижу; теперь я сильна, и вы все... ничто... предо мною...

— Что ты говоришь, Эльса? — сказал Якко с видимым смятением,— ты не помнишь себя.

Эльса засмеялась странным хохотом.

— Иль ты не видишь,— продолжала она,— там... далеко... в средине пламени... алые палаты моей сестрицы... вот она... в венке из блестящих огней; она улыбается... она кивает мне головою... она сказывает, чтó я должна говорить тебе...

Тут Якко вспомнил слова пастора, хотел броситься к Эльсе и прекратить ее очарование; но любопытство и какая-то невидимая сила удержали его на стуле.

Эльса продолжала:

— Я еще была ребенком, когда старый Руси брал меня к себе на колени и садился против огня; он накрывал руками мою голову и, показывая на устье печи, говорил: «Эльса, Эльса, смотри свою сестрицу». Тогда я, неразумная, боялась, хотела вырваться из рук старика, но невольно глаза мои устремлялись на огонь и скоро уже не могли оторваться; скоро в глубине, посреди раскаленных угольев, я видела, как теперь вижу, великолепные палаты; там столбы из живого пламени вьются, тянутся в небо и не тухнут. От них сыплются багряные искры и блестят на белой огнепальной стене: посреди тех палат мне являлось лицо ребенка, совершенно похожего на меня; оно улыбалось, манило меня к себе, исчезало в потоках пламени и снова появлялось с тою же улыбкою.— «Сестрица, сестрица,— говорила она мне,— когда же мы с тобой соединимся?» И сердце мое рвалось к прекрасному ребенку, и он все улыбался и манил меня. Стоило мне подумать о чем-нибудь или старый Руси спрашивал меня, и с дальней стены срывалася пелена, и я видела все, что на земле и под землею, и горы, и леса, и пропасти водные, и людей, и слышала, что они говорили, видела, что они делали. «Беги отсюда,— говорит мне теперь сестрица,— здесь развлекут тебя, удалят тебя от меня, погасят, ты отвыкнешь понимать язык наш! На берегах Вуоксы люди не совратят тебя, там сосны и утесы безмолвны, луна светит своей живительной силой и духотворит грубое тело; там в лучах луны, в потоках пламени мы сольемся веселым хороводом, облетим всю землю, и вся земля для нас будет светла и прозрачна». Слышишь, Якко, что говорит сестрица; тебя одного не достает нам; и тебя, неразумный, оживляла могучая сила старого Руси; ты наш, Якко! ты мой и ничто не разлучит меня с тобою; забудешь обо мне — вспомнишь в горькую минуту. Оставь этих людей, Якко; в наших живоогненных чертогах светло и радостно, там встретимся мы и в одну пламенную нить сольемся с тобою. Правда, еще не пришло мое время: скоро ли? спрашиваю у моей чудной сестры.— «Не скоро,— отвечает она,— все вырастает по степеням, как дерево из зерна. Сперва на земле, потом под землею, а потом... над землею, Эльса, и нет границ нашей силе и нашему блаженству!»

Якко не дал ей продолжать.

— Тут происходит что-то странное,— сказал он Егору Петровичу,— она вне себя; я вам советую послать за лекарем.

— Да что ж она вам сказала? — спрашивал Егор Петрович.

— Ничего,— отвечал Якко,— вы не должны ее бояться; она больна, на нее находит... Пошлите за доктором, повторяю вам, пусть он ее увидит в этом положении.

— Пожалуй,— отвечал Егор Петрович.— Иван Христианович недалеко от нас живет и по вечерам бывает дома.— Послали за лекарем, а Эльса все сидела против огня, то смеялась, то говорила непонятные речи, то складывала руки, как будто умаливая кого о чем. Якко с любопытством ее рассматривал, положив, во что б ни стало, дождаться разрешения этой загадки.

Через четверть часа пришел Иван Христианович, чопорный немец, в коричневом кафтане, с укладными пуговицами; в руках у него была трость с костяным набалдашником; он очень важно постукивал ею, поплевывая со стороны на сторону, ибо имел привычку беспрестанно жевать табак, что тогда почиталось универсальным лекарством от всех болезней.

— Где ж больная?— спросил он по-немецки.

— Меня почитают больною,— отвечала Эльса на немецком языке. Удивление Якко было невыразимо. Он знал, что в обыкновенном состоянии Эльса не знала ни слова по-немецки.

— Что же ты чувствуешь, мое милое дитя?— сказал Иван Христианович.

— Добрый лекарь, неразумный лекарь, ты хочешь лечить меня. Знаешь ли ты, кого ты хочешь лечить? Умеешь ли ты лечить огнем и пламенем? Смотри, сестрица смеется над тобою, добрый лекарь, неразумный лекарь.

Иван Христианович слушал, слушал ее с удивлением — нюхал табак и ничего не понимал.

Между тем огонь гас мало-помалу в очаге, луна сокрылась за ближним домом: с тем вместе уменьшалась говорливость Эльсы. Наконец она как будто проснулась.

— Где я? Что со мною?— сказала она по-фински.

Доктор щупал у ней пульс, Зверев и Якко смотрели на нее с участием. Между тем Якко рассказал лекарю все происшедшее.

Нахмурив брови и усердно нюхая табак, Иван Христианович проговорил:

— Странное дело, но бывали такие примеры, от действия жара нервные духи подымаются и действуют на головной мозг; а оттого мозг приходит в нервное состояние, так и Цельзиус пишет; впрочем, пироманция, или гадание огнем, была известна и древним и производила у них подобные явления; странно, что она и доныне сохранилась. Но бояться нечего! Уложите больную в

постель, я вам пришлю из дома одно славное лекарство, которое, как доказывает наш славный голландский врач Фан Андер[1], помогает от всех болезней, а именно: опиума. Давайте ей каждый день по четыре капли, да поите ее больше кофеем, и вы увидите, что всю блажь с нее как рукой снимет.

На другой, на третий день бедная Эльса в самом деле была больна от действия универсального лекарства, на четвертый она уж почти не вставала с кресел; то делалось у ней волнение в крови, то сонливость.

Бедное дитя природы ничего не понимала, что с нею делают: зачем держат ее взаперти, зачем вливают в нее какое-то снадобье, которого действие, однако же, казалось ей довольно приятным; но часто она забывала все происходящее, и все ее внимание обращалось к герою финских преданий, славному Вейнемейнену. Она вспоминала, как он из щучьих ребер сделал себе кантелу, как не знал, откуда взять колки и волос на струны, и в забытьи напевала:

Рос в поляне дуб высокий:
Ветви ровные носил он
И по яблоку на ветви
И на яблоке по шару
Золотому, а на шаре
По кукушке голосистой.
И кукушка куковала,
Долу золото струнлось,
Серебро лилось из клева,
Вниз на холм золоторебрый,
На серебряную гору:
Вот отколь винты для арфы
И колки для струн взялися.
Из чего же струн добуду,
Где волос найти мне конских?
Вот, в проталине, он слышит,
Плачет девушка в долине,
Плачет — только вполовину,
Вполовину веселится,
Пеньем вечер сокращает
До заката, в ожиданьи,
Что найдет она супруга,
Что жених ее обнимет.
Старый, славный Вейнемейнен
Слышит жалобу девицы,
Ропот милого дитяти.
Он заводит речь и молвит:

[1] Диететические методы голландского врача Бонтекопа обыкновенно состояли: в постоянном курении табака, питии чая или кофия и в употреблении опиума при малейшем нездоровьи. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

«Подари мне дар, девица!
С головы один дай локон,
Пять волос мне поднеси ты,
Дай шестой еще вдобавок,
Чтоб у арфы были струны,
Чтобы звуки получило
Вечно юное веселье».
И дарит ему девица
С головы прекрасный локон,
Пять волос еще подносит,
Подает шестой вдобавок,
Вот отколь у арфы струны,
У веселья звуки взялись[1].

Но вдруг голос Эльсы возвышается; глаза блистают, и она с гордостью напевает:

Так играет Вейнемейнен:
Мощный звон летит от арфы,
Долы всходят, выси никнут,
Никнут выспренные земли,
Земли низменные всходят,
Горы твердые трепещут,
Откликаются утесы,
Жнивы вьются в пляске, камни
Расседаются на бреге,
Сосны зыблются в восторге.
Сладкий звон далеко слышен,
Слышен он в шести селеньях,
Оглашает семь приходов,
Птицы стаями густыми
Прилетают и теснятся
Вкруг героя-песнопевца.
Суомийской арфы сладость
Внял орел в гнезде высоком,
И птенцов позабывая,
В незнакомый край несется,
Чтобы кантелу услышать,
Чтоб насытиться восторгом.
Царь лесов с косматым строем
Пляшет мирно той порою,
А наш старый Вейнемейнен
Восхитительно играет,
Тоны дивные выводит.
Как играл в сосновом доме,
Откликался кров высокий,
Окна в радости дрожали,
Пол звенел, мощенный костью,
Пели своды золотые.
Проходил ли он меж сосен,
Шел ли меж высоких елей—
Сосны низко преклонялись,
Ели гнулися приветно,
Шишки падали на землю,

[1] Эта и последующие финские народные песни взяты, с некоторыми пропусками, из Гротова перевода (см. «Современник», 1840). *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

Вкруг корней ложились иглы.
Углублялся ли он в рощи,
Рощн радовались громко;
По лугам ли проходил он,—
У цветов вскрывались чаши,
Долу стебли поникали.

Но часто слова песни сближались с ее собственным положением, и она жалобным напевом отвечала Вейнемейнену, когда он спрашивает плакучую развесистую березку, о чем она плачет:

Про меня иной толкует,
А иной тому н вернт,
Будто в радостн живу я,
Будто вечно веселюся.
Оттого, что я, бедняжка,
Весела кажусь и в горе,
Редко жалуюсь на муки,
У меня, у горемыкн,
У страдалицы, ведь часто
Летом рвет пастух одежду;
У меня. у горемыки,
У страдалицы, ведь часто
На печальном здешнем месте,
Середи лугов широких
Ветви, листья отнимают,
Ствол срубают на пожогу,
На дрова нещадно колют.
Были люди н точили
Топоры свон на гибель
Головы моей победной.
Оттого весь век горюю,
В одиночестве я плачу,
Что беспомощна, забыта,
Беззащитна, я осталась
Здесь для встречи непогоды,
Как зима приходит злая.

И к концу песни Эльса начинала плакать и плакала горько. Так заставал ее Якко, и все его старание утешить, вразумить ее было тщетно. Странная привязанность к родине еще более усилилась в Эльсе ее затворничеством. Якко не знал, что и делать: в продолжение трех месяцев образование Эльсы нимало не подвинулось; ее понятия не развивались; все народные предрассудки пребывали во всей силе; оставить ее в доме Зверева — не было возможности; жениться на ней — одна эта мысль обдавала Якко холодом; он невольно сравнивал свое состояние с прекрасною машиною, в которой было только одно колесо неудачно сделанное, но которое нарушало порядок действия всех других колес; он не мог не сознаться, что Эльса была для него помехою в жизни; его внутреннее

неудовольствие отражалось в его словах, а Эльса оттого еще пуще горевала.

А между тем Эльса была прекрасна, между тем в ее глазах светилось ему родное небо, баснословный мир детства, и Якко по-прежнему уходил домой с отчаянием в сердце.

Наступил ноябрь месяц. В продолжение нескольких дней лил сильный дождь, и морской ветер выгонял Неву из берегов. Однажды утром Якко сидел в уединенной комнатке, отведенной ему в адмиралтействе, и, углубившись в работу, не замечал, что вокруг него происходило; между тем весь город был в волнении, вода возвысилась непомерно, жители прибережных частей города перебирали свои пожитки на чердаки, а в некоторых местах уже взбирались и на крыши; высокой гранитной набережной еще не существовало; ныне незамечаемая прибыль воды в 1722 году была истинным бедствием для города; Якко взглянул в окошко: адмиралтейская площадь обратилась в море, по ней неслися лодки, бревна, крыши, гробы. Дом Зверева находился в части города, наиболее подверженной наводнению; мысль об участи, ожидавшей это семейство, поразила Якко; но как помочь ему, как дойти до него? Волны уже били в верхнее звено нижних этажей! В отчаянии ломая руки, смотрел Якко на разлив Невы и приискивал средство выйти из дома чрез окошко. В эту минуту он смотрит: небольшой катер с переломленною мачтою несется по Неве; два матроса тщетно стараются вытащить обломок мачты, погрузившейся в воду, или перерубить веревки; уже катер перегнуло на одну сторону; на корме стоит человек высокого роста; черные его волосы разметаны по плечам; одною рукою он стиснул руль, другою ободряет потерявшихся матросов, но — еще минута, и катер должен опрокинуться. Якко смотрит, не верит глазам своим — это сам государь!

При этом виде молодой финн забывает всю опасность. Сильною рукою он выбивает стекольную раму и бросается вон из окошка; в это время крепко связанный плот прибило к стене дома; от движения плота Якко сильно ударился головою об стену и почти в беспамятстве ухватился за скользкие бревна; в таком положении его застали люди, находившиеся на одной из адмиралтейских лодок.

Едва Якко пришел в чувство — первый его вопрос был о государе. «Пересел на другой катер»,— отвечали ему; тогда Якко вспомнил снова о своем семействе, и лодка

быстро повернула по направлению к дому Зверева. Подъезжая к нему, Якко увидел, что вода выливалась уже из окошек,—во всем доме не было и признака живого человека. Скорбь сжала сердце молодого финна; погибли последние люди, которых он мог называть родными. Но скоро внимание его было обращено на большой катер, который старался на веслах приблизиться к дому; смотрит, в катере: Зверев, жена его, все домашние—катер ближе, ближе, Якко различает всех в лицо и не видит—лишь одной Эльсы.

— А Эльса?—вскричал он в отчаянии.

— Не знаем!—печально отвечал ему Зверев.

Молодой человек упал без чувств в лодку.

К вечеру вода сбыла. Жители мало-помалу возвращались в дома, стараясь изгладить следы наводнения, и скоро в юной, отважной столице все пришло в обыкновенный порядок.

В спальной Зверева лежал наш Якко с распухнувшей головою и в припадке сильной горячки. Он метался на кровати, то произносил непонятные слова, то призывал домашних, Эльсу. Так прошли долгие дни. Наконец Якко пришел в себя, и первое лицо, которое узнала его ослабевшая память, была Марья Егоровна; она сидела возле кровати и с участием смотрела на больного.

— Где я? Что со мною?—спросил Якко.

— У людей, которые вас любят,—отвечал тихий голос.

Все возобновилось в памяти молодого человека; он взял Марью Егоровну за руку и крепко прижал ее к губам; Марья Егоровна опустила глазки и закраснелась.

Вошла в комнату Федосья Кузьминишна.

— Что сталось с Эльсой?—спросил Якко.

— А—слава богу! Очнулся, батюшка—ведь три недели был в забытьи, легко ли дело; ну что твоя сестрица,—живехонька, батюшка—уехала к своим с каким-то чухною; уже мало ли Егор Петрович хлопотал,—насилу проведали, куда она запропастилась, на *воск* какой-то, что ли?

Действительно, во время наводнения, когда водою уже наполнился двор и Егор Петрович сбирался с домашними сесть на подъехавший с улицы адмиралтейский катер, в хлопотах забыли об Эльсе; в это время она была в своей комнате, выходившей окнами во двор и запертой по

благоразумному распоряжению Федосьи Кузьминишны; бедная затворница с ужасом смотрела на прибывающую ежеминутно воду: — «все кончилось, — говорила она, — рутцы напустили на вейнелейсов море — все должно погибнуть; нет спасения» — и с сими словами она сложила руки, села против окошка и хладнокровно глядела, как вода уже приподнимала крышу низкого амбара. Вдруг смотрит, на дворе является лодка, в лодке знакомое лицо. «Юссо, Юссо! — вскричала Эльса, отворив широкую форточку, — я здесь, я здесь! спаси меня!»

И ловкий финн приблизился к окошку, уцепился за ставни, помог Эльсе пробраться на свой челнок, усадил ее, ударил веслами, и скоро челнок исчез из вида.

Между тем, садясь в катер, старик Зверев вспомнил об Эльсе; скорее к ней в комнату — нет ее, бегали по всему дому, всходили на чердаки — пропала Эльса; минуты были дороги, управляющий катером говорил, что он должен еще многим домам подать помощь — и Егора Петровича почти силою втащили в катер.

Якко с каждым днем оправлялся. Однажды, когда Марья Егоровна вошла к нему в комнату, он сказал:

— Вы уже забыли обо мне, Марья Егоровна, так редко навещаете меня.

— Когда вы были опасны, — отвечала девушка, — я, видит бог, не отходила от вас; но теперь вы, слава богу, уже начинаете выздоравливать, и мне одной с вами оставаться неприлично.

— Нет ли средства помочь этому горю? — сказал улыбаясь Иван Иванович.

— Какое же? я не знаю.

— Очень простое — быть моею женою! Что скажете вы на это, Марья Егоровна?

Марья Егоровна проговорила обыкновенное в таких случаях: «Я от себя не завишу», и молодой человек нежно поцеловал ее руку.

Со стариками было переговорено; они дали свое благословение. «Но прежде свадьбы мне остается еще одно дело, — сказал Якко Егору Петровичу, — я хочу устроить Эльсу».

— Доброе дело, — отвечал старик, — так и следует.

Через несколько дней сани мчали молодого финна к его родимому берегу. Верст за сорок до Иматры он уже

стал спрашивать по хижинам об Эльсе, внучке старого Руси; но жители ему отвечали, что Иматра от них далеко, далеко и что они никого там не знают.

Верст за двадцать рассказы были другие, «ка́к не знать Эльсы,— говорили финны,— такой знахарки у нас уже давно не бывало; все знает, что ни спроси; заболеет ли человек, али какое животное, придешь к ней, поклонишься — с живой руки снимет. Зато скоро счастлива будет; Юссо говорит, что непременно на ней женится».

Быстро мчались широкие сани по глубокому снегу, туман лежал на равнинах, зеленые ели тихо качались над сугробами, месяц мелькал из облаков и бледными его лучами прорезывались слои тумана — туман расседался, пропускал светлую полосу и снова заволакивал придорожные утесы. Грустно было на душе Якко — ехал он по земле родной, которая была уже для него чужая; иногда воображению его представлялся Петербург со своею деятельною, просвещенною жизнью, и снова невольно взор финна обращался на печальную картину родимого края.

Недалеко от Иматры Якко заметил в избушке, стоявшей уединенно посреди скал, необыкновенное освещение; частью любопытство, частью какое-то невольное чувство заставили его остановиться; Якко вышел из саней,— к избушке, смотрит в волоковое окно — там какой-то праздник — свадьба или что-то подобное. Рассмотрев попристальнее, Якко скоро заметил в избушке Эльсу; она в финском платье, довольно богатом, сидела на почетном месте, все обращались с нею с величайшим уважением, потчевали ее и кланялись. Эльса была весела и довольна и смеясь рассказывала, как рутцы напустили на вейнелейсов море и хотели утопить ее и как она с Юссо обманула их.

Якко задумался. «Здесь она весела, уважена всеми, говорит своим языком, она свободна, счастлива; там она печальна, связана во всех движениях, предмет насмешек и ненависти. Зачем я отниму у ней ее счастье в надежде другого, ей непонятного и, может быть, несбыточного?»

В это время Эльса встала, распрощалась с хозяевами,— почетнейшие пошли провожать ее,— толпа прошла мимо Якко,— он видел Эльсу в двух шагах от себя,— но промолчал и только печально смотрел вслед ей, пока она не скрылась в тумане.

Тогда Якко вошел в хижину и, отдавая хозяину кошелек с деньгами, сказал: «Скажите Эльсе, внучке

старого Руси, что Якко ей посылает это на свадьбу».— Якко знал честность своих единоземцев и был уверен, что кошелек дойдет по назначению.

Пока хозяева удивлялись такому несметному богатству, Якко вышел из хижины,—взглянул еще раз на родные утесы:

— Последняя нить порвана,—сказал он самому себе,— земля моя—мне чужая. Прощай же, Суомия—прощай навсегда! И здравствуй, Россия, моя отчизна!

Молодой финн закрыл глаза рукою, бросился в сани,— колокольчик зазвенел!

На берегах Вуоксы до сих пор сохраняется предание о девушке, которую богатый барин увез было в Петербург и которая убежала от богатства из любви к своей лачужке; рассказывают и о том, как в старину незнакомые люди, или духи, в богатом платье, вдруг являлись в хижинах и оставляли на столе деньги, прося их отдать Эльсе, старой колдунье.

II

ЭЛЬСА

Посв. графу В. А. Соллогубу

Errant, erraverunt ac errabunt, eo quod proprium agens non posuerunt Philosophi.

Ioannes Pontanus in «Theatro Alchemico»[1]

Мы сидели перед огнем; вдруг отец ударил меня так больно, что я заплакал. «Не плачь,—сказал отец,—ты ни в чем не провинился; сию минуту Саламандра появилась в огне; я тебя ударил, чтоб ты не забыл о сем и передал это событие своим детям».

Подлинные Записки Бенвенуто Челлини

В Москве жил-был у меня дядюшка, человек немолодой, но с умом, сердцем и образованностью,—а в этих трех вещах, говорят, скрывается секрет никогда не стариться. Дядюшка не выживал из ума, потому что не выживал из людей; три поколения прошли мимо его, и он понимал язык каждого; новизна его не пугала, потому что

[1] Заблуждались, заблуждаются и будут заблуждаться, потому что философы не установили, что есть собственно движущая сила.
Иоанн Понтанус в «Алхимическом театре» (лат.).

ничто не было для него ново; постоянно следя за чудною жизнию науки, он привык видеть естественное развитие этого огромного дерева, где беспрестанно из открытия являлось открытие, из наблюдения наблюдение, из мысли вырастала другая мысль, которая, в свою очередь, выводила из земли первоначальную. Оттого разговор его всегда был привлекателен, хотя странен; в нем не было этих суждений, давно вымоченных и выдавленных, как старая свекловица на сахарном заводе; в нем не было этих фраз, которые у иных людей вас ожидают в том или другом случае, как надпись над банкою в кунсткамере или как припев водевильного куплета; но со многими из его понятий нельзя было согласиться: он утверждал, наприм., что знать много, очень много совсем немудрено; что в старину люди были хуже нас, но гораздо больше нас знали и что, наприм., никогда знания человеческие не достигали до такой обширности, как перед потопом!.. Надобно к сему прибавить, что дядя в молодости много путешествовал и — тогда была на это мода — перебывал членом всех возможных мистических обществ: он и варил золото, и вызывал духов, прыгал и заставлял прыгать на восковые гвозди или через ковер, игравший роль бездонной пропасти, и проч. и проч. Много чудного сохранилось в его памяти об этих предметах; но, говоря о них, он употреблял какой-то странный способ выражения, вместе и важный и насмешливый, так что нельзя, бывало, угадать, в самом ли деле дядя верил своим словам или смеялся над ними. Когда мы приставали к нему и требовали настоятельно, чтоб сказал, шутит он или говорит правду, и упрашивали его бросить двусмысленный тон, дядя улыбался с простодушным лукавством и замечал, что без этого тона нельзя обойтись, говоря о многих вещах в этом мире, а особливо о вещах не совсем этого мира.

Однажды я застал старика поутру за чашкою кофе.

— Что это значит, дядюшка? Вы прежде, кажется, поутру не кушали кофе?

— Да что мне делать с вашими учеными и докторами? Вот твердили мне, что две чашки кофе в день поутру и после обеда для меня слишком много: я отказался от утренней чашки и спокойно дожидался моей послеобеденной; а вот недавно лукавый дернул одного немца написать целую книгу (с этими словами дядюшка ударил рукою по латинскому in-quarto) в доказательство, что нет ничего вреднее, как кофе после обеда, и так убедил меня, злодей, что я с той же минуты пожаловал послеобеденную чашку в утреннюю.

— А между тем на вакансию послеобеденной поступит другая, дядюшка, не так ли?

Дядя махнул рукою.

— Вы, молодые люди, никогда не верите нам, старикам. Вот ты, я чаю, не поверишь и тому, наприм., что может быть шум и крик в доме без всякой видимой причины?

— Полуверю...

— Половина ни в чем никуда не годится; все в природе есть целость — не так ли... как тебя, шеллингист или гегелист?

— И то и другое, а может быть, ни то, ни другое...

— Что? что? Сомнение? Скептицизм?.. какая старина! Но в этом случае, сделай милость, не будь скептиком, ибо что я говорю, то правда. Ко мне сию минуту приходил хозяин дома и рассказал то, что, впрочем, я давно знаю. Да! я знаю этот дом уже лет сорок; он в мое время принадлежал князю А., с которым мы были дружны в молодости. Тогда еще дворяне жили по-боярски: в доме на каждом шагу видно было, что у хозяина были отец, дед, прадед и предки, чего не заметишь в нынешних наемных квартирах, где наши исторические имена так скучно проживают и проживаются...

— Дядюшка! Это мне не в бровь, а прямо в глаз...

— Знаю, знаю, новое поколение!.. Отцы наши жили небрежно — они не подорожили ни вашим именем, ни здоровьем; я и не виню вас: вы очищаете грехи отцовские. Но в мое время не так было: дед нынешнего наследника тридцать лет жил безвыездно в своем московском боярском доме; им кормился целый околодок; его именем называлась целая улица, ибо он в точности исполнял боярскую должность: делал добро не считая и забывая, — а с его легкой и щедрой руки поднялось несколько купцов, которых дети теперь миллионеры. В его всегда развязанном кошельке черпал отец, отдававший сына в училище, промышленник, заводивший ткацкий стан; по милости этого кошелька образовались несколько хороших живописцев в академии, целый оркестр музыкантов... Впрочем, тогда так делали многие, и, поверь самовидцу, что нынешнему богатству московского среднего класса и разрастающейся промышленности первое начало было положено тогдашнею боярскою даровитостью, которая, однако ж, умела не проживаться. Я часто бывал у князя; еще тогда, т. е. лет за сорок, он показывал мне комнату, в которой иногда по ночам слышен был странный шум, похожий на вопли; я даже нарочно ночевал несколько дней сряду в княжеском доме и сам два раза слышал этот

шум. Едва мы отворяли дверь — все утихало; комната была пуста, и все на своем месте. В эту комнату призываемы были и ученые, и колдуны, и заговорщики — ничто не помогло и ничто ничего не объяснило. С тех пор мне было время забыть об этом доме; но на днях последний наследник продал заочно отцовский дом здешнему, мне знакомому купцу, который в боярских палатах хочет завести какую-то прядильную фабрику; третьего дня он пришел ко мне и, рассказывая о выгодах своей покупки (ибо я его приучил меня не обманывать), заметил, что одно только худо.— Что же такое? — спросил я.— Да так,— отвечал он, почесываясь и улыбаясь,— как мы спроста говорим, купил я дом-то с домовыми.— Как с домовыми? — Да так, батюшка; едва мы переселились в него, как ночью услышали, кто-то в зале вопит: мы подумали, что там кто остался из рабочих; пришли — все тихо, а в покое пустехонько. На другую ночь — то же и на третью ночь то же: завопит, завопит, да вдруг и стихнет, а там опять; этак бывает раза два-три в ночь, так что ужас на всех навело. Не знаете ли, батюшка, какого средствия?.. Я поехал с купцом в его новый дом и без труда узнал ту самую комнату, в которой я делал свои наблюдения еще при покойном князе,— в ней не было никакой перемены.

— Что же вы присоветовали бедному купцу? — спросил я у дядюшки.

— Я присоветовал ему поставить в этой огромной комнате паровую машину, уверив его, что она имеет особенное свойство выгонять домовых. Но пока еще комната не переделана, не хочешь ли ты, господин физик, посмотреть ее и по новым теориям объяснить это странное явление? ведь вы нынче беретесь все объяснять!

— Нет, мы нынче беремся ничего не объяснять... Мы утверждаем, что всякая вещь есть, потому что она есть...

— Это очень полезно для хода наук, благоразумно и избавляет от труда искать и забираться вдаль...

— Однако ж, комнату посмотреть любопытно...

— Хорошо,— сказал дядюшка,— карету! Только уверься, что все это не мечта воображения; что я, человек хладнокровный, слышал эти вопли собственными ушами. Впрочем, нельзя не поверить и купцу.

Когда мы вошли в старобоярский дом, я с грустью посмотрел на княжеские гербы, которые щедро рассыпаны были по стенам; на ряды портретов фамилии, которой начало терялось в баснословных временах нашей истории; на старинные хрустальные люстры, которыми освещались боярские пиры, открытые для всех мимоходящих; на

кабинет князя, с его огромными креслами, где он, может быть, думал, на какое новое добро бросить свое золото — и сердце мое сжалось при мысли, что грубая механическая работа заступит место высоких нравственных деяний. Дядя молчал, но, кажется, думал то же, а словоохотливый хозяин еще докучал нам рассказами: «Здесь будет сушильня, здесь чесальня, здесь белильня, в кабинете складочная для хлама, и пр. т. п.». Ситец и набойка! Сто́ите ли вы этого? Под вашими станами исчезает память о древнем добре наших предков, исчезает история! В этих размышлениях мы совсем позабыли предмет нашего посещения. Наконец хозяин растворил дверь в огромную залу, освещенную сверху: «Вот здесь, по совету вашему, батюшка, поставлю паровик; оно и очень удобно. Вот здесь-то»... хозяин сделал значительную мину и перекрестился.

Я осмотрел со вниманием эту странную комнату и наконец сказал дядюшке:

— Это не комната, а духовой инструмент.

— Вот что! — сказал дядя, насмешливо улыбаясь,— сделай милость, объясни, да пояснее. Ведь нынче вы гоняетесь за ясностью,— подумаешь в самом деле, что есть что-нибудь ясное для человека на сем свете! Объясни, объясни.

— Объяснить трудно, но догадываться можно. Я не шучу. В самом деле, эта комната похожа на духовой инструмент. Посмотрите на эту длинную галерею, которая, как труба, примыкает к этой зале: эта зала играет роль раструба валторны, а в самой зале взгляните на свод, сделанный в потолке: этот свод — отрезок конуса, на этот свод рамы окошек опускаются в виде отрезка октаэдра...

— Пощади, пощади! — вскричал дядя,— если не меня, то хоть по крайней мере эту невинность! (С сими словами он указал мне хозяина дома, который, выпучив глаза, слушал меня со всевозможным вниманием и пританкивал.) Вы, батюшка Пантелей Артамонович, не дивитесь: мой племянник мастер заговаривать; а вы знаете, в «заговорах» бывают не́весть какие слова: и конусы, и октаэдры...

— Понимаем, понимаем, батюшка,— отвечал хозяин.

— Какое же заключение? — спросил меня дядя.

— А такое, что всякий звук в этой галерее, которая построена сводом, проходя в эту залу, должен удесятериться. Теперь вообразите, что этот звук попадет в тон этого свода — тогда звук наверное усилится всотеро; прибавьте к этому эхо, производимое наклоненными рамами, и тогда уверитесь, что писк какой-нибудь крысы —

в этом акустическом микроскопе покажется похожим на вопль человека...

— Совершенно справедливо,— заметил дядя,— только ты, человек девятнадцатого века, должен доказать слова свои опытом...

Я пошел в галерею, шаркал, пел, свистал — все эти звуки раздавались громко в галерее, но в зале ничего подобного воплю не делалось. Дядя улыбался; хозяин дома смотрел на все это с удивлением, не зная, что перед ним происходит, шутка или дело. Я измучился, ходя по галерее.

— Ну, что скажешь, господин ученый? — сказал мне дядя по-французски.

— Скажу то, что я вам верю, верю и хозяину дома, но...

— Но тебе хочется самому испытать, не обманываем ли мы тебя?..

— Почти так, дядюшка; опыт будет чище, как говорят химики.

— Если за тем дело стало, то изволь! Вот, Пантелей Артамонович,— продолжал дядя, обращаясь к хозяину дома,— мой дока говорит, что ему стоит провести у вас одну ночь, так он разом выведет домовых... у него есть такое зелье.

Хозяин кланялся и благодарил.

— А чтоб тебе не так было страшно,— прибавил дядя,— господин философ, я у тебя буду для компании.

Вечером мы явились на сторожку. Нам отвели маленькую комнату возле двери очарованной залы. Я принял все возможные предосторожности, осмотрел все прилежащие комнаты, запер все двери, везде зажег множество свечей, а из кармана вынул несколько нумеров политических французских газет. Дядя был сумрачнее обыкновенного.

— Это что такое? — спросил он, показывая на газеты.

— Это мое зелье,— отвечал я,— то зелье, о котором вы говорили хозяину дома.

— Подлинно зелье,— возразил дядя,— и даже очень действительное; ничто столько не удаляет человека от внутренней, таинственной, настоящей его жизни, ничто его столько не делает глухим и немым, как картина этих мелких страстишек, мелких преступлений, которая называется политическим миром...

— Что делать? человек принужден жить в этом мире...

— То есть, хочет жить. Его скотинке очень нравится переливать из пустого в порожнее и уверять себя, что занимается чем-то очень важным и дельным. Ей по плечу все эти маленькие хитрости, все эти маленькие подлости

для маленьких целей. Не знают эти господа, как они портят воздух, которым мы дышим!

— Портят воздух?

— Да еще как!

Я засмеялся.

— Любопытно было бы исследовать,— сказал я,— какое химическое изменение производят газеты в воздухе...

— Исследуй лучше, господин ученый, отчего пылинка мускуса наполняет своим запахом целую комнату. Ты, верно, слыхал, что императрица Жозефина очень любила мускус. Недавно вошли в комнату, которую она занимала тому лет тридцать; в течение того времени эту комнату и мыли, и проветривали, и мебели в ней переменяли — что же? Запах мускуса в ней все-таки до сих пор остался.

— Об этом было во всех журналах; но это ничего не доказывает, известна делимость мускуса...

— Известна? — повторил дядя, захохотав.— Если так, то поздравляю. А известно ли тебе, почему ты не войдешь в комнату больного заразительною болезнию?

— Без сомнения! потому что от испарений, от дыхания больного составляется болезненная, заразительная атмосфера...

— Болезненная атмосфера! А ты думаешь, дитя, что та сила, которая в тысячу крат сильнее телесного дыхания и материальной делимости, сила преступной мысли, преступного чувства, преступного слова или дела не производит вокруг себя болезненной, тлетворной атмосферы? Скажи, неужели ты не замечал на себе, что ты легче дышишь в присутствии доброго человека, нервы твои успокаиваются, как бы благовонный елей пролился на них, голова светлее, сердце бьется ровно и весело, и, напротив, невольно дух занимает в присутствии подлеца, что-то тяготит тебя, давит; мысли сжаты, сердце бьется тоскливо, ты боишься устремить свои глаза против такого человека, как будто стыдишься за него или боишься, чтоб он своим взором не прожег твоей внутренности?.. Инстинкт тебя не обманывает! Верь, молодой человек, что вокруг каждой мысли, каждого чувства, каждого слова и дела образуется очарованный круг, которому невольно подчиняются попавшие в него менее мощные мысли, чувства и дела; эта истина современна миру; грубая эмблема ее сохранилась в тех очарованных кругах, которыми очерчивают себя сказочные волхвы.

— Все это может быть очень справедливо, если может быть доказано.

— Доказано, доказано! — повторил дядя с сердцем.— Да имеете ли вы способность доказывать? Что у вас доказано?..

— Очень немногое, но по крайней мере в эту минуту доказано, например, то, что эта свеча стоит на столе, потому что я ее вижу...

Дядя захохотал.— Видишь? Видишь? А по какому праву ты видишь? По какому праву ты думаешь, что ты видишь? Кто сказал тебе, что ты видишь? Кто сказал тебе, что перед тобою свеча? Я, напротив, уверяю тебя, что не свеча теперь перед тобою; докажи мне противное.

Я захохотал в свою очередь.

— А я вас уверяю, что теперь на луне дают большой концерт, на который собрались все лунные жители; докажите мне противное.

— Так! — вскричал дядя.— Вот ваша логика XIX-го века! Дальше ее вы ничего не видите. Ты, разумеется, прав в отношении к ней, но она-то не права в отношении ко мне. Смейся, смейся, господин философ, но достоверно то, что есть места, к которым как бы привязано все прошедшее, на которых таинственными буквами начертаны для людей, отдаленных от нас столетиями, их мысли, их воля... Не смейся; мне также на днях довелось посмеяться над вашими учеными, которые прокаливали и вымачивали намагнетизированные вещи и потом очень были удивлены, что, несмотря на все их проделки, эти вещи одним прикосновением наводили магнетический сон на сомнамбулов... Материалисты! Хотели прокалить и вымочить волю магнетизера! Вам надобны факты? Хорошо! Знаешь ли ты, господин ученый, что есть люди, которые носят с собою все дела свои? В молодости я знал одного человека, который обольстил девушку, и несчастная кинулась в реку. Что же? Как скоро он начинал рассказывать об этом,— волосы его подымались дыбом, лицо бледнело, он весь трепетал; в эту минуту он видел перед собою, как я теперь вижу тебя, реку, несчастную девушку, ее предсмертные муки...

— А! Знаю, знаю! Эту комедию очень хорошо представляет один мой знакомый...

— Да, я знаю, что это происшествие обращено в шутку; но его основа истинная: я знал очень хорошо человека, с которым это случилось, и уверяю тебя, что для него оно не было шуткой, а доказательство — он умер, замученный этим видением...

— Позвольте, однако ж, вам заметить, дядюшка, что вы не даром завели такой разговор. Вам хочется раздражить мое воображение, приготовить меня к необычайно-

му, потом напугать меня, чтоб после, по вашему обыкновению, вдоволь посмеяться и надо мною, и над нашим веком, и над нашими знаниями.

Дядя улыбнулся своей неопределенной улыбкой.

— Читай же свое зелье,— сказал он и с сими словами вынул из кармана книгу.

— Что я вижу?— вскричал я,— да это «Брюсов календарь»! Так вот откуда вы почерпаете свою мудрость, почтеннейший дядюшка? Позвольте мне в свою очередь посмеяться.

— В этой книге много вздора,— отвечал дядя с полуважным и с полунасмешливым видом,— но в этом виноват не сочинитель... Как бы то ни было, мне эта книга нужна: сегодня я хочу поверить одну цифру, которая кажется мне сомнительною.

Уже было одиннадцать часов вечера; все в доме улеглись; на улицах смолкло; лишь с каланчей раздавались протяжные оклики часовых и терялись в отдалении; свечи нагорели, и трепещущие тени ложились по карнизам, украшенным княжескими гербами; все было тихо.

Газеты были интересны в эту минуту; читая их, я совершенно забылся; все мое внимание было устремлено на этот положительный европейский мир с его деятельностью, промышленностью, страстями, паровыми машинами. Особенно статья о железных дорогах очень занимала меня, и невольно в душе моей возбуждалась гордость при мысли о исполинских предприятиях промышленности нашего времени. Словом, я весь углубился в чтение, как вдруг... верить ли?.. нет, это не обман... точно, в очарованной зале раздалось, и очень явственно, стенание. Никогда я не забуду этой минуты; до сих пор эти звуки раздаются в ушах моих. Этот стон не походил ни на голос человека, ни на крик животного, но в нем было нечто невыразимо-грустное; он проникал во внутренность души, его нельзя было слушать без особенного волнения; казалось, этот звук повторялся в самой глубине моего сердца... В эту минуту пробило двенадцать часов; бой часов привел меня в себя: я бросился к дверям залы,— в ней все было тихо. Поставленные мною свечи на столах горели спокойно; все двери были заперты, и в зале никого не было. Я снова обшарил все стены, заглянул в соседние комнаты— все было тихо и спокойно. Невольно смущенный возвратился я в комнату дяди: он сидел спокойно, внимательно пересматривал свою книгу и делал в ней какие-то отметки.

— Слышал?— сказал он.

«Слышал»,— отвечал я ему.

— Понимаешь?

«Нисколько».

— Ну, может быть, это был скрип двери,— продолжал дядя своим насмешливым тоном.

Я молчал. Дядя продолжал: — Хочешь ли еще оставаться?

— Хоть до утра. Но почему нам не войти в залу?

— Я не знаю наверное, не помешает ли это нашему опыту. Подождем еще второго раза; если хочешь, сделаем так: я пойду в ту комнату, в которую вход с противоположной стороны залы; ты останешься здесь; оба станем у дверей и в минуту вопля войдем в залу в одно время.

Я согласился, хотя, признаюсь, на меня находил ребяческий страх и мне жутко было оставаться одному в комнате. Сердце мое сильно билось, стенание беспрестанно отдавалось в ушах моих.

Я старался прийти в себя, вычисляя все акустические возможности образования такого звука. Между тем одною рукою я взял свечу, а другую положил на ручку дверей, чтоб быть готовым всякую минуту; не знаю, долго ли я пробыл в сем положении; все было вокруг меня тихо; я слышал, казалось, трепетание моего пульса; вдруг, когда я хотел отойти уже от дверей, возле нее самой, под моим ухом, снова раздался вопль; но этот вопль имел другой характер: он также не походил ни на какой из известных мне звуков, а казался более выражением гнева, нежели грусти.

Холод пробежал по моим жилам. Однако ж, я быстро отворил дверь и чуть было не отступил назад, когда на другом конце залы увидел человеческий образ... Только через минуту я узнал в нем лицо дяди, который, по условию, отворил свою дверь в одну минуту со мною.

— Слышал? — повторил дядя своим обыкновенным тоном.

— Странно, очень странно! — отвечал я.— Теперь слушайте, дядюшка; нужно испытать последнее: останемся в этой комнате и посмотрим, точно ли в ней происходят эти страшные явления.

— Согласен,— отвечал дядя,— хотя, признаюсь тебе, я по особенным причинам не хотел бы здесь оставаться, да и за успех не ручаюсь. Впрочем,— прибавил дядя, подумав немного,— испытаем.

Я снова осмотрел все соседние комнаты, все двери, поправил свечи и, чтоб дать другое направление своим мыслям, принялся снова за свою газету; мы уселись посредине залы возле ломберного стола; дядя чертил на

нем с большим вниманием какие-то цифры и непонятные мне знаки.

— Что это такое? — спросил я.

— Ничего,— отвечал дядя тоном более важным обыкновенного.— Это касается до меня одного; ты вне этой сферы.

— Дядюшка,— вскричал я,— бога ради, прочь эту таинственность! Я желаю теперь сохранить все присутствие духа.

Мы замолчали. Более получаса продолжалась совершенная тишина, как вдруг... как выразить мое удивление! из глубины залы послышалось снова стенание, сперва тихое, потом громче, громче... наконец оно раздалось над самым моим ухом. На этот раз я явственно различил два звука, в которых выражалось какое-то неутешное отчаяние, гнев, печаль, словом, все скорбное, что только могла изобресть душа человека; я вскочил со стула, взглянул на дядю — он сам казался встревоженным и, сильно опираясь на стол, с беспокойством следовал за движением звука... Но как выразить мой ужас, когда, взглянув на противоположную стену, я увидел между тенями, которые ложились от меня и от моего собеседника, еще третью тень, весьма явственную, но которой образа уловить было невозможно, ибо он беспрестанно изменялся. Это было нечто невыразимое, похожее на человеческую фигуру, которое, казалось, рвалось и билось, беспрестанно меняя свою форму; тут было подобие головы, рук, которые то вытягивались, то сжимались, как фигуры на оптических картинах, известных под названием «аморфозных». Все это продолжалось не более минуты... Я оглянулся назад: в зале никого не было, кроме нас; я взглянул опять на стену,— непонятная тень бледнела, с тем вместе и вопль терялся в другом конце залы. Казалось, он пронесся мимо нас.

— Ну, слава богу, исчезло! — сказал дяди, отнимая руки от стола.— Несчастные! — прибавил он вздохнувши,— когда же вы заплатите последний динарий?

Через несколько минут дядя успокоился, принял опять свой насмешливый вид и сказал:

— Что? Слышал?

— Слышал,— отвечал я.

— Видел?

— Видел,— отвечал я.

— Чист ли опыт, господин испытатель?

Я молчал.

— Теперь можно спокойно отправиться домой,— продолжал дядя,— ничего больше не будет.

— Почему вы это знаете?

— Три эпохи жизни — три стенания.

— Бога ради, оставьте свой таинственный тон. Постараемтесь лучше общими силами истолковать это странное явление...

— Для меня оно очень ясно.

— Так скажите.

— Что пользы? Ты все-таки ничего не поймешь и скажешь опять, что я насмехаюсь над тобою, что этого нельзя доказать, и прочее, как ты обыкновенно говоришь в ответ на мои искренние объяснения, — искренние, — повторил он с насмешливым видом.

— Нет, говорите, дядюшка, говорите, что вы знаете и как вы понимаете. В таком странном явлении все допустить можно.

— Все? — спросил дядя, посмотрев на меня пристально.

— То есть... я хотел сказать, что всем должно пользоваться для объяснения...

Дядя улыбнулся. Я замолчал.

Мы пробыли до утра в очарованной зале и, как говорил дядя, действительно ничего более не слыхали.

Вот что называл дядя объяснением этого странного явления. Я постараюсь, сколько дозволит память, повторить здесь его рассказ во всей его полноте.

— Чтоб объяснить тебе это явление, — говорил дядя, — я должен начать издалека. Оно, по времени, относится к третьему десятилетию XVIII века. Моего рассказа ты не найдешь в истории, потому что в вашей истории записываются лишь внешние происшествия, лишь обманчивые образы настоящих внутренних происшествий. Сверх ваших филологов, археологов, антиквариев и проч. т. п. существуют на сем свете другие историки; они ведут летопись тем явлениям, которые обыкновенно остаются у других незамеченными или истолкованными превратно. Я имел случай, в моей жизни, быть в сношении с этими неизвестными бытописателями, и то, что тебе буду рассказывать, почерпнуто мною из их таинственных преданий. Верь мне или не верь, как хочешь. Если мой рассказ покажется тебе недовольно ясным, потрудись объяснить сам. Что до меня касается, мне других объяснений не нужно.

Около 1726 года в отдаленной комнате невдалеке от Сухаревой башни, около полуночи, два человека, — один

старик, другой средних лет, суетились возле печи странного вида. Молодой человек сидел против самого очага и поправлял щипцами горящие уголья; осмотрев тщательно устье, он принимался читать огромную книгу, лежавшую перед ним на налое. Старик, в широком бархатном кафтане, после осмотра садился в кресла и слушал чтение с большим вниманием: молодой человек читал протяжно.

«...Получив камень посредством хорошего управления огня белым, что уже выше показано было, если захочешь видеть его красным, то умножай жар печи, ибо наша Саламандра живет лишь в сильном огне и среди огня и питается огнем и не боится огня; от легкого жара не отделится от камня тинктура и сера. На работу сию потребно 41 сутки».

— А который день у нас сегодня? — спросил старик.

— 32-й с начала фиксации, — отвечал молодой человек.

— А все еще не видать красного дракона, да не видать даже и ржавчины, о которой говорит Василий Валентин. Верно, мы как-нибудь ошиблись в операции.

— Подождем 41-го дня, тогда увидим.

— Хорошо тебе ждать, молодому человеку, а каково мне — старику? Вот уже четвертый раз начинаем все ту же операцию: кажется, близко, кажется, ничто не забыто, — а нет успеха! А между тем силы слабеют; сколько ночей без сна... Если б не ты, Иван Иванович, то не достало бы у меня сил на это великое дело. Ах, если бы нам только дойти до красного дракона! Уж из него можно было бы получить питейное золото, которое доставляет человеку жизнь почти бесконечную и совершенное здравие. Пока добьюсь жизненного эликсира, боюсь совсем здоровье потерять. Вот и теперь уже дремота меня клонит; если неравно засну, то ты уж, пожалуй, не засни, любезный; сослужи службу, — ведь я тебе великую тайну открываю, — пожалуйста, не засни; теперь каждая минута дорога; не жалей уголья; не отходи от атанара:[1] если минуту огонь ослабнет — все погибло, опять надобно будет начинать сызнова. Пожалуй, не засни; ах, дремота клонит, береги... Саламандру... потому что... драконовая кровь... атанар... квинтэс... сенция... эликсир...

Мало-помалу слова старика мешались; он дремал, дремал и наконец заснул совершенно, повторяя во сне заветные слова алхимистов.

Молодой человек все прилежно смотрел за очагом, не сводил с него глаз и поправлял горящие уголья.

---

[1] Алхимическая печь. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

Грустные мысли носились в голове сидевшего пред очагом.— Так вот,— думал он,— чем кончились все мои надежды; вот зачем судьба вырвала меня из моей бедной финской лачужки. Много прекрасного блестело предо мною; я видел *Великого,* я беседовал с ним, я думал его мыслями, чувствовал его чувствами — и не стало Великого, и схоронились с ним все мои надежды. Нет подпоры у бедного пришельца. Оклеветали меня, изгнали... Что-то делается теперь в моей прекрасной комнатке в адмиралтействе? Трудится ли там кто с таким рвением, с каким я трудился? А мои переводы по цифирной науке, а мой план типографии?.. Все осталось втуне! Разве на добычу червям. И что же? Будущий воевода, боярин — теперь помощник, почти раб брюзгливого, полусумасшедшего старика, провожу бессонные ночи пред горящим угольем, над работою едва ли сбыточною и едва ли не преступною!.. А тут еще жена со своими требованиями, упреками; говорит, что я не могу содержать ее, вспоминает о прежнем своем житье, о прежнем довольстве. Что же мне делать? Я ли виноват, что меня лишили места, что другим оно понадобилось? Я ли виноват, что меня, бедного финна, все отталкивают от себя с презрением? Грустно, грустно!.. Ах, мои золотые надежды, где вы? Где вы? Был бы жив Великий, не то было бы... А теперь неужели все кончено? Неужели мне не жить в барских хоромах? Неужели не видать больше поклонников? Неужели умереть не воеводою? Ах, зачем, зачем я оставил мою лачужку? Зачем судьба привела меня видеть чужие страны? Зачем получил я свет наук и образовал ум свой? Тогда бы сердце не томилось; не знал бы, не мучился бы я неутолимою жаждою; спокойно бы провел мою жизнь при шуме родных порогов, в бедной лачуге... А Эльса, Эльса! сестрица! Где ты, что с тобою? Где твои светлорусые кудри, где твои томные очи? Где твоя белая грудь? Ты бы любила меня, ты бы не роптала на судьбу, что принуждена жить с бедным чухонцем; на твоей простодушной груди я засыпал бы спокойно, прислушиваясь к родимым песням...

Молодой человек закрыл лицо руками; слезы брызнули из глаз его...

— Таинственный очаг! — продолжал он,— что ты устремил на меня свое огненное устье, что скрывается в тебе? Зола-уголь... но кто знает... быть может... еще несколько дней, и польется из тебя злато, и бедный финн гордо взглянет в лицо людям. О, тогда не тебя озолочу я, злая жена, не тебя! — на твоем языке лишь змеи шипят! — нет, тогда брошу тебя, покину... Богатому все позволено;

полечу к родным берегам, обойму свою Эльсу и с нею вместе засмеюся над целым миром. Ах, Эльса, Эльса! где ты?

В эту минуту кто-то постучался у двери; молодой человек взглянул: — Так! Это жена моя, змея подколодная. Что тебе надобно? — сказал Якко (так называли молодого человека). В комнату вошла женщина лет тридцати, бледная, с лицом, искаженным от гнева; платье ее было в беспорядке.

— Что? — сказала она сердитым голосом.— старый заснул? Залей огонь — меньше угольев выйдет.

— Как можно! — отвечал Якко.

— Так же можно, как ты прежде делал; что вы тут варите, бесам на потешенье! Мне вот так от добрых людей прохода нету.— День и ночь огонь у вас тлится; ведь прохожие дым-то видят и дым-то у вас не православный — серой да жупелом пахнет по всей улице. Все говорят, что ты яды варишь или чертей вызываешь.

— Пусть болтают себе что хотят, на этот раз не хочу больше обманывать старика, не переведу огня, пока дело не кончу.

— Да, слушай тебя! Не бойсь, старик-то себе на уме: не хочет у себя на дому чертям кашу варить, а к тебе приходит; ему ничего, а тебя в срубе сожгут, да и меня с тобою вместе. Ах, я бедная, горемычная сирота! Нет у меня ни отца, ни матери, ни роду, ни племени, некому за меня заступиться — попустил же бог выйти замуж за проклятого чухну, за колдуна, за еретика...

— Вон отсюда,— закричал рассерженный муж,— или худо тебе будет. Старик проснется, увидит тебя здесь, беда да и только. Поди вон, говорю тебе.

— И ходить-то мне не в чем по вашей милости, государь мой, Иван Иванович! Дайте денег на башмаки.

— А где я возьму? От старика не добьешься; а как он проснется да тебя увидит здесь, так и последнего куска хлеба не будет... Смотри, он никак потягивается — убирайся вон, говорят тебе!

Женщина взглянула на Якко с невыразимою злобою и ушла, бормоча про себя: — Чухна, колдун, еретик, нищий...

— И вот та женщина,— подумал Якко,— которая мне казалась ангелом доброты! Куда девалась девическая кротость, женский стыд? Та ли это Маша, которая, бывало, в своем голландском чепчике, затянутая в кофту, милая, добродушная, боялась вымолвить лишнее слово? Теперь все переменилось! Пока мы жили в довольстве, она казалась ангелом; но этот ангел не перенес самого

обыкновенного бедствия — нищеты! Ах, Эльса, Эльса! Ты бы не переменилась! Где ты? Неужели никогда не суждено мне видеть тебя?..

Между тем стал показываться свет; багряное северное солнце начало проглядывать сквозь туманы и тихо, как тать, пробираться по кровлям. Старик проснулся.

— Как! Уже утро? — сказал он, протирая глаза. — Что наше дело? Не ослаб ли огонь? — Он встал, подошел к атанару, осмотрел его со всех сторон, и, казалось, был доволен.

— И ты не заснул ни на минуту?

— Ни на минуту, — отвечал Якко.

— Спасибо тебе, мой сын. Потрудись, потрудись; помоги старику, уверяю тебя, внакладе не будешь... Важную тайну вверяю я тебе, молодой человек. Знай, все мудрецы мира, от начала веков, искали, в чем состоит наше дивное дело... дивное, говорю тебе. Оно всемогуще; оно спасает тела от гниения, оно, повторяю тебе, может бесконечно продлить существование человека... Одного не знали они: с чего начать; а я, я знаю. Так как вышние небеса образуются вокруг земли не сами собою, но влиянием солнца и других планет, так и наша квинтэссенция ждет оживления солнца, блестящего, всесильного, ровного, и против этого солнца не могут ничего все огни земные. Говорю тебе от избытка сердца, что это солнце, непобеждаемое огнем, этот корень нашей жизни, это семя металлов, созданное для украшения нашего неба, было — в этой руке!

Якко слушал старика и не знал, верить ему или не верить: старик говорил с такою силою, с таким искренним убеждением... Правда, уже три раза принимались они за свое чудное дело и три раза находили — одну золу. Но Якко знал, что не один ученый муж в Голландии, Франции, Германии верил в алхимию и трудился над философским камнем. Многие смеялись над сими усилиями, но никто еще не осмеливался явно доказывать невозможность философского камня. В Париже Якко видел живое свидетельство этой истины: он видел здание, воздвигнутое на золото, сотворенное Николаем Фламмелем; он видел те чудные символы, которые Николай Фламмель оставил на построенных им зданиях в память своего дела и на разгадку мудрецам всех веков; он видел своими глазами в Вене железный гвоздь, которого половина была обращена в золото знаменитым алхимиком в славу таинственной науки; да и самый тот, который теперь работал с ним, принадлежал к числу ученейших мужей того времени; воин, сановник, почтенный высоким

званием — как было не верить ему?.. А между тем старик казался ему подозрительным; иногда можно было сомневаться, сохранился ли в нем здравый рассудок; иногда он плакал, иногда смеялся как ребенок, прыгал по полу, хватался за волосы или начинал малопонятную, исполненную противоречий, но величавую речь, и тогда глаза его горели, он был в исступлении, трепетал всем телом. Не доверяя ни старику, ни своим сомнениям, Якко старался в книгах найти объяснения загадке. Парацельс, Арнольс де Вилланова, Гебер, Василий Валентин не выходили из рук алхимика; обольстительны были их речи; казалось, они открывали свою душу; все единогласно сулили богатство, счастье, здравие и жизнь долгую тому, кто с терпением дойдет до конца поприща. Якко находил в их описаниях все подробности чудного дела; ничто не было забыто; казалось, стоило только приняться; сами они говорили, что это дело может сделать женщина, не оставляя веретена своего; одного не открывали они: вещества, из которого должно было произрасти древо жизни — и пред Якко был человек, хвалившийся, что знает это таинственное вещество, которого имя никогда не было вверено бумаге. Это вещество было пред ним, сокрытое в грубой глиняной колбе... Якко терялся в размышлениях.

Последние дни алхимики не отходили ни минуты от очага. Когда засыпал Якко на два или три часа, не более, тогда за атанаром надсматривал старик.

Наконец наступил роковой, сорок первый день; алхимики не спали во всю ночь и ровно в уреченный час, в минуту, загасили огонь. О, как бились сердца их, когда наступило решительное мгновение! Рука Якко дрожала, когда он бережно стал отделять смазку, соединявшую все части таинственного снаряда; еще минута — и заблещет пред ними чудный пурпуровый камень, семя металлов, эликсир от всех болезней, дивная тинктура, возводящая грубый свинец в достоинство золота...

И вот снята крышка таинственного сосуда — что же?.. на дне его лежала черная, безобразная, спекшаяся масса, и только.

— Черный ворон поглотил нашего красного дракона,— воскликнул старик,— мы в чем-нибудь ошиблись... Надобно начать сызнова. Отдохни несколько дней — дня три, не более; а там опять изготовь атанар; я между тем пройду в уме все производство; постараюсь заметить, в чем мы могли ошибиться. Прощай. Не приходи ко мне. Не

надобно, чтоб профаны знали о нашей связи. Не оставляй книг, прочти еще раз Парацельса: память моя слаба; я могу иное и упустить из вида.

С сими словами старик вынул из кармана серебряный рубль, положил на стол пред бедным Якко и удалился.

Бледный, изнеможденный, измученный бессонницей, Якко вышел из лаборатории в соседнюю комнату и с отчаянием бросился в постель. Сон его был слабый, беспокойный; но, мало-помалу, видения делались увлекательнее: он видел берег Вуоксы, слышал шум иматрских порогов; Эльса была перед ним во всей своей красоте; она склоняла голову на грудь Якко, целовала его; ее кудри обсыпали его лицо; вокруг них лежали золотые слитки, драгоценные камни; светлое солнце сияло над ними и отражалось в их радужных переливах.

Грубый голос вывел Якко из его сладкого забвения.

— Перестанешь ли спать, ленивец?—говорила Марья Егоровна,—только бы спать тебе. Ну, где же золото? Подавай его. Много ли вы его наварили?

Якко едва мог прийти в себя; однако ж, он опустил руку в карман, вынул оттуда серебряный рубль и бросил его с презрением на пол...

— Только-то?—сказала жена, поднимая монету.— Покорно благодарствуем, батюшка Иван Иванович! И это все на спитки, на съедки?.. Не много ли будет? Смотрика, с квартиры хотят сгонять; хлебник говорит, что уж больше в долг хлеба не даст, и мясник тоже, и лавочник... Ах, я бедная, горемычная!.. Последнее платьишко осталось!.. Не в чем в божию церковь сходить, богу помолиться, чтоб не наказал меня за грехи твои, колдун проклятый!.. Ах, матушка, матушка родимая! Думала ли, гадала ты, что дойду я до такой участи?..

— Что ж делать мне?—спросил Якко с отчаянием.

— Делай, что знаешь, ты на то муж... мое бабье дело.

— Богом клянусь тебе, Марья Егоровна,—отвечал Якко слабым голосом,—что рад бы кровь тебе свою отдать, чтоб только ты меня не попрекала.

— Полно бога-то призывать, еретик! Меня не проведешь; слыхали мы эти россказни.

— Да что ж делать мне?—отвечал Якко, начиная сердиться.

— А то было делать, что остаться в Петербурге. Было славное место, жалованье, все мой отец тебе доставил...

— Но ведь ты знаешь, что меня выгнали?

— Выгнали? Отчего?.. Оттого, что спина у тебя больно твердая. Пошел бы, покланялся... так нет, как можно!.. Вишь, горд некстати. А теперь и свисти в

кулаки... Ну, давай денег! Ты по закону должен меня содержать.

Якко вскочил с постели.

— Замолчи! — вскричал он.

— Нет, не замолчу, а пойду, донесу, что ты колдуешь, яды варишь. Как приведут в застенок да начнут лопатки выворачивать, так другим голосом заговоришь, еретик проклятый! Нищий!..

Мы не будем описывать сцены, которая последовала за этим разговором. Она, в нашем веке, показалась бы слишком странною...

Прошло три дня. Якко не успел и отдохнуть. Жена не давала ему ни минуты покоя, и он мог укрощать ее лишь средствами совсем нефилософскими. Все это мучило, унижало его душу. Часто он готов был наложить на себя руки; еще чаще хотел бежать из Москвы и пробраться на родимую сторону. Но его еще все манила надежда; казалось, она даже усиливалась с неудачами. «Еще сорок дней, — сказал он наконец самому себе, — и одно из двух: или я обладатель сокровища, или меня не станет».

На четвертый день кто-то постучался в двери; то был старик.

— Нашел! — сказал он, — и как можно было забыть это!.. Надобно было начать в четверг, в день, посвященный Юпитеру; а мы начали в понедельник, в день луны! Очень понятно, что ее холодная влажность проникла в наш атанар и помешала созреть дракону. Сегодня четверг, и ровно в полдень мы приступим к нашему делу. Все ли готово?

— Все, — отвечал Якко грустно, — но прежде, нежели мы приступим к работе, позвольте попросить, ваше сиятельство... в доме у меня нет ни копейки... рублем, вами данным, я заплатил необходимые долги... — Слезы стыда и уничижения катились по щекам Якко.

— Так! Я этого ожидал! — вскричал старик гневно. — Денег! все денег! Настоящий сын адамов! Я не знаю, право, зачем я тебя посвятил в наше дело. Ты работаешь только из корысти. В тебе нет душевного чувства к великому делу оттого, что душа твоя нечиста; ты не понимаешь стремления моей души, ты не понимаешь всей важности нашего таинства. Ты думаешь, это такое ремесло, как всякое другое; я тебя научаю величайшему чуду в мире, единственному, о котором человек должен заботиться, — а ты пристаешь ко мне с мирскими помыслами, с деньгами... презренный!.. Ступай, ищи денег, где хочешь.

— Уверяю вас, сиятельнейший граф, что если б не крайняя нужда,— отвечал оскорбленный Якко,— то... то я бы давно вас оставил. Ищите другого помощника, такого же прилежного, как я.

Рассерженный старик ходил по комнате; скупость терзала его, но, с другой стороны, он рассчитывал все выгоды, которые доставлял ему Якко. Старик очень понимал, как трудно ему было бы найти другое укромное место в Москве для его таинственных опытов. Трудно было скрыть действия боярина знатного, богатого; но он надеялся, что никто не обращает внимания на бедную лачужку. Он вынул из кармана серебряный рубль, посмотрел на него с сожалением и, отдавая его Якко, примолвил с притворною улыбкою: «Ну, не сердись; вот тебе деньги; немного осталось поработать, и тогда ты на них будешь смотреть с таким же презрением, как я. Ну, теперь к делу».

Ровно в полдень старик вынул из кармана золотую коробочку, открыл ее с таинственным видом, высыпал ее в атанар и поспешно захлопнул крышку, чтоб Якко не мог заметить, что содержалось в сосуде. Колба была замазана; под нею огонь разведен, и опять начались для Якко длинные ночи без сна, опять томительное, то робкое, то смелое ожидание, опять обольстительные страницы, опять однообразная, мучительная действительность. Протекли двадцать дней; снова ни старик, ни Якко не замечали тех алхимических признаков, которые предвещают успешное окончание дела. Однажды ночью старик заснул; Якко остался один пред очагом; грустно, невыразимо грустно было ему в этот день; опять он принужден был просить у старика денег, опять старик отвечал ему с обычным жестокосердием, опять жена мучила его своими упреками. Якко, устремив глаза в огонь, старался воспоминаниями прошедшего усладить горькое настоящее. Нежданно пришли ему на мысль слова, когда-то сказанные ему Эльсою; «ты наш,— говорила ему Эльса,— и должен быть нашим». Что значили эти слова, произнесенные этою странною женщиною в минуту волшебных видений?..— Эльса, Эльса!— сказал Якко,— где ты? Неужели угасла твоя таинственная сила?.. Неужели ты не чуешь, что твой Якко страдает, что твой Якко зовет тебя? О, если б ты была со мною, ты, может быть, научила бы меня, что делать!

Мысли Якко делались от часу мрачнее и мрачнее.— Что,— говорил он в глубине души своей,— что все эти сказки о добродетели, о наказаниях в будущем мире? Неужели человек осужден страдать на земле?.. Неужели

ему не дозволены все способы, чтоб избавиться от страданий?.. Все,—повторил он, невольно содрогнувшись,—да все,—сказал он с ожесточением,—о, чем бы я не пожертвовал в эту минуту, чтоб достигнуть моей цели!.. Вот еще способ, которого я не встречал в книгах; может быть, его-то и скрывают мудрые от толпы бессмысленной; может быть, здесь нужна жертва над таинственным сосудом; может быть, нужна жизнь человека... Почему не так?.. Зачем не испытать?.. И глаза Якко, пламенные, неподвижные, устремились на спящего старика.

Чувство, зародившееся в эту минуту, испугало его самого; он вскочил со скамейки, но едва повернулся в противную сторону, как смотрит... на освещенном от очага круге явственно нарисовалась какая-то тень неопределенного вида. Якко вздрогнул, холод пробежал по его жилам, он бросился к очагу и, напрягая все силы внутренние, произнес: «Эльса, Эльса! Ты ли это?»

И в средине пламени ему показался неясный образ... ближе, ближе... он не может сомневаться... это лицо Эльсы, она улыбается... она манит его... она говорит ему: «Да, Якко, это я, твоя Эльса; я услышала тебя; давно бы тебе обо *мне* вспомнить... ведь ты трудишься понапрасну. Неразумные люди! Вы хотите открыть величайшее таинство, не призвав Саламандру! Ведь огонь ваш мертв без нее. Ему ли оживить дракона? И для нас это дело трудное; и мы со страхом к нему приступаем. Но для тебя я на все готова. Засни, засни, милый Якко; подкрепи свои силы; я буду вместо тебя смотреть за работою».

— Эльса, Эльса!—вскричал Якко, простирая к ней руки.

— Нет, Якко, теперь ты не можешь обнять меня; днем я предстану тебе в земном моем виде, и ты не оставишь меня, Якко, не правда ли?.. Ты будешь мне верен?

Якко вздрогнул:—А жена?

— Жена?—отвечала Эльса насмешливым голосом,—жена не помешает...

— Как не помешает?..—вскричал Якко.

— Не бойся; я тебя не на грех навожу, неразумный; довольно только пожелать, Якко... Или ты и до сих пор не постигнул, что значит воля человека: тебе стоит только любить меня; против нашего таинственного пламени ничто смертное противостоять не может; но одно условие: будь моим, будь моим, Якко, клянись...

— Клянусь,—проговорил мрачно Якко...

Он смотрит: Эльса превратилась в струю белого пламени, но в этой струе он все узнает свою Эльсу; он

видит, как она обвивается вокруг таинственного сосуда и сыплет на него золотистым дождем. Не диво ли? Сосуд сделался прозрачным; внутри его огненный лев борется с огненным драконом, и вот лев уже при последнем издыхании... дракон поглощает его... мгновенно на нем является блестящая корона, и сосуд наполняется рубиновым светом... дракон машет огненными крыльями, и от каждого взмаха радужные лучи волнуются в сосуде.

Далее Якко ничего не видал, ибо, казалось ему, он заснул крепким сном. Стук в дверь разбудил его. Было уже утро. Старик еще спал. Молодой человек подумал, что это жена, и не хотел отворять; но стук повторился. Якко услышал, что кто-то на финском языке проговорил: «Отвори, отвори, милый Якко». Якко вздрогнул, отпер дверь — перед ним была Эльса в обыкновенной грубой финской одежде; волосы подобраны под безобразную шапочку. Она бросилась к Якко на шею. Якко был вне себя.

— Ты, я чай, забыл меня, Якко,— говорила она,— а я так вспомнила. Как скоро я проведала, что тебя выгнали, разорили, что ты беден, я все оставила и добралась до тебя. Уж чего мне это стоило! кабы не Юссо...

— Муж твой? — спросил Якко.

— Нет, Якко, я не вышла замуж. Юссо очень хотел на мне жениться, но я все говорила ему: погоди, вот братец приедет. Он ждал, ждал, бедный, да и ждать перестал; а все меня еще любит; как он узнал, что я горюю по тебе, тотчас сказал: «дай, свезу тебя, Эльса; авось-либо брату поможешь»; а Юссо такой малый смышленый, торгует в Питере, да и здешних-то знает; уж мы тебя здесь искали, искали... да еще хорошо, добрый человек случился, вот тот, который к тебе уголья возит; ведь ты, говорят, кузнец или слесарь... он и привел меня сюда, прямо к дверям — такой добрый...

— Эльса, Эльса!..— говорил Якко,— так ты в самом деле можешь помочь мне?.. Ты знаешь наше дело?..

— Нет, я кузнечного дела не знаю, а помочь тебе помогу; посмотри-ка, сколько я без тебя накопила.

И с сими словами она вытащила из-за пазухи холстину, из которой посыпались серебряные и золотые деньги. Было тут рублей сто и более.

— Эльса! — говорил Якко,— но в эту ночь, здесь в очаге...

— Что такое? — спросила Эльса.

— Помнишь, что ты мне говорила?..

— Когда? — спрашивала Эльса с удивлением.

В эту минуту Марья Егоровна возвращалась с рынка.— Это что такое?—вскричала она,— еще колдунью привел сюда?..

Но едва она увидела деньги, как лицо ее повеселело; она бросилась к Эльсе на шею: — Ах, душечка, Елисавета Ивановна!.. Я тебя и не узнала... А ты совсем не переменилась: такая же красавица, как и была; как это ты нас спознала?.. А мы об тебе горевали, горевали... Уж пожалуй, не откажи, погости у нас... Да что ж это ты деньги-то рассыпала?.. Дай приберу.

— Добрая сестрица,— сказал Якко жене,— отдает нам эти деньги; они наши.

Марья Егоровна снова бросилась обнимать Эльсу, припрятала деньги в карман и побежала на кухню, приговаривая шепотом: «Теперь-то я погуляю!»

Со времени чудного явления Якко еще прилежнее стал заниматься своею работою. Часто в извивистых потоках пламени, окружавших сосуд, он узнавал Эльсу; он понимал очень ясно, что это была она, а никто другой, ибо часто для него лицо ее мелькало среди пыла; он говорил ей, и она ему отвечала; часто сосуд делался на мгновение прозрачным, и внутри его происходили странные видения. Якко видел в нем то вырытую могилу, в могиле безобразный остов, сквозь череп и кости остова проходила огненная струя, и глазные впадины, челюсти и ребра светились, и мертвец с болезненным стоном подымался из могилы; то видел он поле, усеянное мертвыми костями, и огненные птицы слетались клевать их; то появлялись в сосуде два льва, которые пожирали друг друга; то видел он Эльсу, в образе Саламандры, с короной на голове. Саламандра сладострастно плескалась в огненном море, и две пламенные струи обильно истекали из ее девственных персей.

Всматриваясь в эти чудные явления, Якко вспомнил, что видал нечто подобное в книгах Василия Валентина и других герметических философов, но тогда он почитал сии изображения простыми символами, под которыми мудрые скрывали свои таинства, а теперь все было понятно и ясно нашему алхимику.

— Скажи мне,— говорил Якко, устремляя глаза в раскаленное устье,— скажи мне, Эльса, каким чудом я тебя вижу *здесь* совсем иною, нежели *там*. Там ты даже не понимаешь своего здешнего существования.

— Милый Якко,— отвечала Эльса, простирая к нему из устья свои огненные руки, с которых дождем сыпались

светлые искры,—милый Якко, ты слишком любопытен. Могу ли я здесь обнять тебя? От моего прикосновения истлеет твоя смертная оболочка. Я могу приблизиться к тебе лишь в виде остывшего пепла; будь доволен и тем до времени. Оставь свое любопытство, продолжай помогать мне в нашем деле, которого ни мы одни, ни люди без нас произвести не в состоянии. Трудное дело, Якко, очень трудное, которого не все таинства и нам доступны. Только из любви к людям мы приступаем к ним; знаешь ли, мы всем существом своим должны проникнуть в корень металлов; из собственных наших грудей мы должны точить живительную влагу, которая одна может пробудить его мертвую силу. Нелегко нам это, Якко: для этого мы должны бороться со всеми стихийскими духами, которые в образе зверей и разных животных ведут с нами войну жестокую; они не хотят, они страшатся пробуждения властелина над всеми стихиями. Но рано или поздно мы должны победить их.

— Скоро ли? Скоро ли?—восклицал нетерпеливый Якко.

— Не знаю; много ошибок вами сделано. Но скажу тебе в утешенье: на этот раз ты, с моею помощью, добудешь одну из низших степеней таинственного камня. Вам, людям, и она пригодится.

Старик по-прежнему каждый день приходил к Якко и усердно хлопотал вокруг печки. «Теперь,—говорил он,—я уверен, что мы достигнем своей цели. Кажется, мы ничего не забыли, и огонь идет ровно. Еще несколько ночей, и наш феникс расправит свои крылья».

— Сиятельнейший граф,—сказал Якко с значительною улыбкою,—думаете ли вы, что наше дело может увенчаться успехом, если посредством таинственных заклинаний мы не призовем Саламандры?

— Все ты не то говоришь, любезный,—отвечал старик,—читаешь книги, да не понимаешь. Ну что такое Саламандра? Это есть только символическое слово, под которым наши мудрые понимают иногда действие огня в нашем деле, а иногда и самый камень, потому что он горит в огне не сгорая. Учись, учись, любезный...

Якко еще раз улыбнулся и замолчал.

Между тем со времени появления Эльсы все в доме Якко пошло не по-прежнему. Она совсем завладела хозяйством; появились в доме чистота, опрятность, порядок; Эльса завела корову, другую и третью, и мало-помалу из боярских домов стали сходиться люди, поку-

пать молоко и масло, которое, в отличие от обыкновенного, прозвали «чухонским». Домоводство снова появилось в доме бедного Якко. Марья Егоровна не могла нарадоваться, видя у себя по-прежнему медные, серебряные, а иногда и золотые деньги; появились у ней и щеголеватые платья, и голландские чепчики, и ситцевые кофты, и черевики с красными каблуками. Все бы это хорошо; но вот что было дурно: во время нищеты Марья Егоровна покусилась выпить чарочку; выпила — и на душе у ней повеселело; в другой раз она попробовала — то же; ей понравилось; мало-помалу она обзавелась небольшим штофиком, который, однако ж, прятала от мужа в поставце. Мало-помалу она чаще и чаще начала прибегать к утешительному напитку; привычка сделалась страстью, и мы должны признаться, что бóльшая часть ее упреков мужу происходила оттого, что у Марьи Егоровны не доставало денег для наполнения своего заветного штофика. Теперь Марья Егоровна блаженствовала. С утра уже она была навеселе, и пока Эльса хлопотала по хозяйству, Марья Егоровна сидела за столом, подперши бока руками, покачивая головой и напевая:

Чарочки по столику похаживают!

В таком положении ее часто заставала Эльса и, вероятно, не понимая, что тут происходит, смотрела на Марью Егоровну такими странными глазами, что Марье Егоровне делалось и страшно, и грустно — и она снова прибегала к своему утешителю. После обеда Марья Егоровна уже спала непробудным сном, а иногда даже совсем не обедала; ночью, проснувшись, она снова потихоньку пробиралась к поставцу... и опять засыпала. На другой день начиналось то же.

Якко не обращал внимания на поведение жены своей; весь погруженный в свое таинственное предприятие, Якко забывал все житейское. Каждый день у очага, он редко приходил к своим, да и когда приходил, занимался только одною Эльсою, радуясь, что жена оставляет его в покое, и нетерпеливо ожидал рокового сорок первого дня.

Наконец он наступил... Поднята таинственная крыша,— на дне сосуда — сплавок синего цвета... И старик и Якко затрепетали.

— Это что-то чудное,— сказал старик,— наш камень должен быть пурпурового цвета... это не он... но уж не семя ли яхонта?.. Испытаем...

С сими словами старик растопил свинцу, отломил от полученного сплавка несколько крошек, бросил на свинец... крошки разлетелись, и свинец остался по-прежнему

свинцом. Целый день протрудились наши алхимики. Уж чего они не делали с полученным сплавком! Соединяли его с медью, и с железом, и со всеми металлами — все тщетно: масса трескалась, рассыпалась, но ничто не обратилось ни в серебро, ни в золото.

— Это просто стекло,— сказал наконец старик с досадою,— мы в чем-нибудь ошиблись. Надобно начать сызнова. Отдохни дня три, а потом снова изготовь атанар.

Между тем Якко явственно слышал, что Эльса громко хохотала посреди угольев.

— Не слушай бессмысленного старика,— говорила она,— возьми этот камень; он не золото, но стоит золота,— не сказывай об этом старику; распусти этот камень в воде, и ты увидишь, что будет. Бессмысленный! Он думает, что понимает писание мудрых; он прочел, что нужна сорокадневная работа над фениксом, но прочел только мертвую букву; он не понимает, что в сих словах сокрыто кабалистическое число, что круг здесь изображает землю, а число — четыре времени года, срок, необходимый для полной зрелости дивного камня.

— Что ж ты задумался? — сказал старик.

— Разве вы не слышите? — отвечал Якко.

— Да что слышать? Только уголья трещат в очаге.

Якко понял, что слова Саламандры были ему только слышны, и замолчал.

— Ну, что ж ты хотел сказать? — повторил старик.

— Я думаю, что не слишком ли рано мы открыли атанар? Число сорок не означает ли четырех времен года?..

— Мысль недурная,— заметил старик,— о! я вижу, в тебе путь будет! Испытаем. Так изготовь же два атанара, один мы будем открывать каждые сорок дней, а другой откроем по прошествии целого года...

С сими словами старик по-прежнему положил на стол серебряный рубль и удалился, бормоча про себя: «Четыре времени года... сорок... четыре... как мне на мысль не вспало!.. странно!..»

По уходе старика Якко немедленно раскалил снова полученный им камень и бросил его в воду; после нескольких подобных операций в сосуде осталась жидкость прекрасного синего цвета. Якко опустил в нее кусок сукна,— сукно окрасилось.

Познания Якко в химии скоро объяснили ему, какую выгоду можно получить из сего открытия; он разложил вещество по правилам науки, нашел состав его, снова повторил опыт в бóльшем виде, и скоро в домике Якко появились чаны, кубы; он объявил гостям суконной

сотни, что берется красить сукно не хуже заморского,— и в городе дивовались, толкуя про *кубовую* краску.

И эти новые хлопоты достались доброй Эльсе: целый день она суетилась, нанимала работников, вела счеты, заглядывала в чаны, собирала краску, продавала ее, красила, развешивала. Якко служил иногда переводчиком и только получал деньги.

Но мог ли такой успех удовлетворить гордым ожиданиям алхимика? Торговать краскою тому, кто собирался захватить в руку корень всех сокровищ мира!..

И снова запылал атанар, и снова старик явился с своею таинственною коробкою. Но в то время, когда он собирался всыпать ее в сосуды, Якко опять услышал хохот Саламандры: «Твой старик многое знает,— с ним и нам не худо посоветоваться, но не знает безделицы: все его составы ни к чему не поведут, если он не добудет масла из кремня».

— Масла из кремня?—спросил Якко.

— Да; ты знаешь, что внутри кремня кроется дивная, могучая жидкость...

— Но я знаю и то, что эта жидкость истребляет все тела земные: нет сосуда, который бы мог содержать ее: одна капля ее на теле человека—и человек истлевает в ужаснейших мучениях...

— Якко, Якко! зародыш жизни—смерть...— проговорила Саламандра сильным голосом и исчезла.

Когда Якко заговорил со стариком о кремнистом масле, старик затрепетал: «Знаю,—отвечал он,—слыхал я об этой страшной влажности, встречал и в книгах указания на нее, но до сих пор думал, что алхимики упоминали о ней для того только, чтоб испугать профанов или чтоб наказать их, когда они нечистыми невежественными руками примутся за наше великое дело».

Работа продолжалась по-прежнему, и по-прежнему без успеха. Каждую ночь на старика находил неодолимый сон. Якко смотрел за атанаром, и когда силы его ослабевали, Саламандра являлась среди огня, утешала своего любимца, ласкала его, простирала к нему свои огненные персты и золотистою струею обвивалась вкруг атанара.

Однажды вечером старик уже дремал, Якко в раздумье сидел пред огнем; грустно было на душе алхимика; не тешили его мелочные домашные выгоды; переставала утешать и надежда. Сумрачно смотрел он вокруг себя, и

невольно взор его вперился в старика, который дремал, облокотившись на креслах.

— Зачем он не я?—невольно приходило в голову Якко,—зачем я не он?—прибавлял он, теряясь в своих мыслях,—он знатен, он богат, он приходит ко мне, пользуется гостеприимством бедняка для дела опасного и он же презирает меня... зачем он не я?.. я—он? он—я?.. Мысли его делались мрачнее и мрачнее, иногда они даже пугали самого алхимика.

Кто-то сзади подкрался к молодому человеку; трепетный, горячий поцелуй заставил его содрогнуться, он обернулся—перед ним была Эльса.

— Это ты, Эльса? Как вошла ты сюда?

— Ах, как я рада, ты забыл запереть двери! Насилу-то я попала к тебе сюда; мне без тебя знаешь ли как скучно, Якко: целый день и ночь ты здесь, а я одна, совсем одна; работы столько по хозяйству, иногда так хочется поцеловать тебя, как будто жажда мучит...

И Эльса села на колени Якко, обняла его; Якко прижал ее к себе.—Эльса, Эльса!—заговорил невольно Якко,—если бы ты знала, как я люблю тебя! Так люблю, что страшно сказать...

— Да! любишь! а Мари, Мари...

— На Мари я не могу смотреть без отвращения, Мари зла, Мари попрекает меня, Мари опухла, больна она, что ли?

— Может быть, я не знаю,—отвечала Эльса, улыбаясь насмешливо,—а может быть, и не больна, а так, от большого веселья... Она много спит, Якко, очень много.— Между тем лицо Эльсы вспыхнуло, она продолжала: «Во сне человек, знаешь, безоружен... многое... на него действует...»

— И я заметил, что она слишком часто бывает не в себе...

— Да! правда... точно не в себе...

— Но что говорить о ней! Ты одно мне утешенье, ты мне все заменяешь—и жену, и семейство... Отец твой призрел меня сироту, бедного, беспомощного; снова нищета посетила меня,—ты мне стала вместо отца; ты ведешь весь мой дом; ты обогатила меня; ты меня покоишь... ты меня любишь...

Снова Якко прижал Эльсу к своему сердцу, и Эльса обвилась вкруг молодого человека, как обвивается плющ вокруг статного дуба; она припадала к его лицу, как бы хотела спрятаться на груди его, как бы хотела впиться в нее; щеки ее все более распалялись от действия очага и от внутреннего волнения...

— Что это?—сказала Эльса, указывая на алхимический снаряд.

— Я ищу Сампо,—отвечал Якко, улыбаясь и желая, сколь возможно, приблизиться к понятиям Эльсы.

Лицо Эльсы разгоралось все сильнее и сильнее; глаза ее блистали.

— Сампо... Сампо... да, точно Сампо... не другое что понимали под этим словом мудрые суомийцы... его одного должны искать, его одного и искали люди от начала веков; о нем одном их дивные сказания; к нему их труды и надежды... Немногим было открыто... немногим... лишь тем, которые душою и телом соединялись с нами... и тебе, смертный, открыт этот путь... и тебе... если ты... ты... любишь меня...

Эльса снова обвилась руками вокруг молодого человека... Якко был в исступлении; бледный, трепещущий, он прижимал к себе Эльсу и охладевшими от сильного волнения устами искал распаленных уст девушки.

Но вдруг он отпрянул от нее и закрыл лицо свое руками.

— Что я делаю!..—говорил он с отчаянием,—Эльса, Эльса, пощади меня!

Эльса вперила в него гневные очи.

— Эльса!—продолжал он,—зачем я не могу вполне принадлежать тебе... зачем эта Мари... жена?..

— Мари! Мари!..—повторила Эльса каким-то странным голосом.

В эту минуту Якко видел, что огненные искры брызнули из глаз Эльсы; она протянула руки.., огненные струи истекали из ее пальцев... пламя потянулось из устья, заклокотало вокруг Эльсы, вокруг Якко... тут все смешалось... стены комнаты застлались огненными потоками... атанар расширился в необъятное пространство... Эльса и Якко носились и утопали в огненных волнах... львы, драконы, мертвый остов, чудовищные птицы летали вокруг них... все свивалось, развивалось, кружилось...

Когда Якко пришел в себя, все было тихо: старик дремал; спокойно тлелся очаг; Эльсы не было.

Сильный стук в двери заставил Якко вздрогнуть.— Кто там?—спросил он, отворяя двери.

— Хозяин, хозяин!—говорил голос работника,—с хозяйкой худо.

Якко поспешно отворил дверь.

— Что с нею?—спросил он.

— Да недоброе, барин, и сказать-то страшно... сам увидишь.

Якко вбежал в женину комнату; при входе сильный,

странный запах ошеломил его; он поспешно приблизился к постели; на месте Марьи Егоровны лежала безобразная, почерневшая масса. Возле постели плакала работница; в углу сидела Эльса, склонив голову, и также горько плакала.

— Что здесь случилось?—вскричал Якко с ужасом.

— И сказать не мочно,—отвечала работница, рыдая,— тому мало время минувше, прилучилася Марье Егоровне немочь, заохала и застонала она, сердечная— вон мы к ней, и я, и Елисавета Ивановна: что, мол, с тобою?.. Смотрим, а у ней по телу синие огоньки так и скачут, а тело чернеет, чернеет... и дым и смрад валит; мы уж ее и тем и другим, и водой на нее плескали, и рушниками тушили, ничто не помогло; не успели глазом мигнуть, как она сгорела—вот, как видишь; и за попом послать не могли...

Якко стоял в раздумьи над прахом своей жены; скорбное чувство, похожее на раскаяние, теснило его грудь; он взглянул на Эльсу и спросил:—Ты была у меня?

— Я входила к тебе на минуту,—отвечала Эльса, рыдая,—ты мне сказал несколько слов и потом задремал, так что мне жаль было будить тебя; и я ушла от тебя на цыпочках и приперла дверь щеколдою; прихожу сюда, смотрю—с Мари худо; я послала к тебе работника, но он не мог [до] тебя достучаться... Бедная Мари! Бедная Мари! Как она мучилась,—повторила Эльса,—хорошо еще, что недолго.

Якко бросился в кресла:—Неужели все это был только сон?—думал он.

Скоро в околодке узнали, что у красильщика жена сгорела; приходили, толковали, дивовались. Немчин-лекарь уверял, что она сгорела будто бы от излишнего употребления крепких напитков, но русские люди над ним смеялись.—Слышь ты,—говорили они,—будто оттого сгорела, что вино пила! Уж эти немцы! Нет, тут что-то недаровое.

Потолковали, потолковали и разошлися.

Похороны жены ненадолго отвлекли Якко от таинственного дела. Атанар пылал по-прежнему, по-прежнему Эльса в образе Саламандры обвивалась вокруг чудного сосуда; старик, слабевший с каждым днем, по-прежнему устремлял потухшие очи на предмет своих ожиданий и

мало-помалу погружался в забытье; он уже потерял и счет дням, полагаясь в этом на Якко.

— Скоро наступит 401 день,—говорила Саламандра,— дело совершается, наш таинственный плод зреет и укрепляется...

Сердце сильно билось в груди Якко. Итак, невозможное для других было для него возможно. Еще несколько дней—и в руках его будет таинственный талисман, дающий здравие, жизнь долгую и богатство несчетное. Но в эту минуту другая мысль невольно втеснилась в душу Якко.

— Зачем,—думал он,—зачем поделюсь я моей тайною с этим хилым стариком? Не он открыл ее, не ему ею пользоваться. Сокровище в моих руках будет моим вполне, а разделенное,—кто знает,—оно попадет в нечистые руки; слабоумный старик вверит его другому, и когда все сделаются богаты, то что будет значить мое богатство?

— Тут нет ничего мудреного,—отвечала Саламандра, подслушав его мысли,—зачем старику напоминать о роковом дне? Пусть проведет он его в забытьи и тешит свою надежду над бесплодным сосудом.

И вот в полночь 401 дня атанар сделался снова прозрачным; пурпуровое пламя расстилалось в нем легким облаком; среди его вырастал роскошный цветок; легкий, воздушный, он носился в пространстве; кругом его теснился длинный ряд мужей, в царских одеждах, с венцами на главах; они стояли в благоговейном молчании, ожидая, когда развернется шипок чудного цвета.

И вот все исчезло, крышка слетела с атанара, как будто рванулись струны на звонких арфах, по воздуху разнеслось благоухание... На дне сосуда лежал пурпуровый камень и озарял всю комнату розовым сиянием. Якко упал на колени... он смотрит: грубый глиняный сосуд мало-помалу превращается в золото. Якко приблизился, бережно поднял сосуд и бережно поставил его в скрытное место, заменив его другим, глиняным, такой же формы.

Через несколько минут старик проснулся.

— Ну, что?—сказал он, протирая глаза,—не ослабел ли огонь?

— Беда!—отвечал ему Якко,—крышка слетела с атанара.

— Ах!—вскричал старик,—злые духи нам препятствуют. Впрочем, это несчастие не с одним со мною случалось: у самого Парацельзия десять раз разрывался атанар от движения стихийных духов. Что делать! Надобно начать сызнова. Жаль, что мы не употребили кремнистого

масла. Взрыв его опасен, умерщвляет человека, но зато оно же предохраняет сосуд от взрыва. Завтра займемся приготовлением этой дивной жидкости.

С сими словами старик по-прежнему опустил руку в карман и положил на стол серебряный рубль. Якко поклонился, улыбаясь.

— Якко, Якко! — говорила Саламандра, — остерегись. не пренебрегай деньгами старика; скрывай свое богатство, пользуйся им, наслаждайся в тишине; люди узнают — замучат тебя; ты не удовлетворишь их жадности и слитками золота, — они мучениями пытки не постыдятся достать из тебя заветную тайну. Всего более берегись старика: он силен и знатен между людьми, он скоро проникнет в твою тайну; пусть он думает, что она тебе еще неизвестна.

В первые дни восхищение Якко не имело границ. Ночью, когда старик засыпал, счастливый алхимик открывал свой чудный камень; несколько крупинок его падали на расплавленный свинец — и свинец обращался в золотой слиток. Днем Якко был вне себя от радости, прыгал, целовал Эльсу, которая никак не могла объяснить себе, как она говорила, чему так радуется Якко. Домашние толковали, что они скоро повеселятся на свадьбе, и рассчитывали, скоро ли пройдут скорбные дни траура.

Между тем слитки накоплялись; Якко прятал их в подполицу, и скоро в душе алхимика место радости заступило другое чувство. С умножением сокровищ мало-помалу стала одолевать его боязнь, что кто-нибудь проникнет его тайну, похитит его богатство. Он удвоил железные запоры на дверях и окошках, учредил сторожей, сам не смыкал глаз, — но ничто не могло его успокоить. Скоро для него осталась лишь одна радостная минута в течение дня: та минута, когда свинец в руках его превращался в золото, и вслед за тем он почти с ужасом смотрел на золотой слиток: куда девать его? Как скрыть его? Как им пользоваться? И жизнь его превратилась в бесконечное терзание; он сделался стражем своего сокровища! С сожалением вспоминал он о том времени, когда, одушевленный надеждою, проводил ночи без сна пред атанаром; он не спал и теперь, но — теперь потому, что прислушивался, нет ли шума, не скребется ли вор под землею, не проснулся ли старик, не проник ли его тайны.

Грустный, полубольной, бродил он в течение дня; ничто не утешало его, ни роскошный стол, ни улыбка Эльсы; тщетно спрашивала она его, о чем грустит он.

— Ты не понимаешь моей грусти?—говорил Якко Эльсе, печально отвечая на ее ласки.

— Ты, может, тоскуешь по Мари?

— О, не напоминай мне о Мари... не о ней моя грусть... лучше скажи, научи меня, что мне сделать с тем, что ты подарила мне и чем лишь умножились мои страдания.

— Я тебе скажу, что делать,—сказала Эльса,—продай все, что у тебя есть, и уедем домой на Иматру, поселимся в нашей избушке и забудем о целом свете.

— Ты не понимаешь, Эльса!—говорил Якко с нетерпением.

Такие разговоры возобновлялись часто. Эльса оставалась Эльсою; Саламандра не являлась более в устье бесплодного атанара.

Теперь еще прилежнее Якко сидел за атанаром. Вид старика делался час от часу подозрительнее: Якко замечал на лице его сомнение; казалось, старик уже начал догадываться, и каждое его слово было для Якко двусмысленным. Тревожный, трепещущий, он следил за каждым движением старика: вот он опустил глаза в землю—не чует ли в подполице золотых слитков; он смутно озирается—не просвечивается ли где розовое сияние дивного камня; он приближается к очагу, взглядывает на Якко—не проник ли тайны?

Чего не выдумывал Якко, чтоб удалить от графа сомнение! Между тем от времени ли, от неудач ли, старик делался час от часу брюзгливее, взыскательнее; но счастливый алхимик потерял чувство своей горделивой бедности; он исполнял все прихоти старика, не смея ему противоречить, сносил его презрительные речи с покорностью раба; пресмыкался с полным уничижением, с полным забвением всякого человеческого достоинства. Тщетно звал он на помощь Саламандру—Саламандра не отвечала.

Однажды, выведенный из терпения, Якко едва мог удержать себя... К счастью, старик задремал. Якко как сумасшедший выбежал из лаборатории и бросился к Эльсе; она испугалась, но Якко, несмотря ни на что, потащил ее с собою к очагу, посадил на стул, сжал ее плечи железными руками и грозным шепотом проговорил:

— Именем старого деда, Эльса, говори, как мне избавиться от старика?

Эльса сначала затрепетала... потом мало-помалу успокоилась, наконец отвечала прерывистым голосом:

— Избавиться... от старика... легко... стоит... только... пожелать...

— Пожелать?—вскричал Якко,—как Мари...

— Не знаю... да что ж тут страшного?.. человеку... стоит... пожелать... и старика... не станет...

— Не станет? Но он знатный боярин: если он исчезнет, будут искать его, догадаются, придут ко мне.

— Зачем... старику... исчезать?.. ты разве не можешь заступить его место... быть также... знатным... жить в богатых палатах... не бояться своих золотых слитков?..

— Что ты говоришь, Эльса? Возможно ли это?

— Нет ничего... невозможного... для воли человека... стоит только пожелать...

— Да как не желать мне этого?—вскричал Якко так громко, что старик проснулся, устремил оцепеневшие глаза на Якко, хотел что-то выговорить...

В эту минуту алхимику показалось, что пред ним стоит не граф, но старый дед Руси, лет 30 тому умерший.

Испуганный Якко хотел броситься к нему; но раздался страшный, оглушающий треск... пламя взвилось из атанара, потекла из него огненная лава; густой багряный дым наполнил комнату, в дыме вертелись лица старика, Эльсы, Мари, старого деда...

Когда Якко пришел в себя, старика уже не было,— атанар лежал в дребезгах. Якко ощупал на себе бархатное платье, узнал тот самый кафтан, который всегда носил старый граф, в смущении подошел к небольшому круглому зеркалу, висевшему в лаборатории, и в нем, вместо себя, увидел изрытое морщинами лицо, седые волосы,— словом, старого графа.

Поздно вечером возвратился граф в свои боярские палаты—толпа слуг встретила его на лестнице и с почтением проводила до кабинета. Оставшись один, граф нашел ключ в своем кармане, отворил потайной замок в поставце и положил в него вынутый из-за пазухи какой-то сверток, сквозь который виднелось розовое сияние. Потом граф подошел к столу с бумагами, прочел несколько писем, памятную записку и позвонил в колокольчик; вошел управитель.

— Отправь, батюшка, завтра подводу к красильщику Якко, да спроси там чухонку—жена его, что ли—да получи от нее ящики, которых не раскрывать и бережно принести ко мне в кабинет; а после я прикажу, что с ними делать.

В обществах старый граф замечал, что не могли надивиться его перемене, не понимали, откуда взялась у

него развязность, живость, любезность, волокитство... Дамы между собою шептали, что, верно, он хлебнул своей живой воды, и уверяли, что скоро он и совсем помолодеет.

Старый граф предавался рассеянной московской жизни со всем жаром молодости. Место прежних ассамблей заступили балы, маскарады — граф не пропускал ни одного; сам держал дом открытый, сыпал золотом не считая; с утра до вечера толпился народ в графских палатах; для всех проходящих по улице был готовый прибор в столовой графа, и вино полными чашами выпивалось за здравие тороватого боярина.

Так протекли долгие годы; старик не старился, золото его не истощалось, но был ли он счастлив, того не знал никто; замечали, что часто посреди шумного веселья мрачная грусть являлась на лице графа. До счастливца доходил невнятный говор толпы:

— Верно, бес его мучит,— говорили одни.

— Занят государственными делами,— говорили другие.

— Старый хрыч просто влюблен,— отвечал третий.

— В кого? В кого? — шептало несколько голосов между собой.

— Я знаю в кого,— проговорил один голос,— в молоденькую княжну Воротынскую; смотри, как он за нею ухаживает, глаз с нее не спускает...

— Ах, он старый! Да ей не более шестнадцати лет...

— Что нужды! Седина в бороду, бес в ребро.

— Да за чем же дело стало?

— Я знаю, что и родным того же хочется, да, вишь, девка-то артачится; говорит, стар больно.

— Я не буду больше с тобою спорить,— говорила графу старая княгиня, сидя с ним на диване в одной из отдаленных комнат графского дома,— скажу тебе по правде, что нам эта женитьба очень по сердцу, но скажу и то, что девка тебя терпеть не может — мы отдаем ее за тебя неволею; знай это — да и в самом деле, правду сказать, ты уже не молод, батюшка.

Пламенный старик целовал руки у княгини.

— Будь спокойна, матушка; не смотри, что я стар: твоя красавица привыкнет ко мне и полюбит; наружность обманчива; верь, ни одному молодяку так не любить княжну, как я. Брильянтами ее засыплю, и тебя, и всю семью твою.

— Да уж я, батюшка, по твоей милости, и так не знаю, куда от них деваться.

По мраморным ступеням сходил жених в богатой, блестящей одежде. У подъезда стоял золоченый рыдван с графским гербом, запряженный цугом черно-пегих лошадей; кругом теснились гайдуки и скороходы, великолепно одетые.

— Куда ты?—говорили они, толкая женщину в чухонском платье,—не до тебя теперь! Видишь, теперь боярин едет жениться.

Граф, услышав шум, остановился на лестнице; говорят даже, что он побледнел, но это невероятно, потому что лицо его было крепко натерто румянами.

— Пустите, пустите ее!—сказал он слабым голосом,—пустите ее! Вы знаете, что всем ко мне свободный доступ.

Чухонку впустили; граф возвратился в приемную и по обыкновению, облокотившись на мраморный столик, старался принять на себя вид спокойный и важный.

— Ну, что тебе надобно, моя милая?—сказал он вошедшей чухонке,—говори скорее, потому что ты видишь, мне некогда.

— А что же, Якко,—отвечала ему Эльса,—скоро ли поедем домой на Иматру? Ведь не век здесь жить...

— Послушай, моя милая,—сказал граф важным голосом,—ты понимаешь, что мне теперь нет возможности с тобою ехать на Иматру, да и не следует. Что же до тебя касается, то я советую тебе ехать туда за добра́ ума; иначе я вынужден буду... ты понимаешь... Замечу тебе, красавица, что ты уже слишком смела; вот тебе денег на дорогу, будь спокойна,—и впредь тебя не оставлю...

С сими словами граф подал ей кошелек, наполненный золотом.

Эльса захохотала; еще, еще... ее голос все громче и громче... это уже не хохот, а треск, а гром... стены колышутся, разваливаются, падают... Якко видит себя в прежней своей комнате; пред ним таинственная печь, из устья тянется пламя, обвивается вкруг него; он хочет бежать... нет спасения! Стены дышат огнем, потолок разрушается, еще минута... и не стало ни алхимика, ни его печи, ни Эльсы!

— Жаль!—говорили миряне, проходя на другой день мимо пепелища,—дом-то красильщика сгорел; только что было начал разживаться, да и сам, говорят, не выскочил, сердечный.

— Куда, слышь ты! Он масло варил, а масло-то и вспыхнуло, пролилося; он туда-сюда, хотел затушить, но масло не свой брат, так все и охватило.

— Жаль! Добрый малый был; приятно было с ним вести дело.

— Только у него иногда ум за разум заходил.

— И то правда. Да не пора ли закусить, соседушко?..

Этим оканчивался рассказ дяди.

— Скажите же, дядюшка,— заметил я,— что тут общего между этим рассказом и нашими приключениями в доме купца, вашего знакомого?

— Кажется, очень ясно,— отвечал дядя, улыбаясь,— пепелище было куплено покойным князем; на нем он выстроил дом, который теперь достался купцу.

— Ну, что же?

— Все не понимаешь! На том самом месте, где была лаборатория алхимика, находится чудная зала, в которой мы были.

— Так вы предполагаете, дядюшка, что эти крики...

— Я ничего не предполагаю... а понимаю очень ясно, чего и тебе желаю.

— Но послушайте, дядюшка, неужели в самом деле вы верите, что Саламандра сожгла вашего финляндца?

— Иные, пожалуй, говорят, что г. Якко просто делал фальшивую монету, а потом, чтоб все прикрыть, сжег дом и убежал вместе с своею помощницею чухонкою: так в Москве полагали многие; другие говорили, что он был сумасшедший; третьи, что он притворялся сумасшедшим... Из всех этих мнений можешь выбирать любое...

Признаюсь, я до сих пор убежден, что все это выдумка, что дяде хотелось пошутить надо мною, и все эти крики, тени не иное что, как фантасмагория. Надеюсь, что всякий благоразумный читатель в этом согласится со мною.

КНЯЖНА МИМИ

«Извините,— сказал живописец,— если мои краски бледны: в нашем городе нельзя достать лучших».

Биография одного живописца

I

БАЛ

La femme de César ne doit pas être soupçonnée[1]

— Скажите, с кем вы теперь танцевали?—сказала княжна Мими, остановив за руку одну даму, которая, окончив мазурку, проходила мимо княжны.

— Он когда-то служил с моим братом! Я забыла его фамилию,—отвечала баронесса Дауерталь мимоходом и, усталая, бросилась на свое место.

Этот короткий разговор незаметно для окружающих мелькнул посреди общего движения, которое обыкновенно бывает после окончания танца.

Но баронессу этот разговор заставил задуматься,—и недаром. Баронесса, хотя уже и в другой раз замужем, все еще была молода и прекрасна; ее любезность, ее роскошный стан, ее каштановые шелковистые локоны привлекали к ней толпу молодых людей. Каждый из них невольно сравнивал Элизу с ее мужем, осиплым старым бароном, и каждому из них, казалось, ее томные, облитые влагою глаза говорили о надежде: лишь один опытный

[1] Жены Цезаря не должно коснуться подозрение *(фр.)*.

наблюдатель находил в этих темных голубых глазах не пламень неги, а просто ту южную лень, которая, по его мнению, так странно соединяется в наших дамах с северным флегматизмом и составляет их отличительный характер.

Баронесса знала все свои преимущества; знала, что для всякого она вместе с бароном была чем-то невозможным, противным приличию, какою-то нелепостию; знала и то, как во время ее свадьбы толковали в городе, что она вышла за барона по расчету; ей нравилось не сходить с доски на балах, никогда не иметь времени задуматься на раутах, всегда иметь несколько готовых товарищей для кавалькады; но никогда она не позволяла себе ни взора, в котором можно бы было заметить предпочтение одному пред другим, ни сильного восхищения, ни сильной радости, ни сильного огорчения — словом, ничего такого, чем бы душа могла быть приведена в движение: притом, по чувству ли долга, или по какой-то противоестественной любви к своему мужу,— хотелось ли ей доказать, что она вышла за него не по расчету,— или просто потому, что вышеозначенное замечание наблюдателя было справедливо,— или, наконец, от соединения всех этих причин,— только баронесса так же была верна барону, как ее Бьюти была верна баронессе; она никуда не выезжала без мужа, даже спрашивала у него советов о своем туалете; барон, с своей стороны, не сомневался в привязанности Элизы, позволял ей делать что угодно и спокойно предавался своим любимым занятиям: поутру нюхал табак, ввечеру играл в вист, а в промежутках выхлопатывал себе награждения. В городе издавна уже добродетельные дамы отыскивали предмет баронессиной нежности; но, когда они для решения вопроса собирались на общее совещание, одна называла одного, другая другого, третья третьего, и дело расходилось за спором. Тщетно перебирали они всех молодых людей общества: только что согласятся про одного, как он или женится, или станет волочиться за другою,— отчаяние, да и только! Наконец такие беспрестанные неудачи наскучили блюстительницам нравственности: они нашли, что баронесса лишь отнимает у них время для наблюдения за другими дамами; единогласно решили, что ее искусство сохранять наружную пристойность стоит лучшей нравственности, что ее должно ставить в пример другим женщинам, и отложили баронессино дело впредь до могущих представиться обстоятельств.

Баронесса знала, что княжна Мими принадлежала к сему нравственному сословию, знала также, что это

сословие, в свою очередь, принадлежит к тому страшному обществу, которое бросило свои отпрыски во все классы. Открываю великую тайну; слушайте: все, что ни делается в свете, делается для некоторого безыменного общества! Оно — партер; другие люди — сцена. Оно держит в руках и авторов, и музыкантов, и красавиц, и гениев, и героев. Оно ничего не боится — ни законов, ни правды, ни совести. Оно судит на жизнь и смерть и никогда не переменяет своих приговоров, если бы они и были противны рассудку. Членов сего общества вы легко можете узнать по следующим приметам: другие играют в карты, а они смотрят на игру; другие женятся, а они приезжают на свадьбу; другие пишут книги, а они критикуют; другие дают обед, а они судят о поваре; другие дерутся, а они читают реляции; другие танцуют, они становятся возле танцовщиков. Члены сего общества везде тотчас узнают друг друга не по особенным знакам, но по какому-то инстинкту; и каждый, прежде нежели вслушается, в чем дело, уже поддерживает своего товарища: тот же из членов, кто вздумает *что-нибудь* делать на сем свете, в ту же минуту лишается всех преимуществ, сопряженных с его званием, входит в общее число подсудимых, и ничем уже не может возвратить прав своих. Известно также, что самую важную роль в этом судилище играют те, про которых решительно нельзя отыскать, зачем они существуют на сем свете.

Княжна Мими была душою этого общества, и вот как это случилось. Надобно вам сказать, что она никогда не была красавицею, но в юности была недурна собою. В это время она не имела никакого определенного характера. Вы знаете, какое чувство, какая мысль может развернуться тем воспитанием, которое получают женщины: канва, танцевальный учитель, немножко лукавства, tenez vous droite[1] да два, три анекдота, рассказанные бабушкою как надежное руководство в сей и будущей жизни,— вот и все воспитание. Все зависело от обстоятельств, которые должны были встретить Мими при ее вступлении в свет: она могла сделаться и доброю женою, и доброю матерью семейства, и тем, чем теперь она сделалась. В это время у ней бывали и женихи; но никак дело не могло сладиться: первый ей самой не понравился,— другой был не в чинах и не понравился матери,— третий было очень понравился и той и другой, уже сделано было и обручение, и день свадьбы был назначен, но накануне, к удивлению, узнали, что он им в близкой родне: все расстроилось, Мими

---

[1] Держитесь прямо (*фр.*).

занемогла с печали, чуть было не умерла, однако же оправилась. Затем женихи долго не являлись; прошло десять лет, потом и другие десять, Мими подурнела, постарела, но отказаться от мысли выйти замуж было ей ужасно. Как! отказаться от мысли, о которой твердила ей матушка в семейных совещаниях; о которой ей говорила бабушка на смертной постели? от мысли, которая была любимым предметом разговоров с подругами, с которою она просыпалась и засыпала? Это было ужасно! И княжна Мими продолжала выезжать в свет с беспрестанно новыми планами в голове и с отчаянием в сердце. Ее положение сделалось нестерпимо: все вокруг нее вышло или выходило замуж; маленькая вертушка, которая вчера искала ее покровительства, нынче уже сама говорила ей тоном покровительства,— и не мудрено: она была замужем! у этой был муж в звездах и лентах! у другой муж играл в большую партию виста! Уважение от мужей переходило к женам; жены по мужьям имели голос и силу; лишь княжна Мими оставалась одна, без голоса, без подпоры. Часто на бале она не знала, куда пристать — к девушкам или к замужним,— не мудрено: Мими была не замужем! Хозяйка встречала ее с холодною учтивостию, смотрела на нее как на лишнюю мебель, и не знала, что сказать ей, потому что Мими не выходила замуж. И там и здесь поздравляли, но не ее, но все ту, которая выходила замуж! А тихий шепот, а неприметные улыбки, а явные или воображаемые насмешки, падающие на бедную девушку, которая не имела довольно искусства, или имела слишком много благородства, чтобы не продать себя в замужество по расчетам! Бедная девушка! Каждый день ее самолюбие было оскорблено; с каждым днем рождалось новое уничижение; и,— бедная девушка! — каждый день досада, злоба, зависть, мстительность мало-помалу портили ее сердце. Наконец мера переполнилась: Мими увидела, что если не замужеством, то другими средствами надобно поддержать себя в свете, дать себе какое-нибудь значение, занять какое-нибудь место; и коварство — то темное, робкое, медленное коварство, которое делает общество ненавистным и мало-помалу разрушает его основания,— это общественное коварство развилось в княжне Мими до полного совершенства. В ней явилась особого рода деятельность: все малые ее способности получили особое направление; даже невыгодное ее положение обратилось в ее пользу. Что делать! Надобно было поддержать себя! И вот княжна Мими, как девушка, стала втираться в общество девиц и молодых женщин; как зрелая девушка, сделалась любезным товарищем в глубо-

ких рассуждениях старых почтенных дам. И ей было время! Проведши двадцать лет в тщетном ожидании жениха, она не думала о домашних заботах; занятая единственною мыслию, она усилила в себе врожденное отвращение к печатным литерам, к искусству, ко всему, что называется чувством в сей жизни, и вся обратилась в злобное, завистливое наблюдение за другими. Она стала знать и понимать все, что делается перед нею и за нею; сделалась верховным судией женихов и невест; приучилась обсуждать каждое повышение местом или чином; завела своих покровителей и своих питомцев (protégés); начала оставаться там, где видела, что она мешает; начала прислушиваться, где говорили шепотом; наконец — начала говорить о всеобщем развращении нравов. Что делать! Надобно было поддержать себя в свете.

И она достигла своей цели: ее маленькое, но постоянное муравьиное прилежание к своему делу или, лучше сказать, к делам других, придало ей действительную власть в гостиных; многие боялись ее и старались не ссориться с нею; одни неопытные девушки и юноши осмеливались смеяться над ее поблекшей красотою, над ее нахмуренными бровями, над ее горячими проповедями против нынешнего века и над неприятностью, обратившеюся ей в привычку, приезжать на бал и уезжать домой, не сделавши даже вальсового круга.

Баронесса знала все могущество княжны Мими и страшного ее судилища; хотя чистая, невинная, холодная, уверенная в самой себе, она и не боялась его преследований: до сих пор избегать их помогали ей самые обстоятельства жизни; но теперь баронесса находилась в весьма затруднительном положении. Границкий, с которым она только что танцевала, был прекрасный, статный молодой человек, — с густыми черными бакенбардами; он почти всю свою жизнь провел в чужих краях, где подружился с братом баронессы; брат баронессы жил теперь в ее доме, а Границкий у ее брата, он почти ни с кем не был знаком в городе; каждый день обедал и выезжал с ними вместе: словом, все сближало его с баронессою, и она понимала, какой прекрасный роман добродетельная душа может построить на таком выгодном основании. Эта мысль занимала ее в то время, когда она танцевала с молодым человеком, и она невольно задумывалась, приискивая в голове средства, как бы ей защититься от злословия добродетельных дам. Баронесса с досадою вспомнила, что внезапный, так близко подходивший к предмету ее размышлений, вопрос княжны Мими привел ее в смущение, которое, верно, не укрылось от проницательных взоров

лазутчицы; ей уже казалось, что при сем вопросе в голосе княжны было что-то особенное; к тому ж она заметила, что княжна вслед за тем стала с жаром говорить с сидевшей возле нее старою дамою и что они обе как бы нехотя то улыбались, то пожимали плечами. Все это в одно мгновение пробежало в голове баронессы и в то же мгновение родило в ней мысль — одним разом сделать два дела,— и отвратить от себя подозрение, и снискать благоволение княжны. Баронесса стала искать глазами Границкого, но не находила его. Тому была причина, и очень важная.

На другом конце дома находилась заветная комната, неприступная для мужчин. Там огромное зеркало, ярко освещенное, отражало голубые шелковые занавески: оно было окружено всеми прихотями причудливой моды; цветы, ленты, перья, локоны, перчатки, румяны, все было разбросано по столам, как Рафаэлевы арабески; на низком диване лежали рядами бело-синеватые парижские башмаки,— это воспоминание о хорошеньких ножках,— и, казалось, скучали своим одиночеством; несколько в отдалении, под легким покрывалом, перегибались чрез спинку кресел те таинственные выдумки образованности, которых благоразумная женщина не открывает и тому, кто имеет право на ее полную откровенность: эти эластические корсеты, эти шнурки, эти подвязки, эти непонятные накрахмаленные платки, вздернутые на снурок или перевязанные посередине, и проч., и проч. Один мосье Рави с великолепным, будто из фарфора вылитым хохлом на голове, в белом фартуке, с щипцами в руках, имел право находиться в этом гинекее во время бала; на мосье Рави не действовал магнетический воздух женской уборной, от которого у другого дрожь пробегает по телу; он не обращал внимания на эти роскошные оттиски, остающиеся в женской одежде, которую так хорошо понимали древние ваятели, взмачивая покрывало на Афродите; как начальник султанского гарема, он хладнокровно дремал посреди всего его окружающего, не думая ни о значении своего имени, ни о том, что внушила подобная комната его пламенному единоземцу.

Перед концом мазурки одна молодая дама, сказав два слова своему кавалеру, незаметно от других порхнула в эту комнату, показала господину Рави свой развившийся локон, г. Рави вышел за другими щипцами, в одно мгновение молодая дама оторвала от булавок лоскут бумажки, быстро выдернула тонкий карандаш из сувенира, оперлась на диван своею маленькою ножкою, написала несколько слов на колене, сжала записку в неприметный

комок и, когда г. Рави возвратился, жаловалась на его медленность.

После окончания танца, когда в воздухе носится несколько недоговоренных слов, танцовщики в хлопотах бегают из угла в угол за дамами, дамы лениво просматривают нумера своих контрадансов, и даже неподвижные фигуры, окружающие танцующих, переменяют место, чтобы подать какой-нибудь признак жизни,— в эту минуту беспорядка та же дама проходила мимо Границкого: дымчатый шарф слетел с распаленных плеч ее, Границкий поднял его, дама наклонилась, их руки встретились, и свернутая бумажка осталась в руке молодого человека. Границкий не изменился в лице, остался несколько времени на том же месте, тщательно поправил на руке перчатку и потом, жалуясь на духоту и усталость, пошел тихими шагами в отдаленную комнату, где несколько игроков в сладком уединении сидели за карточным столом. К счастью, один из них объявил Границкому, что его пари проиграно. Границкий отошел в сторону, вынул портфель и, как бы отыскивая в нем деньги, прочитал следующие слова, наскоро написанные знакомою рукою:

«Я не успела вас предуведомить. Не танцуйте со мною более одного раза. Мне кажется, что муж мой начинает замечать...»

Остального нельзя было разобрать.

По праву нескромности, присвоенной рассказчикам, мы объявим, кем была написана эта записка. Границкий знал ее сочинительницу еще девушкой: она была первою его страстию; тогда еще они поклялись друг другу в вечной любви, хотя разные семейственные расчеты противились их соединению,— это было во Флоренции. Вскоре они расстались; Границкий отправился в Рим; его Лидию мать увезла в Петербург и, волею или неволею, выдала замуж за графа Рифейского. Как бы то ни было, встретившись снова, старые любовники вспомнили прежнюю свою клятву: вспыхнул огонь из-под пепла; они решились возвратить потерянное время и, в отмщение свету за его своеволие, торжественно его обманывать.

Границкий привез к графу целый короб рекомендательных писем, подарков, посылок, и проч.; успел в самом Петербурге оказать ему какую-то услугу и наконец сделался в его доме почти домашним человеком.

Покорный своей владычице, он, возвратясь в залу, стал осматривать, не попадутся ли ему знакомые дамы, которые бы помогли ему добить сегодняшний вечер. В эту минуту баронесса подошла к нему и спросила, не хочет ли он познакомиться с танцовщицею. Границкий принял ее

предложение с величайшею радостию; она подвела его к княжне Мими.

Но баронесса ошиблась в своем расчете: княжна вспыхнула, отозвалась нездоровою, объявила, что она не намерена танцевать, и, когда смущенная баронесса удалилась, сказала сидевшей возле нее старой даме:

— С чего она взяла навязывать мне своих друзей? Ей хочется мною прикрыть свои хитрости. Она думала, что трудно догадаться...

Целый мир злости был в этих немногих словах. Как хотелось княжне, чтобы кто-нибудь подошел пригласить ее на танцы! С какою бы радостию она показала баронессе, что не хочет танцевать только с ее Границким! Но княжне, к несчастию, не удалось это: и целый бал она, по обыкновению, не сошла с своего стула и возвратилась домой с планами жесточайшего мщения.

Не подумайте, однако ж, любезные читатели и читательницы, чтобы злоба княжны на баронессу была произведена лишь минутною досадою. Нет! Княжна Мими была девушка очень благоразумная и издавна приучила себя без причины не увлекаться сердечным движением. Нет! давно, давно уже Элиза нанесла тяжкую обиду княжне Мими: в последнем периоде ее странствования по балам первый муж Элизы казался будто полуженихом княжны, то есть не имел к ней такого отвращения, как другие мужчины; княжна была уверена, что если б не Элиза, то она бы теперь имела наслаждение быть замужем, или, по крайней мере, вдовою,— что не менее производит удовольствия. И все понапрасну! Явилась баронесса, отбила обожателя, вышла за него замуж, уморила его, вышла за другого,— и все еще всем нравится, заставляет в себя влюбляться, умеет не сходить с доски, а княжна Мими все в девках да в девках,— а время все бежит да бежит! Часто за туалетом княжна с тайным отчаянием смотрела на свои перезревшие прелести: она сравнивала свой высокий стан, свои широкие плечи, свой мужественный вид с маленьким измятым личиком баронессы. О, если б кто мог подсмотреть, что тогда делалось в сердце княжны! что мерещилось ее воображению! как было оно изобретательно в ту минуту! какою бы прекрасною моделью она могла служить живописцу, который бы хотел изобразить дикую островитянку, терзающую попавшегося на ее долю пленника! И все это надобно было сжимать под узким корсетом, под условными фразами, под вежливою наружностию!.. Пламень целого ада выпускать тоненькою неприметною ниточкой!.. О, это ужасно, ужасно!

В эти минуты грусти, скорби, зависти, досады к княжне являлась утешительница.

То была горничная княжны. Сестра этой горничной нанималась у баронессы. Часто сестрицы сходились вместе и, побранив порядком своих барынь, каждая свою,— принимались рассказывать друг другу домашние происшествия; потом, возвратившись домой, передавали своим госпожам все собранные ими известия. Баронесса помирала со смеху, слушая подробности туалета Мими,— как страдала она, затягивая свою широкую талию,— как белила посиневшие от натуги свои шершавые руки,— как дополняла разными способами несколько скосившийся правый бой свой,— как на ночь привязывала к багровым щекам своим — ужас! — сырые котлеты! как выдергивала из бровей лишние волосы, подкрашивала седые, и проч.

Известия, получаемые княжною, были гораздо важнее; в этом была виновата сама баронесса: об ней почти нечего было рассказывать, и Маша,— так называлась служанка княжны,— невольно должна была прибегать к изобретениям. Справедливо старинное, опытом доказанное сказание, что человек всегда сам подает повод к своим несчастиям!

Когда княжна возвратилась с бала,— хотя в это время она и всегда бывала не в духе, но сегодня Маша заметила, что с ее госпожою произошло что-то особенное: ей показалось, будто уже шевелятся башмаки, банки с помадою, стклянки и прочие вещи, которые в таких обстоятельствах княжна имела обыкновение отправлять — отправлять — как бы сказать это повежливее? — отправлять параллельно полу и перпендикулярно к той линии, которая оканчивалась лицом горничной. Кажется, довольно не ясно?.. Бедная девушка, чтоб отвратить грозную тучу, не преминула прибегнуть к единственной своей защите:

— А я-с сегодня была у сестрицы! — сказала она.— Уж что там делается, ваше сиятельство!

Маша не обманулась. В одно мгновение лицо княжны прояснилось; она вся обратилась во внимание, и уже давно начался городской шум, а Маша еще толковала с княжною о том, как барон часто выезжает со двора, как в это время *новоприезжий* сидит с баронессою, как они уговариваются ехать вместе в театр, быть вместе на бале, и проч., и проч.

Долго не могла заснуть княжна и, заснувши, беспрестанно просыпалась от различных сновидений: то ей кажется, что она выходит замуж, стоит уже перед налоем, все ее поздравляют,— вдруг явится баронесса и

утащит жениха ее; то княжна рассматривает свое венчальное платье, примеривает его, любуется,— явится баронесса и раздерет платье на мелкие части; то княжна ложится в постелю, хочет обнять своего мужа,— а в постели баронесса лежит и хохочет; то княжна танцует на бале, все восхищаются ее красотою, говорят, что она танцует с женихом своим,— а баронесса подставит ногу, и княжна падает на пол. Но были и сны утешительные: то баронесса представляется ей в виде горничной,— княжна бранит ее, бьет ее башмаками и обрезывает ей кругом волосы; то в виде большого черного пуделя,— княжна приказывает его выгнать и с удовольствием смотрит в окошко, как лакеи каменьями бросают в ее неприятельницу, то в виде канвы,— княжна колет ее большою острою иголкой и прошивает красными нитками.

И не вините ее в том, но вините, плачьте, проклинайте развращенные нравы нашего общества. Что же делать, если для девушки в обществе единственная цель в жизни — выйти замуж! если ей с колыбели слышатся эти слова — «когда ты будешь замужем!» Ее учат танцевать, рисовать, музыке для того, чтоб она могла выйти замуж; ее одевают, вывозят в свет, ее заставляют молиться господу богу, чтоб только скорее выйти замуж. Это предел и начало ее жизни. Это самая жизнь ее. Что же мудреного, если для нее всякая женщина делается личным врагом, а первым качеством в мужчине — *удобоженимость*. Плачьте и проклинайте,— но не бедную девушку.

II
КРУГЛЫЙ СТОЛ

On cause, on rit, on est heureux,[1]
Romans français

Под покровом тишины и спокойствия, в кругу своего семейства...
Русские романы

На другой день, после обеда, княжна Мими, младшая сестра ее Мария, молодая вдова, старая княгиня — мать обеих, да еще человека два домашних сидели, по обыкновению, за круглым столом в гостиной и, в ожидании партнеров для виста, прилежно занимались канвою.

---

[1] Беседуют, смеются, счастливые. *Французские романы (фр.).*

Княгиня была очень старая и почтенная женщина; во всей ее долгой, долгой жизни нельзя было найти ни одного поступка, ни одного слова, ни одного чувства, которое бы не было строго сообразовано с принятыми приличиями; она говорила по-французски очень чисто и без ошибок; сохраняла в полной мере суровость и неприступность, приличную женщине хорошего тона; не любила отвлеченных рассуждений, но целые сутки могла поддерживать разговор о том, о сем; никогда не брала на себя неприятной обязанности вступаться за человека не в ладу с общим мнением; вы могли быть уверены, что в ее доме не встретитесь с человеком, на которого дурно смотрят или которого вы не встречали в обществе. Сверх того, княгиня была женщина ума необыкновенного: она была очень небогата и не могла давать ни обедов, ни балов; но, несмотря на то, умела так искусно нырять между интригами, так искусно оцеплять людей посредством своих племянников, племянниц, внуков и внучек, так искусно попросить об одном, побранить другого, что приобрела всеобщее уважение и, как говорится, поставила себя на хорошую ногу.

Сверх того, она была женщина очень благотворительная: несмотря на недостаточное состояние, ее гостиная была всякий день освещена, и чиновники иностранных посольств могли быть уверены, что всегда найдут у ней камин или карточный стол, за которым можно провести время между обедом и балом; в ее доме часто разыгрывались лотереи для бедных; она всегда была завалена концертными билетами дочерних учителей; она покровительствовала кому бы то ни было, когда кто ей был рекомендован порядочным человеком. Словом, княгиня была добрая, благоразумная и благотворительная дама во всех отношениях.

Все это, как мы сказали, давало ей право на всеобщее уважение: княгиня знала себе цену и любила пользоваться своим правом. Но только с некоторого времени княгине все стало как-то скучно и досадно; вист и люди, люди и вист еще как-то оживляли ее, но до начала партии она не могла (разумеется, в семейном кругу) скрывать своей невольной тоски, и внезапно наружу являлись какая-то жесткость сердца, какая-то маленькая ненависть ко всему окружающему, какое-то отсутствие всякого радушия, какое-то отвращение ко всякой услуге, даже какое-то отвращение к жизни. Как не пожаловаться на судьбу? За что такая несправедливость? Зачем так худо награждена была эта почтенная дама? Ибо, уверяю вас, этот маленький байронизм княгини происходил не от воспоминания о

каких-нибудь прежних тайных прегрешениях, не от раскаяния,— о нет, не от раскаяния! Я уже сказал вам, что в продолжение всей своей жизни княгиня не позволяла себе никогда делать что-нибудь такое, чего бы не делали другие: она была невинна, как голубица; она смело могла смотреть на происшествия своей прежней жизни — чистые как стекло,— ни единого пятнышка. Словом, я никак не могу вам объяснить, отчего происходила тоска княгини. Пусть эту загадку решат те почтенные дамы, которые будут или не будут читать меня, и пусть растолкуют ее своим внучкам, надежде нового поколения.

Итак, княгиня, среди своего семейства, сидела за круглым столом. О круглый семейный стол! свидетель домашних тайн! чего тебе не вверяли? чего ты не знаешь? Если б к твоим четырем ногам прибавить голову, ты бы сравнялся даже с нашими глубокомысленными описателями нравов, которые столь верно и резко нападают на недоступное им общество и которым я столь тщетно подражать стараюсь. За круглым столом обыкновенно начинается маленькая откровенность; чувство досады, сжатое в другое время, начинает мало-помалу развертываться; из-под канвы выскакивает эгоизм в полном, роскошном цвете; тут приходят на мысль счеты управителя и расстройство имения; тут откровенно обнаруживается непреодолимое желание выйти или выдать замуж; тут вспоминаются какая-нибудь неудача, какая-нибудь минута уничижения; тут жалуются и на самых близких приятелей и на людей, которым, кажется, вы преданы всею душою; тут дочери ропщут, мать сердится, сестры упрекают друг друга; словом, тут делаются явными все те маленькие тайны, которые тщательно скрываются от взоров света. Послышится звонок, и все исчезло! Эгоизм спрячется за дымчатое каньзу, на лице явится улыбка, и входящий в комнату холостяк с умилением смотрит на дружеский кружок милого семейства.

— Я не знаю,— говорила старая княгиня княжне Мими,— зачем вы ездите на балы, когда всякой раз жалуетесь, что вам было скучно... что вы не танцуете... Выезды стоят денег, и все понапрасну! Только что я остаюсь одна дома, даже без партии... Вот как вчера! Право, пора этому всему кончиться: ведь тебе уже гораздо за тридцать, Мими,— выходи, бога ради, замуж поскорее; по крайней мере я тогда буду спокойнее. Я, право, не в состоянии одевать тебя...

— Я думаю,— сказала молодая вдова,— что ты, Мими, сама виновата во многом. Зачем эта беспрестанная презрительная мина на лице твоем? Когда к тебе подойдет

кто-нибудь, то по лицу твоему можно подумать, что тебя лично обидели. Ты, право, страшна на бале... ты отталкиваешь всякого от себя.

Княжна Мими. Неужли ж мне вешаться на шею всякому встречному, как твоя баронесса? Жеманиться, показывать всякому мальчику мою благодарность за то, что он мне сделает честь провести меня в контраданс?

Мария. Не говори мне о баронессе! Твой вчерашний с ней поступок на бале таков, что я не знаю, как назвать его. Это была беспримерная неучтивость. Баронесса хотела тебе сделать удовольствие, подвела к тебе кавалера...

Мими. Подвела ко мне для того, чтобы мною прикрыть свои любовные хитрости. Вот прекрасное одолжение!

Мария. Ты любишь все толковать в дурную сторону. Где ты заметила эти любовные хитрости?

Мими. Одна ты ничего не видишь и не слышишь! Ты, разумеется, как женщина замужняя, можешь презирать светское мнение,—но я... слишком дорожу собою. Я не хочу, чтоб обо мне стали то же говорить, что о твоей баронессе.

Мария. Не знаю! Но что до сих пор ни говорили о баронессе, все вышло неправда...

Мими. Конечно, все ошибаются! одна ты права!.. Я не могу надивиться, как ты можешь за нее вступаться. Ее репутация сделана.

Мария. О, я знаю! Баронесса имеет много врагов,—и на это есть причины: она прекрасна собою; муж ее урод; ее любезность привлекает к ней толпу мужчин.

Мими вспыхнула, а старая княгиня прервала Марию:

— Уж правду сказать, я совсем не рада вашему знакомству с баронессою; она совсем не умеет вести себя. Что это за беспрестанные кавалькады, пикники? Нет бала, на котором бы она не вертелась; нет мужчины, с которым бы она не была как с братом. Я не знаю, как все это называется у вас, в нынешнем веке, но в наше время такое поведение называлось неблагопристойным.

— Да дело идет не о баронессе!—возразила Мария, хотевшая отклонить разговор о своей приятельнице.— Я говорю о тебе, Мими: ты меня истинно приводишь в отчаяние. Ты говоришь об общем мнении! Не думаешь ли ты, что оно в твою пользу? О, ты весьма ошибаешься! Ты думаешь, приятно мне видеть, что твоего языка боятся как огня, перестают говорить, когда ты подойдешь к какому-нибудь кружку? Мне, мне, сестре твоей, говорят в глаза о твоих сплетнях, о твоей злости; ты мужу намекаешь о тайнах его жены; жене рассказываешь о муже; молодые люди просто ненавидят тебя. Нет их

шалости, которой бы ты не знала, о которой бы ты не судила и не рядила. Уверяю тебя, что с твоим характером ты ввек не выйдешь замуж.

— О, я об этом очень мало забочусь! — отвечала Мими.— Лучше целый век оставаться в девках, чем выйти замуж за какого-нибудь больного калеку и до смерти затаскать его на балах.

Мария вспыхнула в свою очередь и готовилась отвечать, но ударил звонок, дверь отворилась, и вошел граф Сквирский, старинный приятель, или, что все равно, старинный партнер княгини. То был один из тех счастливцев, которым нельзя не завидовать. Целый век и целый день он был занят: поутру надобно поздравить того-то с именинами, купить узор для княжны Зизи, сыскать собаку для княжны Биби, завернуть в министерство за новостями, поспеть на крестины или на похороны, потом на обед и проч., и проч. В продолжение пятидесяти лет граф Сквирский все собирался сделать что-нибудь дельное, но отлагал день за днем и, за ежедневными хлопотами, не успел даже жениться. Ему вчера и тридцать лет назад было одно и то же: переменялись моды и мебели, но гостиные и карты все были те же — сегодня как вчера, завтра как сегодня,— он уже третьему поколению показывал свою неизменную спокойную улыбку.

— Сердце радуется,— говорил Сквирский княгине,— когда войдешь к вам в комнату и посмотришь на ваш милый семейный кружок. Нынче уже мало таких согласных семейств! Все вы вместе, всегда так веселы, так довольны,— и вздохнешь невольно, как вспомнишь о своем холостом угле. Честью могу вас уверить,— пусть другие говорят что хотят,— но что до меня касается, я так думаю, холостая жизнь...

Философические рассуждения Сквирского были прерваны поданною ему карточкою.

Между тем скоро гостиная княгини наполнилась: тут были и супруги, для которых собственный дом есть род калмыцкой кибитки, годной лишь для ночлега; и те любезные молодые люди, которые приезжают к вам в дом затем, чтоб было что сказать в другом; и те, которых судьба, наперекор природе, втянула в маховое колесо гостиных; и те, для которых самый простой визит есть следствие глубоких расчетов и пособие для годовой интриги. Тут были и те лица, которым сам Грибоедов не мог приискать другого характеристического имени, как г-н N и г-н D.

— Вы долго вчера оставались на бале? — спросила княжна Мими у одного молодого человека.

— Мы еще танцевали после ужина.

— Скажите ж, чем кончилась комедия?

— Княжне Биби наконец удалось прикрепить свою гребенку...

— Ох! не то...

— А, понимаю!.. Длинная фигура в черном фраке наконец решилась разговориться: он задел шляпою графиню Рифейскую и сказал: «Извините!»

— О! все не то... Вы, стало быть, ничего не заметили?

— А, вы говорите про баронессу?..

— О нет! Я и не думала об ней... Да почему вы об ней заговорили? Разве о чем-нибудь говорят?

— Нет! Я ничего не слыхал. Мне хотелось только отгадать, что вы хотели сказать своим вопросом.

— Я ничего не хотела сказать.

— Но о какой же комедии?

— Я так говорила вообще о вчерашнем бале.

— Нет, воля ваша, тут что-нибудь да есть! Вы сказали таким тоном...

— Вот свет! Вы уж выводите заключения! Я вас уверяю, что ни о ком особенно не думала. Кстати о баронессе: она еще много после меня танцевала?

— Не сходила с доски.

— Она совсем не бережет себя. С ее здоровьем...

— О! княжна, вы совсем не об ее здоровье говорите. Теперь все понимаю. Этот гвардейский полковник?.. Не так ли?

— Нет! Я его не заметила.

— Так позвольте ж? Надобно вспомнить всех, с кем она танцевала...

— Ах, бога ради, перестаньте! Я вам говорю, что я об ней и не думала. Я так боюсь этих всех пересудов, сплетней... В свете люди так злы...

— Позвольте, позвольте! Князь Петр... Бобо... Лейденминц, Границкий?..

— Кто это? Это новое лицо, высокий с черными бакенбардами?..

— Так точно.

— Он, кажется, приятель баронессина деверя?

— Так точно.

— Так его зовут Границким?

— Скажите, пожалуйста,— сказала одна сидевшая за картами дама, вслушиваясь в слова Мими,— что такое этот Границкий?

— Его баронесса всюду развозит,— отвечала соседка княжны на бале.

— И сегодня,— заметила третья дама,— она показывала его в своей ложе.

— Это только баронессе может прийти в голову,— сказала соседка княжны.— Бог знает что он такое! Какой-то выходец с того света...

— То уж правда, что он бог знает что такое! Он какой-то этакой якобинец не якобинец, un frondeur[1], не умеет жить. И какие глупости он говорит! Намедни я стала уговаривать графа Бориса взять билет к нашему Целини, а этот — как его, Границкий, что ли,— принялся возле меня рассказывать о какой-то страховой конторе, которую здесь заводят против концертных билетов...

— Он не хороший человек,— заметили многие.

— Не слышит этого баронесса! — сказала Мими.

— Ну, теперь понимаю! — прервал ее молодой человек.

— О, нет! Ей-богу, я только хотела сказать, как бы ей этот разговор был неприятен; он друг их дома... И для всякого...

— Позвольте мне еще раз перервать ваши слова, потому что я расскажу именно то, что вам хотелось знать. Баронесса после ужина не переставала танцевать с Границким. О, теперь я все понимаю! Он не отходил от нее: то она на стуле оставит шарф, он принесет его; то ей жарко, он носится с стаканом...

— Как вы злы! Я ни об чем об этом вас не спрашивала. Что тут мудреного, что он за ней ухаживает! Он ей почти родной, живет у них в доме...

— А! живет у них в доме! Какая самоуверенность в этом бароне!.. Не правда ли?

— О, бога ради, перестаньте! Вы заставляете меня говорить то, чего у меня в голове нет: с вами тотчас попадешь в кумушки,— а я, я так всего этого боюсь!.. избави меня бог за кем-нибудь замечать!.. А особливо баронесса, которую я так люблю...

— Да! Она достойна любви и... сожаления.

— Сожаления?

— Без сомнения! Согласитесь, что барон и баронесса *вместе* составляют что-то странное.

— Да! это правда!.. Муж баронессы совсем не занимается ею: она, бедная, дома, всегда одна...

— Не одна! — возразил молодой человек, улыбаясь своему остроумию.

— О, вы все толкуете по-своему! Баронесса очень нравственная женщина...

---

[1] Недовольный *(фр.)*.

— О, будемте справедливы! — заметила соседка княжны. — Не надобно никого осуждать; но я не знаю, какие правила у баронессы. Не знаю, как-то зашла речь об «Антони», об этой ужасной, безнравственной пьесе; я не могла досидеть до конца, а она вздумала вступаться за эту пьесу и уверять, что только такая пьеса может остановить женщину на краю погибели...

— О! признаюсь вам, — заметила княгиня, — все, что говорится, делается и пишется в нынешнем веке... Я ровно ничего не понимаю!

— Да! — отвечал Сквирский. — Я скажу, что до меня касается, я так думаю, нравственность необходима; но и просвещение также...

— Ну уж и вы, граф, туда же! — возразила княгиня. — Нынче все твердят — просвещение, просвещение! — куда ни оглянись, всюду просвещение, — и купцов просвещают, и крестьян просвещают, — в старину не было этого, а все шло лучше нынешнего. Я сужу по-старинному: говорят — просвещение, а поглядишь — развращение!

— Нет, позвольте, княгиня! — отвечал Сквирский. — Я с вами не согласен. Просвещение необходимо, и это я докажу вам как дважды два — четыре. Ведь что такое просвещение? Вот, например, мой племянник: он вышел из университета, знает все науки: и математику, и по-латыни — имеет аттестат, и вот ему всюду открыта дорога, — и в коллежские асессоры, и в действительные. Ведь, позвольте сказать: просвещение просвещению рознь. Вот, например, свеча: она светит, нам бы нельзя было без нее в вист играть; но я взял свечу и поднес к занавеске, — занавеска загорится...

— Позвольте записать! — сказал один из играющих.

— То, что я говорю? — спросил Сквирский, улыбаясь.

— Нет, роберт!

— Вы сделали ренонс, граф! Как это можно? — сказал с досадою партнер Сквирского.

— Как?.. я?.. ренонс? Ах боже мой!.. В самом деле? Вот вам и просвещение!.. Ренонс! Ах, боже мой, ренонс! Да, точно ренонс!

Тут уже ничего нельзя было расслушать: все заговорили о несчастии Сквирского, и все рассуждения, все интересы, все чувства сосредоточились в этом предмете. Пользуясь общим движением, двое гостей неприметно вышли из комнаты: один из них, казалось, только что приехал определиться, другой возил его знакомить по гостиным. На лице одного видны были досада и насмешка; другой спокойно и внимательно всматривался в ступеньки лестницы, по которой они сходили.

— Мне на роду написано встречаться с этим бездельником! — сказал первый. — Этот Сквирский, старый знакомец, — я его знал в Казани, — чего он там не чудесил! А здесь еще он ораторствует! И о чем же? О нравственности. И что всего замечательнее, он убежден в том, что говорит: напомни ему, что он вконец разорил своих племянников, бывших у него под опекою, он будет в состоянии спросить: какое это имеет отношение к нравственности? Скажи, пожалуй, как вам возможно такого безнравственного человека принимать в общество?

Товарищ пожал плечами.

— Что ж мне делать с тобою, мой любезный! — отвечал он, садясь в карету, — если ты не знаешь нашего языка; учись, учись, мой милый: это необходимо, — мы здесь перемешали значение всех слов, и до такой степени, что если ты назовешь безнравственным человека, который обыгрывает в карты, клевещет на ближнего, владеет чужим имением, тебя не поймут, и твое прилагательное покажется странным; но если ты дашь волю уму и сердцу, протянешь руку к какой-нибудь жертве светских предрассудков или попробуешь только запереть твою дверь от встречного и поперечного, тебя тотчас назовут безнравственным человеком, и это слово будет для всех понятно.

После некоторого молчания первый продолжал:

— Знаете ли, что мне гораздо сноснее ваши блестящие, большие рауты! Тут по крайней мере говорят мало, у всех чинный вид, — точно люди: но избави бог от их семейных кружков! Минуты их домашней откровенности ужасны, отвратительны, — отвратительны даже до любопытства. Княгиня — судья литературы! Граф Сквирский — защитник просвещения! Право, после этого захочется быть невеждою.

— Однако ж в словах княгини было нечто справедливое! Согласись сам, — что такое в нынешней литературе? Беспрестанные описания пыток, злодеяний, разврата; беспрестанные преступления и преступления...

— Извини! — отвечал его товарищ, — но так говорят те, которые ничего не читали, кроме произведений нынешней литературы. Ты, конечно, уверен, что она портит общественную нравственность, не правда ли? Было бы что портить, мой любезный! С середины XVIII века все так исправно испортилось, что уже нашему веку ничего портить не осталось. И одну ли нынешнюю литературу можно попрекнуть этим грехом? На одно действительно безнравственное нынешнее произведение я тебе укажу десять XVIII, XVII и даже XVI века. Теперь нагота больше в словах, тогда она была в самом деле, в самом

вымысле. Прочти хоть Брантома, прочти даже «Поездку на остров любви» Тредьяковского: я не знаю на русском языке безнравственнее этой книги; это ручная книга для самой бесстыдной кокетки. Нынче не напишут такой книги в пользу чувственных наслаждений; нынче автор, вопреки древнему правилу — «si vis me pleurer...»[1] — кощунствует, смеется для того, чтоб заставить плакать читателя. Вся нынешняя литературная нагота есть последний отблеск прошедшей действительной жизни, невольная исповедь в старых прегрешениях человечества, хвост старинной беззаконной кометы, по которому,— знаешь ли что? — по которому можно судить, что сама комета удаляется с горизонта, ибо кто пишет, тот уже не чувствует. Наконец, нынешняя литература, по моему мнению, есть казнь, ниспосланная на ледяное общество нашего века: нет ему, лицемеру, и тихих наслаждений поэзии! оно недостойно их!.. И, может быть, это казнь благотворная: неисповедимы определения ума человеческого! Может быть, нужно нашему веку это сильное средство; может быть, оно, беспрерывно потрясая его нервы, пробудит его заснувшую совесть, как телесное страдание пробуждает утопленника. С тех пор как я в вашем свете, я понимаю нынешнюю литературу. Скажи мне, чем другим, какою поэзиею она заинтересует такое существо, какова княжна Мими? какою искусною катастрофою ты тронешь ее сердце? какое чувство может быть понятно ей, кроме отвращения,— да, отвращения! Это, может быть, единственный путь к ее сердцу. О, эта женщина навела на меня ужас! Смотря на нее, я рядил ее в разные платья, то есть логически развивал ее мысли и чувства, представлял себе, чем бы могла быть такая душа в разных обстоятельствах жизни, и прямехонько дошел... до костров инквизиции! Не смейся надо мною: Лафатер говаривал — дайте мне одну линию на лице, и я вам расскажу всего человека. Найди мне только степень, до которой человек любит сплетни, любит выведывать и рассказывать домашние тайны, и все под личиною добродетели, и я тебе с математическою точностию определю, до какой степени простирается в нем безнравственность, пустота души, отсутствие всякой мысли, всякого религиозного, всякого благородного чувства. В моих словах нет преувеличения: я сошлюсь хотя на отцов церкви. Они глубоко знали сердце человеческое. Послушай, с каким горьким сожалением они вспоминают о таких людях: «Горе будет им в день судный,— говорят они,— лучше бы

[1] Если хочешь меня заставить плакать... *(фр.)*

им не знать святыни, нежели посреди ее поставить престол диаволу».

— Помилуй, братец! Да что с тобою? Это уж, кажется, проповедь.

— Ах, извини! Все, что я видел и слышал, так гадко, что надобно же мне было отвести душу. Впрочем, скажи,— разве ты не слыхал разговора княжны Мими с этим прокатным танцовщиком?

— Нет. Я не обратил внимания.

— Ты? литератор?.. Да в этом милом светском разговоре зародыш тысячи преступлений, тысячи бедствий!

— Э, братец! Мне в это время рассказывали историю поинтереснее,— как сделал карьеру один из моих сослуживцев...

Карета остановилась.

III
СЛЕДСТВИЯ ДОМАШНИХ РАЗГОВОРОВ

> Я говорю, ты говоришь, он говорит, мы говорим, вы говорите, они или оне говорят.
>
> *Труды...?!*

К счастью, немногие разделяли грозное мнение незнакомого оратора о нынешнем обществе, и потому все его маленькие дела шли своим чередом без всякого помешательства. А между тем, незаметно ни для кого, двигался этот род предрассудка, который называют временем.

Графиня Рифейская, издавна дружная с баронессою, старалась еще более с нею сблизиться с тех пор, как приехал Границкий: их видали вместе и на прогулке и в театре; баронесса не знала ничего о старинном знакомстве Границкого с графинею; правда, она замечала, что они были неравнодушны друг к другу, но почитала это обыкновенным, минутным волокитством, которое иногда предпринимают люди от нечего делать, в свободное от других занятий время. Сказать ли? Баронесса незаметно для нее самой даже радовалась своему открытию: оно ей показалось верною защитою против нападения своей неприятельницы.

Но Границкий и графиня вели свои дела с особенным искусством, приобретаемым долгою опытностию: в обществе они умели быть совершенно равнодушными; говоря с другими о предметах совершенно посторонних, они умели или назначить друг другу место свидания, или передать какие-либо меры предосторожности; они даже умели

кстати смеяться друг над другом. Пламенные их взоры встречались лишь в зеркале; но ни одна минута не была ими потеряна: они ловили тот миг, когда глаза других были отвлечены каким-нибудь предметом. При мгновенном выходе из комнаты, из театра, словом, при каком бы то ни было удобном случае, их руки сливались вместе, и часто за долгое принуждение их награждал поцелуй любви, распаленный насмешкою над общим мнением.

Между тем семена, брошенные искусною рукою княжны Мими, росли и множились, как те чудные деревья девственного бразильского леса, которые раскинут свои ветви, и каждая ветвь опустится к земле, и станет новым деревом, и снова вопьется в землю ветвями, и еще, еще... И горе неосторожному путнику, попавшемуся в эти бесчисленные сплетения! Молодой болтун рассказал разговор с княжною Мими другому; этот своей маменьке; маменька своей приятельнице, и так далее. Такую же галерею устроила вокруг себя и Мими; такую же и княгиня; такую же и старая соседка княжны на бале. Все эти галереи росли, росли: наконец встретились, переплелись, укрепили друг друга, и частая сеть охватила баронессу с Границким, как Марса с Венерою. По этому случаю все языки, которые только могли шевелиться в городе, зашевелились,—одни по желанию убедить слушателей, что они непричастны подобным грехам,—другие по ненависти к баронессе,—третьи, чтоб посмеяться над ее мужем,—иные просто по желанию показать, что им также известны гостинные тайны.

Границкий, занятый своими стратегическими движениями с графинею, баронесса, успокоенная своим открытием, не знали бури, которая была готова над ними разразиться: они не знали, что каждое их слово, каждое их движение были замечены, обсуждены, растолкованы; они не знали, что беспрестанно находились перед глазами судилища, составленного из чепчиков всех возможных фасонов. Когда баронесса запросто, дружески обращалась с Границким, тогда судилище решало, что она играет роль невинности. Когда она, по какому-нибудь стечению обстоятельств, в продолжение целого вечера ни слова не говорила с Границким, тогда судилище находило, что это сделано для того, чтоб отвлечь общее внимание. Когда Границкий говорил с бароном, это значило, что он желает усыпить подозрение бедного мужа. Когда молчал, это значило, что любовник не в силах преодолеть своей ревности. Словом, что бы ни делали баронесса и Границкий,—садился он или не садился подле нее за столом,—танцевал или не танцевал с нею,—встречался или не

встречался на прогулке,—была ли баронесса при людях любезна или нелюбезна с своим мужем,—выезжала с ним или не выезжала,—все для досужего судилища служило подтверждением его заключений.

А бедный барон! Если бы он знал, какое нежное участие принимали в нем дамы, если бы он знал все добродетели, открытые ими в его особе! Его всегдашняя сонливость была названа внутренним страданием страстного мужа; его глупая улыбка знаком непритворного добродушия; в его заспанных глазах они нашли глубокомыслие; в его страсти к висту—желание не видать жениной неверности или сохранить наружное приличие.

Однажды в доме общей знакомой баронесса Дауерталь встретилась с княжною Мими. Они, разумеется, очень обрадовались, дружески пожали друг другу руки, сделали друг другу бесчисленное множество вопросов и с обеих сторон оставили их почти без ответа: словом, ни тени вражды, ни тени воспоминания о приключении на бале,—как будто бы целый век они не переставали быть истинными приятельницами. В гостиной, кроме их, было мало гостей,—только старая княжна, молодая вдова—сестра Мими, старая и всегдашняя ее соседка на балах, Границкий и еще человека два, три.

Границкий целый день протаскался по разным гостиным, чтоб увидеться с своею графинею, и, нигде не нашедши ее, был скучен и рассеян. Баронессе было очень неприятно встретиться с княжною Мими, а старой княгине с баронессою. Одна Мими была очень рада удобному случаю делать наблюдения над баронессою и Границким в маленьком обществе. От всего этого произошла в гостиной несносная принужденность: разговор беспрестанно переходил от предмета к предмету и беспрестанно прерывался. Хозяйка поднимала из-под спуда старые новости, потому что о новых все возможное было сказано, и все смотрели на нее видимо не слушая. Мими торжествовала: говоря с другими, она не пропускала ни одного слова ни баронессы, ни Границкого и в каждом слове находила ключи для гиероглифического языка, обыкновенно употребляемого в таких случаях. Приметную рассеянность Границкого она переводила то маленькою ссорою между любовниками, то возбужденным подозрением мужа. А баронесса! Ни одно ее движение не ускользало от внимательного наблюдения Мими, и каждое ей рассказывало целую историю со всеми подробностями. Между тем бедная баронесса, как будто виноватая, отворачивалась от Границкого: то почти не отвечала на его слова, то вдруг обращалась к нему с вопросами; не могла удерживаться,

чтоб иногда не взглядывать на княжну Мими, и часто, когда их глаза искоса встречались, баронесса приходила в невольное смущение, которое еще более увеличивалось тем, что она сердилась на себя за свое смущение.

Спустя несколько времени Границкий посмотрел на часы, сказал, что он едет в оперу, и исчез.

— Ведь мы расстроили это свидание,—тихо сказала Мими своей неразлучной соседке.— Впрочем, они наведут!

Едва вышел Границкий, как слуга доложил баронессе, что приехала ее карета, которой она давно уже дожидалась.

В ту минуту какая-то неясная мысль пробежала в голове княжны Мими: она сама не могла дать себе отчета,—эта было темное, беспредметное вдохновение злости,—это было чувство человека, который ставит сто против одного в верной надежде не выиграть.

— У меня ужасный мигрень!—сказала она.— Позвольте, баронесса, вашей карете перевезти меня домой через улицу: мы свою отпустили.

Они взглянули и поняли друг друга. Баронесса, по инстинкту, догадалась, что происходило в душе княжны Мими. Она также не составляла себе никакого определенного понятия о намерении последней; но — сама не зная чего-то испугалась; — она, разумеется, без труда согласилась на предложение Мими, но вспыхнула, и так вспыхнула, что все это заметили. Все это произошло во сто раз быстрее, нежели во сколько мы могли рассказать сцену.

На дворе была сильная метель; ветер задувал фонари, и в двух шагах нельзя было различить человека. Закутанная с ног до головы в салоп, Мими, с трепетом в сердце, всходила, поддерживаемая двумя лакеями, по ступенькам кареты. Она едва сделала два шага, как вдруг в карете большая мужская рука схватила ее руку, помогая ей войти. Мими бросилась назад, вскрикнула,—и едва ли это был не крик радости! Опрометью побежала она назад по лестнице, и вне себя, задыхаясь от различных чувств, загоревшихся в душе, бросилась к сестре Марии, которую крик ее, раздавшийся по всему дому, заставил выбежать из гостиной вместе с другими дамами.

— Ну, говорите еще!—шептала она сестре своей, но так, чтоб все могли слышать,—защищайте вашу баронессу! У ней... в карете... ее Границкий. Посоветуйте ей по крайней мере осторожнее устраивать свои свидания и не подвергать меня такому стыду...

На шум пришла баронесса. Мими замолчала и, как бы без чувств, бросилась в кресла. Пока баронесса тщетно спрашивала у княжны, что с нею случилось,—

дверь отворилась и—

но позвольте, милостивые государи! Я думаю, что теперь самая приличная минута заставить вас прочесть—

ПРЕДИСЛОВИЕ

C'est avoir l'esprit de son âge![1]

С некоторого времени вошел в употребление и успел уже обветшать обычай писать предисловие посредине книги. Я нахожу его прекрасным, то есть очень выгодным для автора. Бывало, сочинитель становился на колени, просил, умолял читателя обратить на него внимание; а читатель гордо перевертывал несколько страниц и хладнокровно оставлял сочинителя в его унизительном положении. В нашу эпоху справедливости и расчета сочинитель в предисловии становит читателя на колени или выбирает ту минуту, когда сам читатель становится на колени и вымаливает развязки; тогда сочинитель важно надевает докторский колпак и доказывает читателю, почему он должен стоять на коленях,—все это с невинным намерением заставить читателя прочесть предисловие. Воля ваша, а это прекрасное средство, ибо кто не читал предисловия, тот знает только половину книги. Итак, милостивые государи, становитесь на колени, читайте, и читайте с глубочайшим вниманием и с глубочайшим уважением, потому что я буду говорить вам то, что уже давно вам всем известно.

Знаете ли вы, милостивые государи читатели, что писать книги дело очень трудное?

Что из книг труднейшие для сочинителя—романы и повести.

Что из романов труднейшие те, которые должно писать на русском языке.

Что из романов на русском языке труднейшие те, в которых описываются нравы нынешнего общества.

Пропуская тысячи причин этих затруднений, я упомяну о тысяче первой.

Эта причина,—извините!—pardon!—verzeihen sie! scusate!—forgive me![2]—эта причина: наши дамы не говорят по-русски!!

Послушайте, милостивые государыни: я не студент, не школьник, не издатель, ни А, ни В; я не принадлежу ни к какой литературной школе и даже не верю в существование русской словесности; я сам говорю по-русски редко;

---

[1] Быть верным своему веку! *(фр.)*

[2] Извините! *(фр., нем., ит., англ.)*

по-французски изъясняюсь почти без ошибок; картавлю самым чистым парижским наречием: словом, я человек порядочный,— я уверяю вас, что стыдно, совестно и бессовестно не говорить по-русски! Знаю я, что французский язык уже начинает выходить из употребления: но какой нечистый дух шепнул вам заменить его не русским, а проклятым английским, для которого надобно ломать язык, стискивать зубы и выставлять нижнюю челюсть вперед? А с этою необходимостию прощай, хорошенький ротик с розовыми, свежими славянскими губками? Лучше бы его не было.

Вы знаете не хуже моего, что в обществе действуют сильные страсти — страсти, от которых люди бледнеют, краснеют, желтеют, занемогают и даже умирают; но в высших слоях общественной атмосферы эти страсти выражаются одною фразою, одним словом, словом условным, которого, как азбуку, нельзя ни перевесть, ни выдумать. Романист, в котором столько совести, что он не может решиться выдавать алеутский разговор за язык общества, должен знать в совершенстве эту светскую азбуку, должен ловить эти условные слова, потому что, повторяю, их выдумать невозможно: они рождаются в пылу светского разговора, и приданный им в ту минуту смысл остается при них навсегда. Но где поймаешь такое слово в русской гостиной? Здесь все русские страсти, мысли, насмешка, досада, малейшее движение души выражаются готовыми словами, взятыми из богатого французского запаса, которыми так искусно пользуются французские романисты и которым они (талант в сторону) обязаны большею частию своих успехов. Как часто им бывают ненужны эти длинные описания, объяснения, приготовления, которые му́ка и сочинителю и читателю и которые они легко заменяют несколькими светскими для всех понятными фразами! Те, которые знают несколько механизм расположения романа, те поймут все выгоды, приносимые этим обстоятельством. Спросите нашего поэта[1], одного из немногих русских писателей, в самом деле знающих русский язык, почему он, в стихах своих, употребил целиком слово vulgar, vulgaire?[2] Это слово рисует половину характера человека, половину его участи; но, чтобы выразить его по-русски, надобно написать страницы две объяснений,— а куда как это ловко для сочинителя и как весело для читателя! Вот вам один пример, а таких можно найти тысячу. И потому я прошу

---

[1] Напоминать ли, что здесь идет речь об Онегине Пушкина. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

[2] Вульгарно *(англ., фр.)*.

моих читателей принять в уважение все эти обстоятельства и пенять не на меня, если для одних разговор моих героев покажется слишком книжным, а для других не довольно грамматическим. В последнем случае я сошлюсь на Грибоедова, едва ли не единственного, по моему мнению, писателя, который постиг тайну перевести на бумагу наш разговорный язык.

Засим я прошу извинения у моих читателей, если наскучил им, поверяя их доброму расположению эти маленькие. в полном смысле слова домашние затруднения и показывая подставки, на которых движутся романические кулисы. Я поступаю в этом случае как директор одного бедного провинциального театра. Приведенный в отчаяние нетерпением зрителей, скучавших долгим антрактом, он решился поднять занавес и показать им на деле, как трудно превращать облака в море, одеяло в царский намет, ключницу в принцессу, и арапа в premier ingénu[1]. Благосклонные зрители нашли этот спектакль любопытнее самой пьесы. Я думаю то же.

Конечно, родятся люди с необыкновенными дарованиями, для которых все готово — и нравы, и ход романа, и язык, и характеры: надобно ли им изобразить человека высшего общества или, как они говорят, модного тона,— ничего не может быть легче! Они непременно пошлют его в чужие края; для большей верности в костюме заставят его не служить, спать до двух часов пополудни, ходить по кондитерским и пить до обеда, разумеется, шампанское. Нужно им написать разговор в порядочном обществе,— и того легче! Развернуть первый переводной роман г-жи Жанлис, прибавить в необходимых местах слова mon cher,— ma chère,— bonjour — comment vous portez-vous[2],— и разговор готов! Но такую точность описания, такой верный, проницательный взгляд природа дает немногим гениям. Я был обижен ею в этом отношении и потому просто прошу читателя сердиться не на меня, если я в некоторых из моих домашних разговоров не умел вполне сохранить светского колорита; а дамам повторяю мою убедительную просьбу говорить по-русски.

Не говоря по-русски, они лишаются множества выгод:

I. Они не могут так хорошо понимать наших сочинений; но как с этим по большей части их можно поздравить, то мы пропустим это обстоятельство.

II. Если они, несмотря на мои увещания, все-таки не будут говорить по-русски, то я — я — вперед не напишу

---

[1] Первого любовника *(фр.)*.

[2] Мой дорогой,— моя дорогая,— здравствуйте,— как вы себя чувствуете *(фр.)*.

для них ни одной повести, пусть же читают они гг. А, Б, В и проч.

Уверенный, что эта угроза сильнее всех доказательств подействует на моих читательниц, я спокойно обращаюсь к моему рассказу.

Итак — дверь отворилась, и... ввалился старый барон, ничего не понимавший в этом приключении. Он приезжал за женою, и как он намеревался сейчас же куда-то ехать с нею по какому-то непредвиденному обстоятельству, то рассудил остаться в карете и не говорить о себе хозяйке дома. Крик княжны Мими, которую он сначала принял было за жену, заставил его выйти.

Но таково было магнетическое действие, приготовленное и городскими слухами и всем предшедшим, что все смотрели на него и не верили глазам своим: уже спустя несколько времени, после стакана воды, после одеколоня, гофманских капель и прочего тому подобного, догадались, что в таких случаях надобно смеяться. Я уверен, что многие из моих читателей замечали в разных случаях жизни действие этого магнетизма, производящего в толпе сильное убеждение почти без всякой видимой причины: подвергшись сему действию, мы потом уже тщетно хотим уничтожить его рассудком; слепое убеждение так овладевает нашею волею, что в нас сам рассудок невольно начинает отыскивать обстоятельства, которые бы могли подтвердить это убеждение. В те минуты сказанное самое нелепое слово производит сильное влияние; иногда самое это слово забывается, но произведенное им впечатление остается в душе и, незаметно для человека, порождает в нем ряд таких мыслей, которые бы не пришли в голову без этого слова и которые к нему имеют иногда самое отдаленное отношение. Этот магнетизм играет весьма важную роль как в важных, так и в самых мелочных происшествиях, и, может быть, для многих должен служить единственным объяснением. Так случилось и теперь: происшествие с княжною было очень просто и понятно, но предрасположение всех присутствующих к другого рода развязке было так сильно, что у многих в одно и то же мгновение родилась неясная мысль, как будто бы барон тут явился в роде *ку́ма*. Каким образом могло это случиться, в ту минуту никто не был в состоянии объяснить себе; но впоследствии эта мысль развилась, укрепилась, и рассудок вместе с памятью отыскали в прошедшем множество подтверждений для того, что действительно было только одно слепое убеждение.

Если б вы знали, какой шум поднялся в городе после этого происшествия! Во всех углах шепотом, вслух, за канвою, за книгою, в театре, перед алтарем божиим собеседники и собеседницы говорили, толковали, объясняли, спорили, выходили из себя. Огнь небесный не произвел бы в них сильнейшего впечатления! И все оттого, что мужу вздумалось приехать за женою. Наблюдая подобные прискорбные явления, истинно приходишь в изумление. Что привлекает этих людей к делам, которые до них не касаются? Каким образом эти люди, эти люди бездушные, ледяные при виде самого благородного и самого подлого поступка, при виде самой высокой и самой пошлой мысли, при виде самого изящного произведения и при нарушении всех законов природы и человечества,— каким образом эти люди делаются пламенными, глубокомысленными, проницательными, красноречивыми, когда дело дойдет до креста, до чина, до свадьбы, до какой-нибудь домашней тайны или до того, что они выжали из своего сухого мозга под именем приличия?

IV

СПАСИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

Барин. Дурак! Тебе надобно было это сделать стороною.
Слуга. Я и так, сударь, подошел к нему со стороны.

У старого барона был меньшой брат, гораздо моложе его годами; офицер, вообще очень милый малой.

Описать его характер довольно трудно: надобно начать издалека.

Видите ли! отцов наших добрые люди научили, что надобно во всем сомневаться, рассчитывать свой каждый поступок, избегать всяких систем, всего бесполезного, а везде искать существенной пользы или, как тогда говаривали, обирать вокруг себя и вдаль не пускаться. Отцы наши послушались, оставили в сторону все бесполезные вещи, которых я не назову, чтобы не прослыть педантом, и очень были рады, что вся мудрость человеческая ограничилась обедом, ужином и прочими тому подобными полезными предметами. Между тем у отцов наших завелись дети; дошло дело до воспитания; они благоразумно продолжали во всем сомневаться, смеяться над системами и заниматься одними полезными предметами. Между тем их дети росли, росли и, наперекор добрым людям, сами

составили себе систему жизни,— однако систему не мечтательную, а в которой поместились эпиграмма Вольтера, анекдот, рассказанный бабушкою, стих из Парни, нравственно-арифметическая фраза Бентама, насмешливое воспоминание о примере для прописи, газетная статья, кровавое слово Наполеона, закон с карточной чести и прочее тому подобное, чем до сих пор пробавляются старые и молодые воспитанники XVIII столетия.

Молодой барон обладал этою системою в совершенстве: влюбиться он не мог — в этом чувстве было для него что-то смешное; он просто любил женщин,— всех, с малыми исключениями,— свою легавую собаку, Лепажевы ружья и своих товарищей, когда они ему не надоедали; он верил в то, что дважды два четыре, в то, что ему скоро откроется вакансия в капитаны, в то, что завтра он должен танцевать 2, 5 и 6 нумера контраданса...

Впрочем, будем справедливы: молодой человек имел благородную, пылкую и добрую душу; но чего не задавило преступное воспитание гнилого и раздушенного века! Радуйтесь, люди расчета, сомнения и существенной пользы! радуйтесь, защитники насмешливого неверия во все святое! расплылись ваши мысли, все затопили, и просвещение и невежество. Где встанет солнце, которое должно высушить это болото и обратить его в плодоносную почву?

В комнате, обвешанной парижскими литографиями и азиатскими кинжалами, на вогнутых креслах, затянутый в узком архалухе, лежал молодой барон, то посматривая на часы, то перевертывая листки французского водевиля.

Человек подал записку.

— От кого?

— От маркизы де Креки.

— От тетушки!

Записка была следующего содержания:

«Заезжай ко мне сегодня после обеда, мой милый. Да не забудь, по обыкновению; у меня до тебя есть дело, и очень важное».

— Ну, уж верно,— проворчал про себя молодой человек,— тетушка изобрела еще какую-нибудь кузину, которую надобно выводить на паркет! Уж мне эти кузины! И откуда они берутся?.. Скажи тетушке,— сказал он громко,— что очень хорошо,— буду. Одеваться.

Когда молодой барон Дауерталь явился к маркизе, она оставила свои большие вязальные спицы, взяла его за руку и с таинственным видом, через ряд комнат, отличавшихся характеристическим безвкусием, повела к себе в кабинет и посадила на маленький диван, окруженный

горшками с геранием, бальзамином, мятою и фамильными портретами. Воздух был напитан одеколоном и спермацетом.

— Скажите, тетушка,— спросил ее молодой человек,— что все это значит? Уж не женить ли вы меня хотите?

— Пока еще нет, моя душа! Но шутки в сторону: я должна с тобою говорить очень и очень серьезно. Скажи мне, сделай милость, что у тебя за друг такой — Границкий, что ли, он? как его?..

— Да, Границкий! Прекрасный молодой человек, хорошей фамилии...

— Я никогда об ней не слыхала. Скажи мне, отчего такая связь между вами?

— В одном местечке, в Италии, измученный, голодный, иолубольной, я не нашел комнаты в трактире: он поделился со мною своею; я занемог: он ухаживал за мною целую неделю, ссудил меня деньгами; я взял с него слово, приезжая в Петербург, останавливаться у меня: вот начало нашего знакомства... Но что значат все ваши вопросы, тетушка?

— Послушай, мой милый! Все это очень хорошо; я очень понимаю, что какой-нибудь Границкий был рад оказать услугу барону Дауерталю.

— Тетушка, вы говорите о моем истинном приятеле! — прервал ее молодой человек с неудовольствием.

— Все это очень хорошо, мой милый! Я не осуждаю твоего истинного приятеля,— его поступок с тобою делает ему много чести. Но позволь мне тебе сказать откровенно: ты молодой человек, едва вступаешь в свет: тебе надобно быть осторожным в выборе знакомства. Нынче молодые люди так развращены...

— Я думаю, тетушка, ни больше ни меньше, как всегда...

— Ничего не бывало! Тогда по крайней мере было больше почтения к родственникам; родственные связи, не как теперь,— они были теснее...

— И даже иногда слишком тесны, любезная тетушка, не правда ли?

— Не правда! Да дело не о том. Позволь мне тебе заметить, что ты в этом случае, о котором мы говорим, поступил очень ветрено: встретился и связался с человеком, которого никто не знает. Служит ли он по крайней мере где-нибудь?

— Нет.

— Ну, скажи же сам после этого, что он за человек! Даже не служит! Уж верно потому, что его не принимают в службу.

— Вы ошибаетесь, тетушка. Он не служит, потому что у него мать италиянка, и все его имение в Италии; он не может ее оставить, именно по причине родственных связей...

— Зачем же он здесь?

— По делам своего отца. Но скажите, бога ради, к чему ведут все эти вопросы?

— Одним словом, мой милый, мне очень неприятна твоя дружба с этим человеком, и ты мне сделаешь большое одолжение, если... если выживешь его из дома.

— Помилуйте, тетушка! Вы знаете, что я во всем вам беспрекословно повинуюсь; но войдите в мое положение: с какой стати я вдруг переменюсь к человеку, которому столько обязан, и ни с того ни с сего выгоню его из дому? Воля ваша, я не могу решиться на такую неблагодарность.

— Все это вздор, мой милый! романические идеи, больше ничего! Есть манера, и очень вежливая, показать ему, что он тебе в тягость.

— Разумеется, тетушка, что это очень легко сделать; но я повторяю вам, что я не могу взять на мою совесть такую гнусную иеблагодарность. Воля ваша, не могу, никак не могу...

— Послушай же!—отвечала маркиза после некоторого молчания,—ты знаешь все, чем ты обязан твоему брату...

— Тетушка!

— Не перерывай меня. Ты знаешь, что по смерти твоего отца он мог воспользоваться всем твоим имением; он не сделал этого, он взял тебя по третьему году на свои руки, воспитал тебя, привел все запущенные дела в порядок; когда ты взрос, записал тебя в службу, честно поделился с тобою имением; словом, ты ему обязан всем, чем ты дышишь...

— Тетушка, что вы хотите сказать?

— Слушай. Ты уже не ребенок и малый не глупый, но вынуждаешь меня сказать тебе то, чего бы я не хотела.

— Что такое, тетушка?

— Послушай! Дай мне прежде слово не делать никаких глупостей, а поступить, как следует благоразумному человеку.

— Бога ради, договорите, тетушка!

— Я в тебе уверена и потому спрашиваю тебя, не заметил ли ты чего-нибудь между баронессою и твоим Границким?

— Баронессою! Что это значит?..

— Твой Границкий с ней в интриге...

— Границкий?.. Быть не может!

— Я тебя не стану обманывать. Это верно: твой брат обесчещен, его седые волосы поруганы.

— Но надобны доказательства...

— Какие тебе доказательства? Ко мне уж об этом пишут из Лифляндии. Все жалеют о твоем брате и удивляются, как ты можешь помогать его обманывать.

— Я? его обманывать? Это клевета, тетушка, сущая клевета. Кто осмелился к вам написать это?

— Этого я тебе не скажу; но оставляю тебе только рассудить, можно ли Границкому оставаться у тебя в доме. Твой долг тебя обязывает, пока эта связь не сделалась еще слишком гласною, стараться учтивым образом заставить его выехать из твоего дома, а если можно, и из России. Ты понимаешь, что это должно сделать без шума; найти какой-нибудь предлог...

— Будьте уверены, что все будет исполнено, тетушка. Благодарю вас за известие. Мой брат стар, слаб; это мое дело, мой долг... Прощайте...

— Постой, постой! не горячись! Тут не надобно никакой горячности, а хладнокровие: ты мне обещаешь, что ты не сделаешь никакой глупости, а поступишь, как следует благоразумному человеку, не мальчику?

— О, будьте спокойны, тетушка! Я все улажу как нельзя лучше. Прощайте.

— Не забудь, что тебе надобно поступить в этом случае очень осторожно!—кричала ему вслед маркиза.— Говори с Границким тихо, не горячись. Заведи речь стороною, обиняками... Понимаешь?

— Будьте спокойны, будьте спокойны, тетушка!— отвечал барон, убегая.

Кровь била ключом в голове молодого человека.

V

БУДУЩЕЕ

> ...l'avenir n'est à personne, Sire, l'avenir est à Dieu.
>
> *Victor Hugo*[1]

Во время этой сцены происходила другая.

Во внутренности огромного дома, позади блестящего магазина, находилась небольшая комната с одним окош-

---

[1] ...будущее никому не принадлежит, Ваше величество, будущее в руках божьих. *Виктор Гюго (фр.).*

ком на двор, завешенным сторою. По виду комнаты трудно было отгадать, кому она принадлежала: простые штукатурные стены, низкий потолок, несколько старых стульев и огромное зеркало, в алькове богатый диван со всеми затеями роскоши, низкие кресла с выгнутою спинкою,—все это как-то спорило между собою. Одна дверь комнаты, через глухой коридор, соединяла ее с магазином; другая выходила на противоположную улицу.

По комнате ходил скорыми шагами молодой человек и часто останавливался, то посередине, то у дверей, и тщательно прислушивался. То был Границкий.

Вдруг послышался шорох, дверь отворилась, и прекрасная женщина, прекрасно одетая, бросилась в его объятия. То была графиня Лидия Рифейская.

— Знаешь ли, Габриель,—сказала она ему поспешно,—что здесь мы с тобою видимся в последний раз?

— В последний раз?—вскричал молодой человек,—но постой! что с тобою? ты так бледна?

— Ничего! Я немножко озябла. Спеша к тебе, я забыла надеть ботинки. Коридор такой холодный... Это ничего!

— Как ты неосторожна! Здоровьем пренебрегать не надо...

Молодой человек подвинул кресла к камину, посадил на них прекрасную женщину, разул ее и старался согреть прелестные ножки своим дыханием.

— О, перестань, Габриель! Минуты дороги; я насилу могла вырваться из дома; я пришла к тебе с важною новостью. У моего мужа второй удар и,—страшно выговорить,—доктора мне сказали, что мужу не пережить его: у него отнялся язык, лицо перекосилось, он страшен! бедный, не может выговорить ни слова!.. Едва поднимает руку! Ты не можешь поверить, как он мне жалок.

И графиня закрыла лицо свое рукою. Между тем Габриель целовал ее холодные, как будто из белого мрамора выточенные ножки и прижимал их к горячим щекам своим.

— Лидия,—говорил он,—Лидия! ты будешь свободна...

— Ах, говори мне это чаще, Габриель! Это одна мысль, которая на минуту заставляет меня забывать мое положение; но в этой мысли есть что-то страшное. Чтобы быть счастливою в твоих объятиях, мне надобно перешагнуть через гроб!.. Для моего счастия нужна смерть человека!.. Я должна желать этой смерти!.. Это ужасно, ужасно! Это переворачивает сердце, это противно природе.

— Но, Лидия, если кто-нибудь виноват в этом, то,

верно, не ты. Ты невинна, как ангел. Ты жертва приличий; тебя выдали замуж поневоле. Вспомни, сколько ты сопротивлялась воле твоих родителей, вспомни все твои страдания, все наши страдания...

— Ах, Габриель, я все это знаю: и когда я подумаю о прошедшем, тогда совесть моя покойна. Бог видел, чего я не перенесла в моей жизни! Но когда я взгляну на моего мужа, на его скосившееся лицо, на его дрожащую руку; когда он манит меня к себе, меня, в которой он в продолжение шести лет производил одно чувство — отвращение; когда я вспомню, что его всегда обманывала, что его теперь обманываю, тогда забываю, какая цепь страданий, нравственных и физических, довела меня до этого обмана. Я изнываю между этими двумя мыслями,— и одна не уничтожает другой!

Границкий молчал: тщетно бы стал он утешать Лидию в эту минуту.

— Не сердись на меня, Габриель!—сказала она наконец, обнимая его голову.—Ты понимаешь меня; ты с детства привык понимать меня. Я одному тебе могу поверять мои страдания...

И она пламенно прижала его к груди своей.

— Но полно! Время бежит; я не могу здесь более оставаться... Вот тебе мой последний поцелуй! Теперь слушай: я верю, мы будем счастливы; я верю, то, что у нас отняло самовластие общества, возвратит нам провидение; но до того дня я вся принадлежу моему мужу. С сей поры я ежеминутною заботою, долгими ночами без сна у его постели, страданием не видать тебя должна выкупить нашу любовь и вымолить у бога наше счастие. Не старайся меня видеть, не пиши ко мне; позволь мне забыть тебя. Я тогда стану спокойнее, и совесть меньше меня будет мучить. Мне легче будет вообразить себя совершенно чистою, невинною... Прощай!.. Еще два слова: не переменяй ничего в твоем образе жизни, продолжай выезжать, танцевать, волочиться, как будто для тебя не приготовляется никакой перемены... Заезжай сегодня же наведаться о моем муже, но я тебя не приму: ты не родня. И сегодня же поезжай и везде равнодушно рассказывай об его болезни. Прощай!

— Постой! Лидия! Еще один поцелуй!.. Сколько долгих дней пройдет...

— О, не напоминай мне больше об этом!.. Прощай. Будь терпеливее меня. Помни: будет время, и я не буду говорить тебе: «идут—отойди, Габриель!..» О, ужасно! ужасно!

Они расстались.

VI

ЭТО МОЖНО БЫЛО ПРЕДВИДЕТЬ

> — Vous allez me rabacher je ne sais quels lieux communs de morale, que tous ont dans la bouche, qu'on fait sonner bien, haut, pourvu que personne ne soit obligé de les pratiquer.
> — Mais s'ils se jettent dans le crime?
> — C'est de leur condition.
>
> *Le neveu de Rameau*[1]

В сильном волнении молодой барон Дауерталь возвратился домой.

— Дома ли Границкий? — спросил он.

— Никак нет.

— Сказать мне, как скоро он приедет.

Тут он вспомнил, что Границкий должен был вечером ехать к Б***.

Минуты этого ожидания были ужасны для молодого человека: он чувствовал, что в первый раз в жизни он призван на важное дело; что тут нельзя было отвертеться ни эпиграммою, ни равнодушием, ни улыбкою; что здесь надобно было сильно чувствовать, сильно думать, сосредоточить все силы души; что, одним словом, надобно было действовать, и действовать самому, не требуя советов, не ожидая подпоры. Но такое напряжение было ему незнакомо; он не мог себе отдать отчета в своих мыслях. Лишь кровь его разгоралась, лишь сердце в нем билось чаще. Ему представлялись, как будто во сне, городские толки; его брат в сединах, оскорбленный и слабый; желание показать свою любовь и благодарность к старику; товарищи, эполеты, сабля, ребяческая досада; охота показать, что он уже не ребенок; мысль, что смертоубийством заглаживается всякое преступление. Все эти грезы сменялись одна другою, но все было темно, неопределенно: он не умел спросить у того судилища, которое не зависит от временных предрассудков и мнений, произносит всегда точно и верно: воспитание забыло ему сказать об этом судилище, а жизнь не научила спрашивать. Язык судилища был неизвестен барону.

Наконец пробил час. Молодой человек бросился в карету, поскакал, нашел Границкого, взял его за руку, вывел из толпы в отдаленную комнату, и... не знал, что

---

[1] — Вы станете мне твердить бог знает какие общие морали, которые у всех на устах и провозглашаются всеми очень громко, только бы никто не обязан был бы их исполнять.
— Но если они дойдут до преступления?
— Это их дело.
Племянник Рамо (фр.)

сказать ему; наконец вспомнил слова тетушки и, стараясь принять вид хладнокровный, проговорил:

— Ты едешь в Италию!

— Нет еще,— отвечал Границкий, приняв эти слова за вопрос и смотря на него с удивлением.

— Ты должен ехать в Италию! Ты меня понимаешь?

— Нисколько!

— Я хочу, чтоб ты ехал в Италию! — сказал барон, возвысив голос.— Теперь понимаешь?

— Скажи мне, сделай милость: что, ты с ума сошел, что ли?

— Есть люди, которых я не назову, для которых всякое благородство — сумасшествие...

— Барон, ты не знаешь, что говоришь! Твои слова пахнут порохом.

— Я привык к этому запаху.

— На маневрах?

— Это мы увидим.

Глаза барона заблистали: дело шло уже о личной обиде.

Они взяли слово с людей, вошедших в комнату к концу разговора, сохранить его в тайне, воротились снова в залу, сделали несколько вальсовых кругов и исчезли.

Чрез несколько часов уже секунданты отмеривали шаги и заряжали пистолеты.

Границкий подошел к барону.

— Прежде нежели мы отправим друг друга на тот свет, мне очень любопытно узнать, за что мы стреляемся.

Барон отвел своего соперника в сторону от секундантов.

— Вам это должно быть понятнее меня...— сказал он.

— Нисколько.

— Если я вам назову одну женщину...

— Женщину!.. Но какую?

— Это уж слишком! Жена моего брата, моего старого, больного брата, моего благодетеля... Понимаете?

— Теперь уж совершенно ничего не понимаю!

— Это странно! Весь город говорит, что вы обесчестили моего брата; все смеются над ним...

— Барон! вас бессовестно обманули. Прошу вас назвать мне обманщика.

— Это мне сказала женщина.

— Барон! вы поступили очень опрометчиво. Если б вы прежде спросили меня, я бы вам рассказал мое положение; но теперь поздно, мы должны драться. Но я не хочу умереть, оставив вас в обмане: вот вам моя рука, что я и не думал о баронессе.

Молодой барон был в сильном смущении в продолжение разговора: он любил Границкого, знал его благородство. верил, что он его не обманывает, и проклинал самого себя, тетушку, целый свет.

Один из секундантов, старинный дуэлист и очень строгий в делах этого рода, сказал:

— И, и, господа! У вас, кажется, дело на лад идет? Тем лучше: миритесь, миритесь; право, лучше...

Эти слова были сказаны очень просто, но барону они показались насмешкою,—или в самом деле в тоне голоса секунданта было что-то насмешливое. Кровь вспыхнула в молодом человеке.

— О нет!—вскричал он, почти сам не зная, что говорит.— Нет, мы и не думаем мириться. У нас есть важное объяснение...

Последнее слово снова напомнило молодому человеку его преступную неосторожность: вне себя, волнуемый необъяснимыми чувствами, он вторично отвел своего соперника в сторону.

— Границкий!—сказал он ему,—я поступил как ребенок. Что нам делать?

— Не знаю,—отвечал Границкий.

— Рассказать секундантам нашу странную ошибку?..

— Это будет значить распространить слухи о жене твоего брата.

— Ты смеялся над моею храбростию; секунданты знают это.

— Ты мне говорил таким тоном...

— Это не может так остаться!

— Это не может так остаться!

— Скажут, что на нашем дуэле пролилась не кровь, а шампанское...

— Постараемся оцарапать друг друга.

Они стали к барьеру. Раз, два, три!—пуля Границкого оцарапала руку барона; Границкий упал мертвый.

VII
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

> Существуют охотники защищать всех и всё: они ни в чем не хотят видеть дурного. Эти люди очень вредны...
>
> *Светское суждение*

Всякий читатель, вероятно, уже догадывается, что вышло из всей этой истории.

Пока о дуэли знали одни мужчины, то приписывали его просто насмешке Границкого над храбростью молодо-

го барона; толки были различны. Но когда узнали об этом происшествии нравственные дамы, описанные нами выше, тогда прекратились все недоразумения: истинная причина была тотчас отыскана, исследована, обработана, дополнена примечаниями и распространена всеми возможными способами.

Бедная баронесса не устояла против этого жестокого преследования: ее честь, единственное чувство, которое было в ней живо и свято,— ее честь, которой она приносила в жертву все мысли ума, все движения юного сердца,— ее честь была поругана без вины и без возврата. Баронесса слегла в постель.

Молодой барон и двое секундантов были сосланы,— далеко от всех наслаждений светской жизни, которая одна могла быть для них счастием.

Графиня Рифейская осталась вдовою.

Есть поступки, которые преследуются обществом: погибают виновные, погибают невинные. Есть люди, которые полными руками сеют бедствие, в душах высоких и нежных возбуждают отвращение к человечеству, словом, торжественно подпиливают основания общества, и общество согревает их в груди своей, как бессмысленное солнце, которое равнодушно всходит и над криками битвы, и над молитвою мудрого.

Для княжны Мими была составлена партия,— она уже отказалась от танцев. Молодой человек подошел к зеленому столу.

— Сегодня поутру наконец кончились страдания баронессы Дауерталь!— сказал он.— Здешние дамы могут похвалиться, что они очень искусно ее убили до смерти.

— Какая дерзость!— шепнул кто-то другому.

— Ничего не бывало!— возразила княжна Мими, закрывая взятку,— убивают не люди, а беззаконные страсти.

— О, без сомнения!— заметили многие.

КНЯЖНА ЗИЗИ

(Посв. Е. А. Сухозанет)

Иногда в домашнем кругу нужно больше героизма, нежели на самом блистательном попрнще жнзни. Домашний круг — для женщины поле чести и святых подвигов. Зачем немногие это понимают?.

Слова женщины

— Откуда ты?
— С биржи.
— Ну, что?
— Каждый день выше!
— Тем лучше.
— Как тем лучше? Я от этого теряю двадцать тысяч пятьсот рублей.
— Теряешь?
— О, да что с тобой толковать! ты не поймешь меня...
— Однако ж...
— Видишь ли ты: у меня теперь свободных денег сто двадцать тысяч пятьсот рублей: на сто тысяч я покупаю землю к моей тульской деревне, на двадцать тысяч пятьсот я хотел купить акций новой страховой компании, но они теперь поднялись в такую цену, которой не сто́ят, и мои двадцать тысяч пятьсот рублей я должен держать у себя почти без всякой пользы.
— Это ты называешь потерять двадцать тысяч?..
— О, я уже сказал, что ты ничего не понимаешь!

С сими словами мой приятель, принадлежавший к новой породе фешенеблей-индустриялистов, бросился в

кресла, погрузился в задумчивость и с досадою крутил усы свои.

— У тебя сегодня сплин? — спросил я его.

— Да, сплин, и ужасный... Чему ж ты смеешься?

— Я не смеюсь, а наблюдаю, каким образом байронизм соединяется с биржею. Если и на наше поколение повеял этот мрачно-промышленный дух, что же будет с новым?..

— Новое будет умнее нас: оно не потеряет столько времени и особенно столько денег на мечты, на звонкие слова и на филантропические бредни; оно будет заниматься солидным, положительным...

— Скажи мне, ведь ты, кажется, в старину писал элегии?..

— Как же! И про них толковали в журналах, что они *обличают во мне решительное направление к элегическому роду...*

— В самом деле, ты и теперь смотришь элегическим поэтом... И ты, разумеется, бывал и влюблен?..

— Я и теперь от этого не отказываюсь.

— Я это знаю, и это доказывает твоя коллекция писем в нескольких томах. Только берегись, я когда-нибудь ее украду, хоть для того только, чтобы посмотреть, чем ты мог нравиться женщинам и как уживаются все эти разноязычные соперницы, сдавленные одним и тем же переплетом? Нет, без шуток — давно мне хотелось спросить тебя: бывал ли ты влюблен в самом деле, влюблен хоть один раз в жизни, но так, как понимают те люди, которые занимаются сочинением романов, сказок и прочего тому подобного?

Мой промышленник встал.

— Некогда мне теперь об этом толковать, — сказал он, — прощай; мне надобно наведаться у одного человека, который обещал мне достать акций подешевле.

— Погоди! Кого ты теперь застанешь? Уж пять часов; обедай у меня — и отведаем вместе новое вино, которое мне предлагают купить. Ты между тем мне расскажешь...

— А! понимаю, зачем тебе хочется остановить меня: у тебя требуют повести — et le baron s'embarrasse;[1] в портфеле и голове пусто; ты думаешь, не наткнешься ли на какую-нибудь мысль в моем болтанье.

— Может быть; тебе что за дело? Это моя биржевая спекуляция.

— Хорошо, я тебя потешу, буду сантиментальничать;

---

[1] И барон смущается *(фр.)*

но только вели давать обедать скорее. Повторяю тебе, мне некогда.

После нескольких рюмок вина мой приятель в самом деле сделался гораздо нежнее. Вино — великое дело: это единственная поэтическая сторона нашего века. Если оно вредно в физическом отношении, как утверждают гомеопаты, то необходимо в нравственном. Оно сдергивает с человека хоть на несколько минут его промышленную, расчетливую оболочку, естественное состояние выводит наружу и часто помогает вам открывать под холодным, насмешливым человеком — другого, у которого есть и душа и сердце или нечто похожее на то и другое. Отнимите у нас вино — мы будем хуже китайцев и американцев.

— Да, я был влюблен,— сказал наконец мой рассказчик,— т. е. влюблен по-вашему, так влюблен, что и до сих пор не могу отвыкнуть от негодной привычки вздыхать, вспоминая о моей красавице... Красавице!.. Но постой, не хочу тебе сказывать конца прежде начала. Я сам, признаюсь, люблю начинать роман с четвертого тома, но по опыту знаю, что это не приносит ни пользы, ни удовольствия; к тому же надобно для тебя и исторические свидетельства: пошли своего человека принести от меня зеленый портфель, который лежит возле бритвенного столика.

В 18... я возвратился в Москву из чужих краев. Десять лет я не видал моей родины, и потому для меня все было ново — и улицы, и домы, и люди. В гостиной моего опекуна собирались каждый вечер гости; занятия были обыкновенные: пили чай, играли в вист и рассказывали городские новости; многие из этих рассказов возбуждали во всех живейшее участие, но для меня, разумеется, долго были тарабарскою грамотою: я не понимал ни условных названий, ни семейных намеков, ни занимательности имен, которые доходили до моего слуха,— словом, ничего, чем живет домашний разговор. Ты знаешь, я не принадлежу к тем людям, которые из чужих краев привозят полное равнодушие ко всему отечественному и которым так же непонятна своя родина, как непонятны им были и чужие краи; я не хотел быть совершенно чуждым в моем семействе, старался прислушиваться к ежедневным рассказам и почти заучивал имена. Одно из них, не знаю отчего, более привлекло мое внимание; это имя было *княжна Зизи*. Оно напомнило мне неподражаемого Грибоедова, заставило подумать, как бесполезны ваши, гг. сочинители, насмешки над странным обычаем коверкать имена; или в этом имени было что-то особенное, но я

невольно придвигал к кружку мои кресла, когда произносили это имя.

Вот тебе разговор о ней:

— Княжна Зизи выходит замуж,— сказала одна из моих кузин.

— За кого?

— За какого-то деревенского помещика.

— Очень бы хорошо сделала,— заметила тетушка.

— А жаль! преумная девушка,— заметил кто-то.

— Большая чудиха,— заметила одна дама.

— Настоящая христианка.

— Большая ханжа, притворщица.

— Премилая...

— Прегордая...

— Она все ждет, что на ней женится какой-нибудь кронпринц,— проговорила пожилая дама, невольно взглянув на своего сына, пожилого архивного юношу, приготовлявшегося в дипломаты.

— И, помилуйте!— отвечала другая с видимым злобным умыслом,— кто на ней и захочет жениться? разве какой-нибудь сумасшедший: у нее ничего нет...

— Извините, она очень богата.

— Все, батюшка, буки — и пропасть долгов.

— Я вас могу уверить,— сказал с значительным видом чиновник, занимавшийся дядюшкиными делами, своему партнеру,— что княжна никогда не выйдет замуж.

— Почему же?

— На это есть важные причины,— отвечал чиновник, понизив голос.

— Скажите мне, сделайте милость,— наконец обратился я к тетушке,— что это за княжна Зизи?

— Она в родне с Городковыми. Ты, я думаю, его помнишь: один Городков хаживал к твоему отцу.

— Помню,— высокого роста, худощавый и с большими поклонами.

— Княжна в самом деле имеет большие странности в характере: например, не успела умереть ее мать, как она, не ожидая года, бросилась ездить повсюду — по театрам, по балам, то жила с сестрою душа в душу, то вдруг рассорилась с нею и хотела ее оставить; потом опять осталась у ней в доме, согласилась было выйти замуж за одного очень порядочного человека, потом вдруг ни с того ни с сего ему отказала: потом завела пренегодный процесс с своим зятем; то хотела идти в монастырь, то вдруг опять явилась в свете,— вообще в ней очень много странного. Прошлою зимою она приезжала сюда и никому визитов не сделала — даже у меня не была... В ней,

говорю тебе, много странностей. Она большая кокетка — однако ж имела хорошие партии и ни за кого не вышла замуж... В ней много, много странного...

Слова тетушки не удовлетворяли моему любопытству; из них узнал я только то, что тетушка сердита на княжну Зизи, потому что княжна не была у ней с визитом. Я старался составить себе какое-нибудь понятие об этой девушке, которая успела возбудить о себе столько разноречащих мнений. То она мне представлялась просто московскою зрелою девою, вскормленною романами мадам Жанлис и со всеми причудами монастырки; то находил я, что, может быть, ее называли странною по той причине, по которой всякого человека, непохожего на других, называют чудаком. В этих размышлениях я присел к столику, где Марья Ивановна, небогатая вдова, жившая у тетушки, как говорят, «для компании», по обыкновению разливала чай. Она, как все «дамы для компании», была большая болтунья, мастерица варить варенье и страстная охотница до романов.

— Вы спрашивали тетушку о княжне Зизи,— сказала мне Марья Ивановна тихим голосом,— я не смела вмешаться в разговор, потому что все бы поднялись на меня; но никто лучше меня ее не знает. Я езжала в дом к старой княгине учиться танцевать; там мы познакомились с княжной Зинаидой, и до сих пор мы с ней в дружбе и в переписке. Придите завтра к нам перед обедом, и я вам расскажу подробно пространную жизнь этой несчастной девушки: ее совсем без вины опорочили в свете.

С сими словами мой рассказчик вынул из зеленого портфеля связку писем, вздохнул, покачал головою:

— Я храню эти письма как нечто святое,— сказал он, подавая мне одно из них.

— Нумер первый,— продолжал мой приятель. Это было письмо княжны Зизи к Марье Ивановне. Взглянув на него, я с удивлением увидел, что оно было написано по-русски довольно правильно,— а уже одно это, особенно в то время, было очень замечательно. Вот это письмо:

«Москва. 4 февр. 18..

Ты забыла меня, Маша, совсем забыла. Вот уж прошло два месяца после последнего твоего письма. Неужли ты в своей Казани нашла другую приятельницу, которая заставила тебя позабыть твою бедную Зизи? Напиши мне, что ты делаешь? Довольна ли ты своим местом? танцуешь ли ты? — Дядюшка прислал нам из Парижа прекрасные эшарпы — голубой с белыми полосками для Лидии и пунцовый для меня; но нам нет и случая

надеть их. К тому же маменька хочет, чтоб я носила голубой эшарп, а Лидия пунцовый. Когда я сказала, что черноволосым голубой цвет не к лицу, маменька по обыкновению рассердилась. Мы живем по-прежнему: маменька все больна, все скучает, всем недовольна, никуда сама не выезжает, и к нам никто не ездит. Мы бог знает как рады, когда приедет к нам старая Ракитина да хоть расскажет то, что́ она видела у обедни в своей приходской церкви; больше к нам никто не ездит. Поэтому ты видишь, что мы живем очень скучно. Поутру, пока маменька молится, мы сидим с Лидией на мезонине: она зевает за канвою, я за книгою, ибо я по-прежнему продолжаю красть книги из папенькиной библиотеки: это одна моя отрада. Хоть маменька и не дает нам ключа, говоря, что в этой библиотеке все мужские книги, но я прочла всего Карамзина, всю историю о странствиях аббата Лапорта, весь «Вестник Европы». Мне наконец удалось достать «Клариссу» из шкафа, помнишь, у которого была такая крепкая проволока,— хоть я оцарапала себе руку, зато наплакалась вдоволь; только последнего тома никак не могу достать: он упал за большой лексикон, и рука никак не доходит,— такая досада. Ракитина дала нам несколько разрозненных русских нумеров журналов,— где недостает конца, где начала; что за охота этим господам писать: *продолжение впредь;* терпеть не могу этого слова! Но зато я нашла там прекрасные стихи Жуковского и нового стихотворца Пушкина. Постарайся достать его стихов. Ах, никто так хорошо не пишет, как Жуковский и Пушкин! Так все у них идет к сердцу и невольно остается в памяти. Я все их стихи вписала в мою знакомую тебе тетрадку: теперь она очень потолстела. К обеду мы сходим вниз, до ночи мы сидим с маменькой и молчим. Что ни заговорим, она сердится, беспрестанно жалуется и на погоду, и на здоровье, и на людей. Мы уж с сестрою решились было молчать и считать трубы у окошка; но маменька опять сердится — говорит, что мы ее оставляем, чуждаемся, что мы неблагодарные, что, разумеется, со старухою скучно,— и знаешь все, что она обыкновенно прибирает. Бог видит мое сердце; об одном и прошу его, чтоб как-нибудь развеселить маменьку; но как это сделать — он же один и знает! Летом было еще сноснее: бывало, хоть мы езжали в Симонов монастырь, а теперь — хоть плакать. О выезде и не говори. Попросишь маменьку в карете выехать прогуляться — она вздохнет, охнет, да тем и кончится. Прощай, милая Маша. Пиши, бога ради, ко мне: по крайней мере будет хоть о чем слово сказать. Твоя верная *Зизи.*

P. S. Совсем было забыла тебе написать, да Лидия напомнила: вчера за обедней маменька устала, лакей был далеко; это заметил один молодой человек, тотчас бросился, отыскал стул, усадил маменьку; она его благодарила. Это какой-то господин Городков; мы его уже несколько раз видели в нашем приходе; кажется, сосед наш; он очень понравился маменьке, и она, ты не поверишь, кажется, даже звала его к себе. Да, дожидайся, поедет он в нашу пустыню!..»

— Нумер второй,— сказал мой приятель, подавая мне другое письмо.

«Москва. Февраля 15-го.

Благодарю тебя, Маша, за твое письмо, оно много меня порадовало. Если бы ты знала,— уж мы хохотали, хохотали, читая, как казанские кавалеры хлопают каблуками во французской кадрили; даже маменька улыбнулась. Вообще она теперь веселее. У нас был Владимир Лукьянович Городков — премилый человек. Как он умел занять маменьку! Она к нему с своими тяжбами, а он тотчас вошел в дело, успокоил мамеиьку и взял у нее целый пук бумаг, обещал хлопотать в судах... Добрый человек! Сам бог его послал. Может быть, маменька будет повеселее — дай-то бог! На радости маменька поехала с нами в *город*[1]. Ах, как там весело! Пропасть народа, экипажей, шум... А какие прелести в магазинах! Я видела совсем новую материю: ее называют satin turque;[2] ее делают двуличневою — прелесть! Маменька купила для Лидии серенькую с оранжевым отливом: это теперь в большой моде; посылаю тебе образчик. Мне маменька купила также клетчатую тафтичку; посоветуй, каким фасоном сделать; я хочу, чтобы лиф был разрезной, с эполетами на плечах, кушачок с мыском, а кругом обшить выпущенной фалбалой. Не правда ли, это будет прекрасно?..»

— Во всем этом письме,— сказал я моему приятелю,— дело идет о тряпках; что тут интересного? Да и, признаюсь тебе, до сих пор не вижу никаких необычайностей, о которых ты столько толковал; вижу, что мать старая дура, в хандре, которая мучит без толка своих дочерей, а

---

[1] Так называется гостиный двор в Москве. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

[2] Турецкий атлас *(фр.)*.

дочерям до смерти хочется наряжаться и выйти замуж: это мы каждый день видим...

— Нумер третий,— хладнокровно проговорил мой приятель.

«Москва. Апреля 3-го.

Ты не знаешь, что делается с нами, Маша. Представь себе, что я в самом деле в тюрьме,— да, в тюрьме: я не схожу с мезонина. Но постой, надобно все рассказать по порядку. Все это время Городков не переставал навещать нас; маменька от него без ума. Он устроил маменькины дела, успел уверить ее, что они совсем не так худы, как она думает, хотя и требуют внимания... Право, этот человек лучше родного. Мы так привыкли к нему, что когда он у нас день не побывает, то мы уже думаем, не болен ли он,— и маменька посылает наведываться о его здоровье. Словом... Но слушай; с некоторого времени, как скоро придет Владимир Лукьянович, маменька начнет говорить, что ей кажется, будто я не по себе, или сыщет какое-нибудь дело, какой-нибудь предлог, чтоб отправить меня на мезонин. Я долго не понимала, но теперь догадалась: маменька воображает, что Владимир Лукьянович делает нам глазки, и ей хочется, чтоб Лидия, как старшая, прежде меня вышла замуж; теперь она уже просто запретила мне сходить с мезонина, а Владимира Лукьяновича уверяет, что я все нездорова. Но, я думаю, все это пустое. Правда, он очень любезен с нами, но с нами обеими. Лидии он приносит узоры для канвы, мне — книги; с каждою говорит не больше, как с другою, и, верно, он не помышляет о планах маменьки. Чем-то все это кончится! А между тем мне очень скучно сидеть на мезонине, особливо когда внизу Владимир Лукьянович: он такой веселый, такой смешливый,— всегда умеет занять; он, кажется, и литератор, но этого еще я не могла узнать хорошенько, хотя мне и очень хотелось поговорить с ним о литературе, о Жуковском, о Пушкине, но боюсь, чтоб он не счел меня педанткою,— да теперь нет и надежды. Я с досады ничего не могу читать: только и дела, что вешаюсь на лестнице да прислушиваюсь, чтó говорят внизу. И смех и горе! Хоть бы как-нибудь да поскорее все это кончилось. Мне бы очень хотелось, чтоб он женился на Лидии: тогда мы, верно, будем жить веселее: я буду с нею выезжать и на танцы и на гулянье, потому что она уж будет *дама*. Непременно попрошу ее, чтобы она меня свозила в книжную лавку: я еще никогда не бывала в книжной лавке. Владимир Лукьянович, верно, знаком с сочинителями, и я увижу какого-нибудь сочинителя,

может быть, Жуковского — какой это должен быть человек!.. А между тем я все сижу на мезонине! прощай, милая Маша. Пиши к твоей бедной затворнице

Зизи».

— Нумер четвертый.

«Маша! участь моя решилась: я... влюблена. Маша, я влюблена до безумия! Я хотела скрыть это и от тебя и от себя самой, но я не могу далее сохранить в душе моей этой тайны... Я полюбила его с первой минуты нашего свидания, я не могу жить без него... Если б ты видела его — ты бы поняла меня. Он соединение всех совершенств: прекрасен собою, глаза его — огонь, а его сердце, его доброе, прекрасное сердце, его кроткий, тихий разговор, его милое обращение... Я без ума, Маша; я стыжусь себя самой, я готова бежать за ним на край света,— и я не могу его видеть. Целый день я как пришита к окошку на моем проклятом мезонине, чтоб услышать стук его дрожек: я их узнаю между тысячи; услышу — и кровь у меня стынет в жилах, сердце бьется, я вся дрожу, я вся в огне, в глазах темно и голова кругом — нет сил больше. Когда он уедет, я сбегáю вниз, ищу стула, на котором он сидел, стола, к которому он подходил, двери, в которую он вышел; я готова расцеловать их,— а тут мученье; Лидия, холодная Лидия, рассказывает, чтó он говорил, шутит, смеется над ним, а я... я ревную, я готова растерзать Лидию... Ах, что делает со мною маменька? Зачем сначала позволила она мне видеть его? Зачем теперь запрещает?.. Он не равнодушен ко мне: он всякий раз спрашивает обо мне, спрашивает, чтó сказал доктор. *Его* безжалостно обманывают... Что, если моя мнимая болезнь огорчает его?.. А я должна молчать, скрывать все, что у меня нà сердце, и перед сестрою и перед маменькою!.. Иногда я готова все рассказать ей; но когда посмотрю на ее суровый вид — язык прилипнет; а она еще сердится или говорит, что и слышать не хочет о моей хандре... Но по крайней мере до сих пор ей ничего не удается; он до сих пор еще не объяснился; я жду этого, как приговора к смерти... Ах, хоть ты пожалей о твоей

Зизи!»

— Нумер пятый.

«Плачь, Маша, и молись за меня! Мне нужна твоя молитва: сама я молиться не могу — ты понимаешь, что все кончено... Он объяснился, он помолвлен... с Лидиею. Это было вчера; я в это время лежала без памяти в постели, и маменька в самом деле послала за доктором.

Что может доктор? Все для меня кончилось! Мир мой — гроб, надежда — смерть. Ах, Лидия, счастливая Лидия!.. И что нашел он в ней? Она как ни в чем не бывало! Ей ли сделать его счастливым? Она холодна как лед; ей выйти замуж — как выпить стакан воды; она по-прежнему так же долго спит, так же шьет по канве, так же кушает за обедом и удивляется, отчего я брожу целую ночь как шальная, отчего мне кусок в горло нейдет, отчего я все книги раскидала по полу. Я часто не хочу верить, что все это не тяжелый сон. Часто мне кажется — вот пройдет, вот исчезнет: я силюсь проснуться — тщетная мечта! Лидия приходит ко мне показать свое подвенечное платье; она просит меня, чтоб я помогла ей наложить оборку; она смеется, хохочет, она не понимает своего счастия... Ей ли быть женою этого ангела?.. Неблагодарный, неверный, коварный, он не знает, чего он во мне лишился. Я бы утешала его каждую минуту жизни, я бы не спала над ним ночью, я бы ухаживала за ним целый день, я бы смешила его, когда ему скучно, я бы лелеяла его, как ребенка... Но я не могу писать долее; слезы падают на бумагу, пальцы дрожат, вся комната кругом меня вертится. Молись, молись обо мне, Маша!..»

— Письма княжны Зинаиды, говорила мне Марья Ивановна, занимали и пугали ее. Она знала пламенное воображение княжны, знала, что, привыкшая к суровому обращению своей матери, к ее совершенному отсутствию всякой любезности, Зинаида должна была видеть в каждом ласковом слове несомненный признак высокого сердца; знала, что, живя век в четырех стенах, она должна была влюбиться в первого мужчину, который ей на глаза попадется: но, может быть, этот человек был недостоин ее доверенности, может быть, он хотел воспользоваться ее неопытностию... Все это представлялось Марье Ивановне в виде ужасном. «Обстоятельства заставили меня,— говорила она,— с ранних лет больше вникать в людей, строже ценить их; словом, я была старее Зизи не только летами, но и жизнию».

Но что оставалось ей делать? Писать, утешать свою приятельницу — дело невозможное. Те, у которых Марья Ивановна жила в доме, собирались ехать в Москву; она упросила их взять ее с собой.

Приехав сюда, она узнала разом две новости: свадьбу княжны Лидии и смерть ее матери. Марья Ивановна нашла княжну Зинаиду в доме ее сестры. Последний удар, казалось, уменьшил действие первого. Правда, княжна очень похудела, но все еще была прекрасна; очень

грустна, но спокойнее, нежели ожидала Марья Ивановна. Зинаида мало говорила о Лидии, об ее муже, но подробно рассказывала о последних днях своей матери: как она прощалась с детьми, как просила у них прощения, как просила поминать ее, как она заклинала Зинаиду никогда не оставлять сестры своей. «Ты знаешь,— говорила старуха, оставшись одна с Зинаидою,— что хотя ты и младшая, но я на тебя больше надеюсь; ты знаешь, у Лидии нет царя в голове; я вижу теперь: она не сумеет ни с мужем ужиться, ни детей воспитать, ни с имением управиться; хоть я и рада, что выдала ее замуж, но крепко боюсь за нее. Если б бог продлил мою жизнь, я бы поддержала ее, остановила, наставила; но, верно, богу так не угодно — да будет его святая воля! Тебе поручаю мое дело, Зинаида: смотри за ней, как за ребенком, не давай ей тратить много денег, отводи ее от ссоры с мужем,— она взбалмошна, ты знаешь; люби ее детей, люби ее, люби...» Зинаида не могла выговорить, кого. Но повторяю, она была спокойна: она понимала великость своей жертвы, и невольно в ее сердце вкрадывалось чувство самодовольствия. Жизнь для нее была не без цели.

Марья Ивановна познакомилась и с Городковым. Глядя на него, она поняла, что не всякая женщина могла быть к нему равнодушною. Он был прекрасный молодой человек, одевался чисто и щегольски, был веселого, даже шутливого нрава, обращался с Лидиею без излишней ласки, но с большою любезностью, с Зинаидой же — со всеми возможными знаками уважения. Марья Ивановна обедала с ними вместе в комнатах Зинаиды, которая еще была не совсем здорова: ей была отведена особая половина. Владимир Лукьянович во все время стола был очень мил и говорлив, читал несколько шарад, которые намеревался послать в «Вестник Европы», которые, как заметила Марья Ивановна, были написаны в стихах и очень замысловаты. Потом рассказывал о своем знакомстве с разными сочинителями и другими известными лицами; все его анекдоты были очень любопытны, так что, как признавалась Марья Ивановна, она и не заметила, как прошло время, и сама Зинаида несколько раз принуждена была улыбнуться. После обеда он распрощался с ними, сказав, что должен ехать хлопотать по делам, которые после старой княгини остались в большом расстройстве. Вот какое впечатление произвел Городков даже на рассудительную Марью Ивановну. Вскоре затем она снова должна была ехать в Казань с своими домашними. Прошло около года; в течение этого времени она получила от Зинаиды несколько писем, которые, впрочем, ничего

не содержали для нее нового. Но вот одно из них более замечательное:

«Спешу тебя уведомить, любезная Маша, что бог даровал Лидии дочь: вчера, около полудня, она разрешилась от бремени очень благополучно; дочь назвали Прасковьею, в честь матушки. Итак, наше семейство прибавилось еще одним лицом.— Что сказать тебе обо мне? Горячка прошла: я не провожу ночей напролет в слезах, но тебе могу признаться, что часто на сердце у меня бывает так тяжело, что и описать нельзя. Если бы я была за тысячу верст от Москвы, то, может быть, я бы обо всем позабыла; но иметь беспрестанно перед глазами счастье, которое никогда не будет принадлежать мне,— это ужасно; скрывать от всех, от сестры, от себя самой, от *него* мое чувство — нестерпимо; одно мое утешение — молитва. Тогда я вспоминаю слова матушки, данное мною обещание, и становлюсь спокойною. Теперь я только начинаю понимать всю истину ее слов,— с тобой могу говорить откровенно: без меня Лидия погибла бы. Я никогда не могла вообразить в ней такой неспособности быть хозяйкою; она не знает цены ничему, даст приказание, потом забудет и прикажет совсем противное; слуги не знают, что делать; теперь они привыкли спрашиваться меня, а я, пользуясь забывчивостью Лидии, без спроса отменяю ее приказания; ей и нужды до того нет — даже это ей так понравилось, что она теперь уж вовсе не вмешивается ни во что, спит половину дня, а другую ездит по магазинам; и там я ее должна удерживать, ибо она, как ребенок, готова купить все, что ей на глаза ни попадется. Часто я таким образом предупреждаю домашние вспышки, которые были бы неизбежны, ибо *он* большой хозяин и любит во всем порядок; часто в долгие зимние вечера мы разговариваем с ним о домашних наших делах; он отдает мне отчет в управлении общего нашего имения; я рассказываю ему о моих хозяйственных распоряжениях, а Лидия дремлет,— ей ни до чего нет дела,— и тогда мне кажется, что я настоящая хозяйка в доме, что я — боюсь вымолвить — жена его... Но бьют часы, он остается с Лидией, а я с сжатым сердцем бреду в мою уединенную келью и бросаюсь в холодную постелю... Но прочь эти мысли, я не буду роптать на провидение: оно создало меня на томительное, ежедневное, медленное страдание; но оно дало мне и утешение: оно дало мне способ содействовать счастию благородного, честного человека — способ сохранять спокойствие его прекрасной души, хотя он и не подозревает этого; я смотрю на себя как на жертву,

принесенную его счастию, на жертву чистую. бескорыстную — и эта мысль возвышает мою душу. Я почти счастлива, мои грезы вполовину исполнились. С каждым днем я стараюсь сделаться достойною моего долга. Поверишь ли, что как скоро Лидия сделалась беременна, я принялась читать книги о воспитании; эти книги, может быть, в другое время показались бы мне скучными, но нечувствительно расширили круг моих мыслей: многое я вижу яснее, и многие новые чувства родились в душе моей: иногда в забвении мне кажется, что на меня возложено звание матери, что я могу ему сказать: «*наш* ребенок». О, тогда мое сердце бьется сильно, кровь поднимается в голову, и странные вещи проходят чрез мои мысли, такие мысли, что я пугаюсь себя самой, вскакиваю и бросаюсь на колени перед иконою. Вчера, когда я слезно молилась, раздался первый крик младенца Лидии... *его* младенца. Что со мною сделалось в эту минуту — рассказать нет сил; это было — и невыразимая скорбь, и невыразимая радость, и ад и рай; я и плакала и смеялась, я молилась и проклинала; я чувствовала трепетание в каждом нерве, в ушах звенело, дух захватывало, я была готова броситься к младенцу, расцеловать и — растерзать его... Такое состояние не могло быть продолжительно; я упала без чувств; когда очнулась. все порочное во мне затихло, передо мной носился образ матушки; я видела перед собой только его ребенка и долг мой. А Лидия, Лидия... она еще слаба, но уж горюет только о том, что ей нельзя будет выезжать в продолжение нескольких недель. Как она счастлива, или, лучше сказать, как она несчастлива!..»

Чрез несколько времени после этого письма из Казани отправился в Москву на службу молодой человек. родственник домашним Марьи Ивановны; он был человек не без состояния, молод, недурен собою, стихотворец и с совершенно романическим характером; он попросил у Марьи Ивановны писем в Москву к ее знакомым, и тогда, при взгляде на него, какая-то неясная мысль пробежала в голове Зинаидиной приятельницы: она дала ему записочку к княжне с поручением вручить ей лично, только не влюбиться. «Почему знать,— думала Марья Ивановна,— ей этот молодой человек может понравиться: она молода, чувства ее живы, и тогда, может быть, в душе ее произойдет счастливая перемена, и она избавится от своего мучительного положения». Письмо, которое вскоре после того Марья Ивановна получила от Зизи, убедило ее в том, что она хорошо сделала. Вот оно:

«Лидия совершенно оправилась. Мы уже начали выезжать. Часто я бы хотела оставаться дома с моей Пашенькой, которая день от дня хорошеет, любит меня больше, нежели свою кормилицу, протягивает ко мне ручки; но нельзя Лидию оставлять одну: она, как я тебе писала, настоящий ребенок, любит моды, но не может понять, которые пристали к ней и которые нет; великого труда стоит мне иногда уговорить ее не поднимать талии так высоко, что ее совершенно безобразит. В обществе она приводит меня в совершенное отчаяние: она так рада музыке, балу, своему наряду, что не может скрыть своего восхищения; иногда, забывшись, она захохочет во всю залу так, что все на нее оглянутся; особенно в театре я должна беспрестанно дергать ее за рукав, чтобы она не сказала чего-нибудь неприличного молодым людям, которые толпою приходят к нам в ложу. Владимир Лукьянович, кажется, замечает это и стороною дает мне чувствовать свою благодарность. Вчера, пока Лидия в десятый раз примеривала в уборной новое платье, я, сидя в спальне, качала на руках Пашу. Он подошел ко мне и долго смотрел на меня, задумавшись. Я невольно смутилась; чтоб прекратить это странное состояние, я спросила у него: о чем он задумался? «Об вас,— отвечал он ласково,— вы, может быть, не знаете, как я часто об вас думаю, Зинаида». Тут он подошел ко мне, взял меня за руку и с меланхолическим взглядом пожал ее.. Я затрепетала; еще в первый раз в жизни он с такою нежностию прикоснулся к руке моей... Не зная, что отвечать, я принялась ласкать Пашеньку, а он бросился в кресла, стоявшие в другом углу. Не знаю, заметил ли он мое смущение, или точно такой был смысл его слов, но он продолжал с особенным выражением и придавая вес каждому слову: «Мне бы хотелось устроить ваше имение, чтоб отделить вам вашу часть, чтоб вы имели свое, независимое».— «А зачем это? — спросила я.— Разве оно не может оставаться под вашим управлением?» — «Но вы можете выйти замуж,— отвечал он, глядя на меня пристально,— надобно, чтобы все было в порядке».— «О, никогда!» — вскричала я, забывшись, и потом, одумавшись, стала говорить разные незначащие слова, чтоб объяснить мою мысль; но они еще более обнаруживали мое смущение. «Таковы-то вы все, девушки: как можете вы за себя на один день отвечать?» — продолжал он с тем же выражением и не сводя с меня глаз. Я не отвечала ничего, а он продолжал: «Да, это необходимо будет сделать; я теперь стараюсь окончить нашу тяжбу о лесе, тогда у нас руки будут развязаны».— Тут вошла Лидия,

повертываясь и показывая свое платье; наш разговор прекратился. Выйти замуж... До сих пор эта мысль мне не приходила еще в голову; выйти замуж за кого-нибудь другого... Боже, пощади меня!»

Письмо от княжны Зизи к Марье Ивановне, месяц спустя.

«Благодарю тебя, любезная Маша, за письмо твое, которое мне привез твой казанский знакомый, Радецкий. Я не могла тебе отвечать тотчас, потому что Паша была больна и Лидия также: она опять беременна и, несмотря на все увещания докторов, танцует без отдыха,—вот что говорится, не сходит с доски. Твой знакомый очень мил, но только. кажется, слишком романического характера; он на меня смотрит такими странными глазами, что мне становится смешно, или у вас в Казани уж такая мода? Мне кажется, он не слишком понравился и Владимиру Лукьяновичу: он с ним учтив и вежлив, по обыкновению, но, между нами, Владимир Лукьянович шутя называет его *размазнею,* в чем и я, признаюсь тебе, согласна. Владимир Лукьянович очень заботится о нашей тяжбе с казною; как ни тверд его характер, но это дело его видимо беспокоит. Часто, когда Лидия бывает на бале, он приезжает прежде ее домой и часто ночи просиживает за бумагами; я это очень хорошо знаю, ибо он всегда заходит ко мне. Теперь, благодаря бога, он не настаивает больше, чтоб я выезжала с Лидиею, и, кажется, рад, что я остаюсь дома, потому что Пашенька беспрестанно больна, а Лидия не может обойтись без танцев. Меня же на бале ничто не занимает, и я так счастлива, когда могу добраться до моей комнаты. Прощай».

Это письмо, несмотря на его холодный тон, очень встревожило Марью Ивановну; в нем было что-то недосказанное: княжна что-то от нее скрывала. Письмо Радецкого объяснит тебе до некоторой степени эту загадку.

Письмо Радецкого к Марье Ивановне:

«Милостивая государыня, Марья Ивановна! Хорошее дали вы мне поручение; я исполнил его в точности: влюбился в вашу прекрасную приятельницу, да так, как никогда не ожидал, то есть до безумия. Как это случилось, рассказывать вам не буду, потому что сам не знаю. Дело в том, что моя участь решена; я чувствую, что не могу жить без княжны Зинаиды. Вы начали, вы должны

кончить; вы были причиною моего знакомства с нею, вы должны помогать мне. Вы, может быть, спросите меня: нравлюсь ли я ей — в этом вся и задача. Чувства княжны Зинаиды для меня непроницаемы; в разговорах с нею я заметил прекрасный, образованный ум; но что скрывается за этим умом — неизвестно. Мне кажется, она принадлежит к числу женщин, одаренных от природы нежным сердцем, но которому гордость мешает чувствовать. Чувство им кажется слабостью, чем-то унизительным. Они боятся обнажить свое сердце, они стараются прикрыть его всякою мишурою, чтоб избегнуть от проницательных глаз мужчины. Может быть, я ошибаюсь, но такою мне кажется княжна Зинаида; отчего это происходит, от образа ли воспитания, или от ложной системы,— не знаю, только я не всегда понимаю мою княжну. Я еще не заговаривал ей о моей любви: так я боюсь этой девушки; от одного ее слова зависит жизнь или смерть моя, а может быть, ее гордость или излишняя скромность заставит ее произнести страшное «нет» даже тогда, как сердце ее будет противоречить этому слову. Вы лучше меня знаете княжну Зинаиду: научите меня, что должно мне делать, что говорить, как глядеть на нее. Она умеет одним взглядом приводить меня в трепет, и слова, которые рвутся из моей души, замирают на языке. Скажите, не лучше ли будет, если бы вы к ней написали, если бы вы стороною постарались выпытать ее обо мне мысли. Не может быть, чтоб она не понимала, что во мне происходит: неужли она думает, что я стараюсь ездить к ним в дом так часто только для того, чтоб слушать холодные учтивости ее зятя, его толкования о литературе «Вестника Европы», перемешанные с рассказами о больших обедах? Сверх того, она должна понимать, что я, говоря по-светски, имею право предложить ей руку; я, как вы знаете, не беден, лета наши сходны, я имею порядочный чин, надежды на будущее — все это, разумеется, вздор, но я упоминаю обо всем этом потому только, что все это должно было бы обратить на меня внимание княжны в ту или другую сторону, но ничего не бывало; вот уже третий месяц, как я езжу к ним в дом, и княжна обходится со мною, как в первое свидание: ни знака неудовольствия, ни знака приязни; она по-прежнему со мною ласкова, любезна и холодна. Как объяснить? С другой стороны, неужли ей так дорога ее теперешняя девическая жизнь? У ней нет матери, живет она почти в чужом доме, целый день нянчится с чужим ребенком, играет в доме роль какой-то гувернантки или даже ключницы; она — женщина с большим умом, с начитанно-

стью, с пламенным воображением!.. Не понимаю. Бога ради, объясните мне все это, если можете, и не замедлите ответом; каждая минута для меня век страдания.

Радецкий».

Получив это письмо, Марья Ивановна, как видно, пришла в большое недоумение. Что, в самом деле, ей было отвечать Радецкому? Вверить ему тайну Зинаиды — было делом невозможным; писать к Зинаиде, описывать ей все достоинства Радецкого — было бы бесполезно. Она могла ожидать успеха от молодых его глаз, от его ума, любезности, но не от своих писем. Сколько я мог догадаться, эгоизм, кажется, уже нашептывал Марье Ивановне, что она напрасно вмешалась в это дело, и она решилась, на что обыкновенно решаются нерешительные люди, то есть ничего не делать, не отвечать Радецкому и предоставить развязку его собственному уму и времени. Но не прошло двух почтовых дней, Марья Ивановна получила новое письмо от Радецкого. Вот оно:

«Вы не отвечаете мне, бог вам судья! Не отвечать мне в такую минуту, когда вся жизнь моя есть цепь непрерывных терзаний!.. Мое дело не только не подвинулось вперед, но еще отодвинулось назад, потому что я рассорился с Городковым, и сам не знаю как. Вот как это случилось. У них был вечер; все уселись за карты; из неиграющих остались только трое: хозяйка дома, княжна и я. Я присел к столу у дивана, на котором сидели обе сестры; я очень был рад этому случаю говорить с нею наедине, потому что хозяйки дома нечего было считать: она или молчала, не понимая нашего разговора, или хохотала без всякой причины, или вскакивала с места. Княжна была задумчивее обыкновенного.

— Вы не играете? — сказала мне княжна, подняв на меня свои блестящие, черные глаза.

— И без игры, — отвечал я, — довольно терзаний на свете. Я не знаю, зачем человеку изобретать новое средство себя мучить, когда слишком довольно и старых.

Княжна улыбнулась; но если не ошибаюсь, в ее улыбке было что-то грустное.

— Сделайте милость, — сказала она насмешливым тоном, — перестаньте притворяться; я знаю, теперь в моде у молодых людей играть роль страдальцев, твердить об увядшей молодости, о потерянных надеждах; вы не можете себе представить, как все это смешно.

Эти слова тронули меня за живое.

— Неужли,— сказал я,— оттого, что есть люди, которые притворяются больными, вы в состоянии засмеяться, видя человека на смертной постели?

— Нет, но я бы послала за доктором.

— А если б доктор не захотел прийти?

— Я бы послала за другим.

— Неужли вы думаете, что менять докторов так легко?

Не знаю, отчего этот незначащий вопрос заставил княжну задуматься, по крайней мере мне так показалось,— но она скоро переменила разговор:

— Вы еще долго останетесь в Москве?

— Не знаю; я не принадлежу самому себе...

— Кому же?— спросила княжна простодушно.

— Я принадлежу одному из тех слов, над которыми вы смеетесь.

— Опять! Как вы странны теперь, молодые люди!

— Столько же странны, как и все молодые люди от сотворения мира, разумеется, в известных случаях.

— Я без шуток думаю, что по большей части вы сами не знаете, чего хотите; в голове у вас бродит несколько слов, несколько заученных стихов, из которых вы составляете что-то похожее на жизнь и потом уверяете себя, что эта жизнь вас терзает.

— Неужели, княжна, вы обо всех так думаете без исключения?..

— О, нет!— сказала она с обыкновенным выражением.— Но о многих,— прибавила она спокойно.— Так мало надобно для счастия жизни, а это не многие понимают: все гоняются за невозможным, как дети за тенью, и потом жалуются, что не могут поймать ее.

— Вы справедливо заметили, что для счастия надобно мало, но так же мало надобно и для страданий. Иногда в них виноват сам человек, нечистая совесть, корыстные чувства, порочная, непозволенная страсть — об этом и говорить нечего. Но бывает, что в душе горит чистое, святое чувство, что ощущаешь в себе способность посвятить всю свою жизнь, например женщине, что на это отвечают холодностию, презрением...

Мои слова явно производили впечатление на княжну: она была в волнении — то краснела, то бледнела; грудь ее высоко поднималась; я видел это действие, производимое моими словами, старался воспользоваться редкою минутою пробудившегося в княжне чувства и выразить в словах все, что волновалось в душе моей; но ко мне подошел хозяин дома.

— Сделайте мне одолжение,— сказал он приветливо,—

займите на минуту мое место за бостоном; мне надобно кое-что приказать в доме...

В сию минуту я готов был выбросить его за окошко.

— Я не играю... я не умею играть! — сказал я с видимою досадою.

— Но одну минуту, только одну минуту подержать карты в руках,— отвечал он, улыбаясь.— Впрочем, как вам угодно; я не хочу принуждать вас сделать мне одолжение. Извините, что обеспокоил вас,— прибавил он холодно.

Я опамятовался, хотел было просить у него карты, но он уже раскланивался со входившим гостем, который с радостью принял его предложение. Я посмотрел вокруг себя — княжна исчезла; я остался с глаза на глаз с хозяйкой дома.

— Что сделалось с княжною? — спросил я ее.

— Ей спать захотелось,— отвечала Лидия и захохотала во все горло.

О чем мне было говорить с нею? Я был огорчен, взбешен и не в состоянии пересыпать из пустого в порожнее. Воспользовавшись первою минутою, когда Лидия Петровна вскочила по своему обыкновению, я выбежал из дома как сумасшедший.

Вы можете себе представить, что во мне происходило в это время! Дожидаться в течение долгих дней этой минуты, как заветного рая; быть прерванным тогда, как, может быть, душа ее стала открываться для чувства, и остаться, не разрешив загадки, не высказав вполне души своей... это ужасно!

Я целую ночь не мог заснуть и поутру рано поехал к Городкову, чтоб извиниться в моей невежливости; меня не приняли. На другой день то же, на третий день опять то же. Я осведомляюсь о здоровье всех домашних поименно; лакеи мне отвечают, что все, слава богу, здоровы и изволили уехать со двора; но это была неправда: на дворе стояли экипажи, следственно, хозяева были дома; это значило просто, что меня не хотели принимать. Я не знал, что делать; я уже решился писать к Городкову и откровенно объяснить ему все; но страх подвергнуть свою участь одному слову, не приготовив княжну к моему объяснению, удержал меня. Вечером я встретил Городкова в одном знакомом доме и скрепя сердце подошел к нему, начал было извиняться в моей невежливости; он прервал мои слова с обыкновенною своею улыбкою, говоря: «И! помилуйте, как это можно! есть ли о чем и говорить! сделайте милость, не беспокойтесь!» — и прочее, тому подобное; а между тем он обратился к другому. Еще

раз начать говорить с ним — в эту минуту было выше сил моих; однако ж я решился ехать к нему на другой день, но меня опять не приняли. Я был совершенно в отчаянии и не знал, что предпринять; каждый день ходил я на почту, чтоб узнать, нет ли от вас письма, не затерялось ли оно — тщетно! Бога ради, не медлите ответом, не мучьте меня. Вы лучше знаете семейственные отношения этого дома: объясните мне, что все это значит. Неужели Зинаидин зять мог на меня рассердиться за вещь столь обыкновенную в свете? Тут должна скрываться какая-то тайна, над которой я тщетно ломал себе голову. Я не могу скрыть от вас, что поведение г. Городкова мне кажется очень странным: он пользуется прекраснейшею репутациею в свете; он принят в лучших домах; он очень любезен в обращении, но мне не понравился он с первого раза — и знаете отчего? Он входит в комнату боком, всегда как-то пролезает между людьми. Не хочу без вины обвинять его: это невольное движение может происходить и от глубоко сокрытого в душе низкого чувства, может происходить и от излишней скромности. и от застенчивости; но, воля ваша: он, право, что-то слишком любезен, слишком приветлив, слишком уступчив; достигнув в свете некоторой оседлости, или что называют aplomb, он все во всяком чего-то ищет, соглашается, с чем не должно соглашаться, улыбается тому, кто ему надоедает; все это, как хотите, переступает пределы обыкновенной светскости и переходит за ту черту, где любезности не отличишь от притворства и бесцветность характера — может быть, от грехов тайных и тяжких. Я не могу постигнуть существования человека, который никогда никому не противоречит, точно так же, как человека, который спорит только для спора. Словом, есть что-то непонятное в этом Городкове. В нынешнем свете, когда искусство лицемерия вошло в правила воспитания между грамматикой и нравственностью, человека угадать трудно: надобно знать всю его историю с колыбели, чтоб составить себе о нем какое-нибудь понятие. Я старался наведываться о Городкове сколько можно и узнал, что он целый век служил, взяток не брал, что он *классик*, прекрасно играет в бостон, пишет шарады — и только. Но когда я смотрю на его голову, уплывшую в воротник фрака, на эту едва приметную складку возле глаз под висками, на его румяное, вечно улыбающееся лицо,— что-то тайное говорит мне, что все это маска и что в душе его не то. Бога ради, расскажите о нем все, что вы знаете и что вы заключаете из последнего его поступка, а больше всего напишите о Зинаиде. Писали ли вы к ней? что она

отвечала вам? Бога ради, не морите меня медленною смертью. Родных у ней никого нет: вы одни моя надежда. Я не знаю, на что я в состоянии теперь решиться».

Бедная Марья Ивановна, получив это письмо, была не в меньшем замешательстве. Пока она собиралась отвечать ему, пришло новое, следующее письмо:

«Спешу вас уведомить, что участь моя решена. Я счастлив, так счастлив, что не могу этого и выразить: *княжна Зинаида соглашается выйти за меня замуж!* Я плачу от радости, как ребенок. Наше объяснение с княжною было очень странно. Вот как это случилось, посудите сами:

Получая беспрестанно отказы в доме, я, как пошлый любовник, бродил под окнами моей красавицы; но все было тщетно: княжна не выезжала со двора и не подходила к окошку; люди, у которых я осведомлялся об ее здоровье, смотрели на меня с насмешкою; неприязнь господ перешла к слугам, как обыкновенно случается, без всякого с их стороны сознания: барин косится и они также. Но, к счастию, на сем свете существуют могущественные полтинники, которыми отпираются двери и от которых немые делаются говорливыми; этим способом узнал я однажды, что княжна в церкви — я поспешил туда; вхожу: в церкви темно: с трудом в отдаленном углу за столбом я узнаю княжну: прихожан мало; она, вероятно думая, что на нее нимало не обращают внимания, стояла на коленях, горячо молилась и горько плакала. Я не хотел мешать ей и стал так, чтоб она не могла меня заметить. Что значили эти слезы? Были ли они действием одной набожности, или тайной скорби? Как бы то ни было, мне показалось, что теперь говорить с княжною было для меня долгом. Я дождался окончания службы и, когда княжна вышла с другими в притвор, подошел к ней. Взглянув на нее при тусклом свете свечи, горевшей у образа, я испугался: глаза ее были красны, щеки впали, лицо носило отпечаток жестокого внутреннего страдания.

— Княжна! — сказал я ей, — мне необходимо сказать вам несколько слов.

В первую минуту она как будто испугалась и хотела скрыться от меня; но потом, подумав немного, остановилась и отвечала:

— Говорите, я вас слушаю.

Мы вышли на паперть: она отослала провожавшего ее лакея к церковной ограде. Никогда еще она не казалась мне столь прекрасною... Вечер был тихий, последние багряные лучи солнца освещали ее прекрасное, благород-

ное лицо, вокруг которого из-под соломенной шляпки вились по плечам в беспорядке черные, мелкие кудри.

— Княжна! — сказал я твердым голосом, — вы несчастливы!

В одно мгновение на этом лице, удрученном горестью, блеснуло ее обыкновенное, гордое чувство.

— Кто дает вам право, — отвечала она, — спрашивать у меня отчета??

— Мне на это дает право то чувство, которое вы мне внушили, и клятва, данная мною перед богом, которому мы вместе теперь молились, посвятить вам жизнь мою до последнего издыхания. В моем теперешнем положении я должен говорить прямо и решительно.

Княжна задумалась; горькие слезы полились из ее глаз; исчезло выражение гордости, на минуту мелькнувшее в лице ее: я видел пред собою слабую, истерзанную женщину...

Вдруг она взяла меня за руку:

— Скажите, вы меня не обманываете?..

— Княжна!..

— Вы были бы готовы на мне жениться, если бы я согласилась?

— Я был бы счастливейшим человеком.

— Здесь говорить нам нельзя; не спрашивайте меня ни о чем... Чрез несколько часов я пришлю к вам в дом записку...

Я хотел поцеловать ее руку; но она, отдернув ее, поспешно пошла к ограде; я хотел за ней следовать, но она дала мне знак рукою, чтоб я оставил ее одну. Я возвратился домой в большом раздумье; как ни радовала меня надежда на счастье, но такое быстрое, неожиданное исполнение моих желаний пугало меня; в поведении княжны по-прежнему было что-то странное и неизъяснимое; я терялся в догадках. Не прошло получаса, как я получил от нее следующую записку: «Я согласна отдать вам мою руку иввериться вам, как благородному человеку; но особенные обстоятельства заставляют меня желать, чтобы наш брак совершился как можно скорее. Одно мое условие: не спрашивать меня о причине такой странной просьбы; не спрашивать меня ни о чем; ввериться безусловно моей совести... Когда-нибудь вы все узнаете».

Я отвечал на эту записку, что верю ее благородному сердцу, не буду ее ни о чем спрашивать и что надеюсь завтра же устроить все для нашей свадьбы.

Вот что со мной было! Хотя я и не получил еще от вас ответа, но здесь не имею никого, с кем поделиться моим странным счастием. Пишу к вам ночью; душевное волне-

ние мешает мне сомкнуть глаза. Со светом отправляюсь хлопотать, чтоб устроить все для венчания. Едва ли кому-нибудь удавалось жениться так чудно!»

На следующей почте Марья Ивановна получила следующее письмо от молодого человека:

«Все кончено: участь моя решена! Вот новая записка ко мне от княжны Зинаиды: «Простите меня, не проклинайте меня, сочтите меня безумною, если хотите... Нет, благородный молодой человек, я не могу быть вашею женою! Я не хочу вас обманывать: я не могу любить вас. Постарайтесь найти другую женщину, которая бы была вас достойна. Я знаю, для моего поступка нет оправдания, но в вашем сердце я найду себе по крайней мере прощение. Не спрашивайте отчета у несчастной жертвы судьбы; не допытывайтесь узнать мою тайну: забудьте, забудьте меня!»

Мне нечего прибавлять к этому письму: вы можете вообразить себе мое положение. Бога ради, напишите мне, что вы можете понять во всем этом. Если я и не могу сам быть счастливым, то это не мешает мне пожертвовать, если нужно, моей жизнию, чтоб спасти бедную девушку от козней неизъяснимых, но действительных, которые, может быть, ее окружают. Проникнуть эти козни я почитаю святым долгом: я уже начинаю подозревать некоторые из них, но, может быть, все это мечта... Мои мысли не имеют никакого прочного основания; сеть, в которой находится княжна, заплетена так искусно, что укрывается от самого проницательного взора. В смертной скорби моей я не имею даже сил действовать; мысли мои мешаются, одна истребляет другую, и, после долгого напряжения, я нахожу только то, что я страдаю, страдаю ужасно и не вижу конца моим страданиям. Напишите мне хоть два слова; может быть, они наведут меня на открытие того, над чем я тщетно терзаюсь».

Марья Ивановна на этот раз решилась отвечать молодому человеку; она, кажется, отвечала ему пустыми фразами и уверениями, что ей самой совершенно непонятен поступок Зинаиды. Приязнь к подруге своего детства мешала ей открыть страшную тайну, но между тем она написала к ней письмо, где, как мне говорила, в самых сильных выражениях, какие умела только найти, упрекала ее за ее поступки, намекала, что догадывается об их причине, и первый раз в жизни осмелилась говорить княжне о том, как порочно ее чувство. Ответ княжны Зинаиды довольно любопытен. Вот он:

«Если бы кто-нибудь другой упрекал меня, а не ты, я бы оставила эти упреки без внимания; но ты — ты знаешь мое положение, ты знаешь все терзания моего сердца, все долгое борение с самой собою, продолжающееся не день, не два, но годы,— и ты можешь упрекать меня! Да, мой поступок с Радецким может быть неизвинительным в глазах света, но не в твоих глазах. Мне жаль молодого человека, но что же делать? В минуту скорби и отчаяния я думала, что могу замужеством с ним заглушить то, что происходит в моем сердце и о чем говорить не смею; но когда я прочла в его записке, что завтра я должна предстать с ним пред алтарем, вся твердость меня оставила. Обмануть человека, поклясться ему в вечной любви, когда я... нет, это было невозможно! Я решилась лучше принести себя в жертву, прослыть ветреною, безумною... Моя участь решена: никогда никому не буду принадлежать я; и когда ни Лидия, ни ее дети не будут во мне нуждаться, монастырь сокроет несчастную, если не от собственных страданий, то по крайней мере от светских толков. Впрочем, если я во многом виновата пред Радецким, то и он нанес мне оскорбление жесточайшее, какое только могла изобрести его ревность. Радецкий человек без сердца. То, что он говорит обо мне, оскорбительное подозрение, которого он не мог скрыть,— это все я ему прощаю; но, в негодовании на меня, он старается излить желчь на все, меня окружающее. Представь себе, он осмелился написать ко мне, что проникнул в жизнь мою, что он угадывает, кто мне *препятствует* выйти за него замуж; он осмелился предостерегать меня и обвинять в каких-то корыстных видах — кого ты думаешь? — *его,* ангела доброты, бескорыстия... Оттого, что прямота его ума, прямота его сердца не допускают его до романических бредней; оттого, что он видит жизнь яснее других и в глубине сердца скрывает свои высокие чувства, твой Чайльд-Гарольд manqué[1] почитает *его* способным к низким, корыстным видам!.. Это письмо, признаюсь тебе, даже утешило меня: я показалась себе не столь виновною пред Радецким, как прежде; ибо лишь тот, кто сам способен к низким расчетам, мог изобрести такую выдумку, и против кого же?.. Где справедливость на свете? Юноша влюбляется, его намерение не удается, и он почитает себя вправе чернить героя добродетели, несчастного... несчастного, может быть, столько же, сколько и я?»

---

[1] Неудавшийся *(фр.)*.

В этом письме также, как ты видишь, много недосказанного: княжна многое скрывала от своей приятельницы.

Уж впоследствии Марья Ивановна узнала все, что случилось в промежутках между сими письмами.

С некоторого времени, когда княжна начала более выезжать, Городков приметно стал беспокоен; он изыскивал разные предлоги, чтоб удерживать жену свою от выездов: он часто заводил речь о семейственном счастии, о расходах, с которыми сопряжены выезды, и о святой обязанности отца семейства стараться умерять свои издержки, чтобы оставить более детям; но эти слова трогали одну княжну Зинаиду,— для Лидии они были непонятны. Как ни ограниченны были ее понятия, но все она была правнучка Евы и умела с непостижимым искусством так направлять разные домашние обстоятельства, чтобы выезды делались необходимостью; сам муж ее, несмотря на всю свою прозорливость, невольно увлекался жениным влиянием: то являлся неожиданный визит, который необходимо надобно отплатить, а этот визит втягивал в какое-нибудь новое знакомство; то являлось приглашение в такой дом, где можно было ему сойтись с нужным человеком; все это устроивалось как бы нечаянно, а между тем было делом простодушной Лидии. Для этого у ней являлась и хитрость и сметливость; с молодыми людьми, с которыми она кокетничала, у ней устроен был действительный заговор против мужа; посредством их она действовала на тетушек, бабушек — словом, на все *приглашающие* лица,— и благодаря этой тактике, выезды не перемежались. Не успев с этой стороны, Владимир Лукьянович обратился к другому средству: за несколько дней до выезда он начинал беспокоиться о здоровье своей дочери. «Что это,— говорил он.— Зинаида Петровна? кажется, Паша как будто нездорова; посмотрите, и глазки у нее посоловели, и кушает мало». Зинаида пугалась, посылала за доктором: доктор советовал дать дитяти гуфландов порошок: тогда дитя действительно занемогало, а княжна, разумеется, оставалась дома. Появление Радецкого в доме немало озаботило проницательного Владимира Лукьяновича; он вообще терпеть не мог людей не по себе, тех людей, которые читали не то, что он читал, говорили не то, что он говорил, не восхищались его шарадами, без внимания слушали его литературные суждения и особенно — засматривались на княжну. К сожалению, Радецкий соединял в себе все эти качества и недостатки. Крепко задумался Владимир Лукьянович: он не знал, на что решиться; страшил его выезд, страшил его и гость

неприглашенный. Предвидя беду заранее, он начал, как мы видели, исподволь и очень тонко над ним подшучивать, разумеется в его отсутствие; стороною заводил он речь о появлявшейся тогда романтической школе, которая тогда журналистам служила мишенью для холостых зарядов, как ныне искренность, благородство, бескорыстие и прочее тому подобное. В это счастливое время даже журналисты занимались только литературою; теперь они хватились за ум — литература у них последнее дело. Владимир Лукьянович часто толковал лишь о самонадеянности, о тщеславии молодых людей, о их дурном вкусе. Известно, что самые пошлые мысли суть самые высокие, и, наоборот, самые высокие суть самые пошлые, точно как самая смешная острота есть всегда самая грубая: все зависит от той точки зрения, с которой они представлены, и кем представлены. Когда Байрон говорит о ненависти к жизни, о презрении к людям, его слова поражают; те же самые мысли смешны в устах какого-нибудь журнального рифмотворца; книги Сильвио-Пеллико нельзя читать без особенного чувства, а между тем каждая строка в ней была уже двадцать тысяч раз прежде сказана. Эти, по-видимому, столь простые мысли, вошедшие, так сказать, в домашний обиход нашей жизни, равно являются невольно гению среди его высоких мечтаний; ими же пользуется и человек, повторяющий их понаслышке, без всякого сознания. Что может быть выше мысли, заключающейся в сих словах: «Для истины я готов пожертвовать жизнию»? И что может быть смешнее этого выражения, когда оно встречается в наших газетных нравоописательных статейках?.. Все это длинное рассуждение было необходимо, чтоб объяснить тебе, каким образом Владимир Лукьянович производил такое сильное впечатление на княжну Зинаиду: весь его разговор был составлен из подобных фраз, но для княжны они были выражением искреннего, глубокого, внутреннего чувства; и когда от этих фраз Владимир Лукьянович искусно переходил к оценке людей, которые почему-либо казались ему странными,— как мелки, как ничтожны казались эти люди для княжны Зинаиды, в сравнении с предметом ее обожания! Разговор Радецкого с княжною сильно поразил Владимира Лукьяновича. На его лице не было приметно никакого движения; но он поставил несколько ремизов, чего с ним еще никогда не случалось — и не мудрено: слух его был напряжен и направлен к тому месту, где сидели молодые люди; немногие слова доходили до его ушей, но по этим словам он мог судить, что дело идет не на шутку. Чтоб прервать этот разговор, он употребил описанный Радец-

ким маневр, который, с одной стороны, удался совершенно. На княжну последние слова Радецкого, которыми он нечаянно намекнул на ее собственное положение, сильно подействовали; в ее слухе беспрестанно звучали: *непозволенная страсть, нарушение долга;* она убежала в свою комнату в совершенном отчаянии. Это не укрылось от проницательного дипломата; но он видел только волнение княжны и, не постигая вполне его причины, приписывал начинающемуся расположению к Радецкому. С этой минуты Владимир Лукьянович начертал себе предварительно полный план атаки: первое дело было — отдалить опасного соперника, а второе — самому принять решительные меры; прежде всего надлежало увериться, до какой степени Радецкий мог быть ему препятствием. На другой день Владимир Лукьянович, оставив жену на бале, под предлогом дел возвратился домой и прямо пошел в комнаты Зинаиды. Зинаида, отослав няньку ужинать, осталась одна с Пашенькою на руках... Представь себе маленькую комнату, темно-синие обои, ковры; в углу небольшой турецкий диван, небольшой открытый шкап с книгами, фортепьяно, на окошках и по столам цветы. В комнате темно; тусклым светом лампы освещается один диван, а на нем прекрасная девушка в белой блузе, в этой самой обольстительной женской одежде (которая лишь начинала входить в моду и которую дамы тогда осмеливались надевать только дома); темноватого цвета лента обхватывает тонкую талию; черные лоснистые волосы рассыпаются по плечам мелкими кудрями; на стройной ножке бархатные туфли, опушенные мехом. Княжна держит на руках младенца; он улыбается ей, хватает ее за кудри, за блестящие серьги; княжна отвечает ему улыбкою, играет с ним, но черные мысли отражаются в ее задумчивом взоре; ее улыбка горька; ее веселый разговор с ребенком печален; она наклоняется к нему, целует его, как бы для того, чтоб вдохнуть в себя воздух невинности и спокойствия,— но тщетно: вся жизнь ее развертывается пред нею; она вспоминает свои детские игры, первые впечатления, которые произвели на нее в первый раз прочитанные украдкою стихи; она помнит их от слова до слова; она вспоминает, как трепетало ее сердце при чтении первого попавшегося ей романа, как искренно плакала над судьбою героини и прятала драгоценную, запрещенную книгу под изголовье, чтоб прочесть ее вновь и с новым наслаждением; потом представляется ей, как нечувствительно чтением расширился круг ее понятий, как твердел ее ум и крепло сердце; как новые, нежданные мысли из глубины души, как будто из другого таинственного мира, возника-

ли пред нею; как она ощущала в себе зарождение новых чувств, которые невольно вмешивались во все ее существование и наводили магический свет на все, ее окружавшее: тогда, как часто, обративши внимание на собственные движения души, она не узнавала самой себя и дивилась своему перерождению; тогда с насмешкою она смотрела на себя в прошедшем, сравнивала себя с своими сверстницами, и в ее сердце зарождалась могучая гордость, эта сила и болезнь человека; вот уже является в ней нетерпение выйти из тесного круга, в котором заключила ее домашняя жизнь: она мечтает быть супругою, матерью, хочет жить, действовать; в ее голове звучат беспрестанно стихи Залиса, так счастливо переданные одним русским поэтом:

Действуй! мудрец познается делами:
Слава с бессмертьем грядет им вослед.
Действуй! означи благими трудами
Алчного времени быстрый полет.

Но вот все ее мечтания, все чувства сливаются в один определенный предмет: пред ней является наяву исполнение всех ее идеалов — прекрасный мужчина, скромный, тихий, добрый; в его разговоре она слышит те заветные, любимые слова, которые до того она встречала только в книгах, которые отзывались в ее сердце и были непонятны всем ее окружающим; и это соединение всех совершенств — первый мужчина, которого она видит; с ним является первая любовь, первые надежды, первые муки... И этот мужчина возле нее; она видит его каждый день,— но их разделяет страшная, вечная бездна! Она скрывает пред ним душевные бури; когда сердце ее полно, голова горит и грудь высоко поднимается, она убегает его, она не смеет прикоснуться к нему, не смеет выговорить ему лишнего ласкового слова: она не может, она не должна любить его! И так протечет вся ее жизнь, жизнь неполная, ложная, как жизнь блестящего насекомого, пригвожденного к дереву холодным наблюдателем; тщетно оно расправляет радужные крылышки, трепещет, рвется; вокруг — солнце, вольный душистый воздух, а внутри — долгая, томительная боль, и нет сил от нее оторваться,— нет конца и страданиям бедной девушки: что бы ни случилось, какое бы ни было стечение обстоятельств, какие бы перевороты ни потрясли общества, всю землю,— бездна между ним и ею останется вечною, а перед нею еще долгая, долгая жизнь! Достанет ли у ней сил переносить это непрерывное страдание? Достанет ли ей сил каждый день быть с ним вместе и скрывать это

борение с самой собою, когда часто оно доводит ее до степени, близкой к сумасшествию? Достанет ли ей сил убегать в свою комнату, когда при одном его взгляде кровь кипучим ключом бьет в ее жилах, когда все мысли о долге, о чести, о стыде улетают из ее головы как будто волшебством — и она готова броситься в его объятия? «Нет,— думает княжна,— пора этому положить конец, должно оставить этот дом; матушка простит меня; бог сохранит Лидию и ее ребенка... келья в дальнем монастыре, власяница и камень в изголовье — вот что лишь может спасти меня от самой себя!» Но в эту минуту младенец, как будто понявший ее мысли, схватил ее за шею своими ручонками; княжна очнулась; она снова вспомнила о матери этого ребенка, о последних словах своей матери,— и все ее мысли смешались: ее душа пришла в то страшное, тяжкое состояние, когда два противоположные долга борются между собою, когда одна мысль уничтожает другую, когда человек обвиняет себя и в эгоизме и в неблагоразумном самоотвержении, когда он тщательно перебирает все изгибы своего сердца, боится обмануть себя, ищет первой отдаленной причины каждого своего чувства, каждой своей мысли, взвешивает каждое движение и в отчаянии не находит ответа...

В эту минуту дверь отворилась, и вошел Городков. Он остановился на пороге; его поразила прекрасная картина, бывшая пред его глазами. Княжна сначала не узнала его, но невольно вздрогнула; не знаю, что происходило в его душе в эту минуту, но он был задумчив. Он тихо, почти шепотом, поздоровался с княжною и в глубоком молчании бросился в кресла, стоявшие возле дивана. Так прошло несколько минут.

— Что с вами? — спросила наконец его Зинаида с беспокойством.— Отчего вы так задумчивы?

— Мало ли о чем мне думать! — отвечал он печально,— много бывает на сердце такого, чего не расскажешь и что, между тем, наводит невольную тоску.

— Но, говорят, рассказ того, что на сердце, облегчает печаль.

Городков вздрогнул.

— Да,— отвечал он,— есть люди счастливые, вот как, например, наш романтик, у которого для всего есть готовые фразы и который, мимоходом сказать, кажется, делает вам глазки — вероятно, чтоб иметь предлог сочинить туманную элегию в модном вкусе.

Княжна вздрогнула. Городков посмотрел на нее со вниманием.

— Я не думаю, чтоб из моих слов он мог сочинить

нежную элегию,— сказала она, улыбаясь,— я ему всегда говорю столько резких истин, что, верно, они отобьют у него охоту толковать о своих романтических страданиях.

Городков вздохнул еще раз; но, кажется, от удовольствия, по лицу отгадать этого было невозможно.

— Что до него!— продолжала княжна,— скажите мне лучше, что с вами?

Городков придвинул кресла.

— Я буду говорить с вами откровенно,— сказал он, положив на стол свои прекрасные, белые, аристократические руки.— Скажите, что моя за жизнь? С кем могу я поделиться сердцем? Что ожидает меня в будущем? Вы знаете вашу сестру; вы знаете...— прибавил он, запинаясь,— она не может понимать меня, она мне не может быть помощницею в жизни, ни другом в печали, ни матерью детей, ни даже хозяйкою дома. Хорошо, что вы теперь, из любви к ней, взяли на себя все ее обязанности; но вы можете выйти замуж, я могу занемочь, умереть — что тогда будет с моим ребенком?

Княжна затрепетала, хотела что-то говорить, но стискивала зубы. Городков не сводил с нее глаз.

— Смотрите, как покойно Пашенька заснула на ваших руках; она вас знает больше, нежели Лидию, и, в самом деле, вы настоящая мать, вы единственный друг мой.

Городков закрыл лицо свое руками, но, вероятно, не так плотно, чтоб не видать, что делается с княжною.

— Но надолго ли это? Вы выйдете замуж; у вас будут свои обязанности, другого рода привязанность, свои дети...

— Никогда!— вскричала княжна вне себя.

Он взял ее за руку; Зинаида была как в огне. Невнятные слова срывались с ее языка и замирали.

— Как это может быть?— отвечал Городков, смотря на нее нежно.— Вы сами не можете отвечать за себя; да и с моей стороны было бы слишком бессовестно требовать от вас такой жертвы. Не правда ли?

Княжна была в сильном волнении. Городков снова взял ее за руку, поцеловал ее; бедная девушка невольно прижалась к его щеке; ее густые кудри рассыпались по их сомкнутым лицам и как бы непроницаемой пеленою сокрыли то, что происходило в эту минуту; но ребенок, разбуженный этим движением, вскрикнул; княжна опамятовалась.

— Паше пора спать,— сказала она, поспешно встала и понесла ребенка в детскую. Городков последовал за нею в размышлении; княжна наклонилась над колыбелью, говорила скоро, отрывисто несвязные слова; вся она была как

в лихорадке, лицо ее горело, руки дрожали. В эту минуту явилась Лидия в бальном платье, напевая мазурку и почти танцуя. Она не заметила ничего, хотя княжна смотрела на нее как преступница.

— Паша нездорова,— сказал муж,— мы с сестрицей насилу могли ее успокоить.

— Что такое?— сказала Лидия с своим остолбенелым взглядом, который один служил ей для выражения всех возможных чувств. Посмотрев на колыбельку, Лидия прибавила:

— Она, кажется, започивала, и мне также спать очень хочется; я так устала!

Ребенок в самом деле заснул спокойно, ибо нисколько не был болен. Слова Городкова были ложь, но Зинаида разделила ее своим молчанием; между ней и мужем Лидии уже как будто заключилось тайное условие; она уже чувствовала необходимость что-то скрывать от сестры своей... Лидия рассеянно благословила Пашу, чего никогда не забывала делать и чем, кажется, ограничивала весь долг материнский, и отправилась в спальню. Зинаида всю ночь промолилась пред образами и к рассвету почти в беспамятстве бросилась в постель.

В следующие дни посещения Городкова сделались чаще прежнего; иногда он говорил княжне такие слова, которые она одна могла понимать; иногда просто смотрел на нее, но такими глазами, которые говорили больше слов. Борение в сердце княжны достигло высшей степени; она не смела смотреть на сестру, хотя Лидия ничего не понимала, что вокруг нее происходило, и только радовалась тому, что муж не мешает ей выезжать. Княжна проводила ночи без сна, а когда засыпала, то воспаленное воображение повторяло ей все слова, сказанные во время дня, все движения ее сердца, досказывало недосказанное и увлекало ее в мир обольстительных, сладострастных видений. Просыпаясь, она с ужасом и наслаждением вспоминала свои ночные грезы; она видела, что стоит на краю пропасти, и не имела сил остановиться. Ее комната, в которой все напоминало обольстительный вечер, сделалась ей невыносимой, ее постель — ужасной; она потеряла способность молиться в этой комнате. Однажды вечером, когда она сидела у растворенного окна и теплый летний вечер коварно раздражал ее воображение, послышался благовест — и тысяча воспоминаний возродились в душе ее: она вспомнила свою детскую невинность, свою детскую, чистую, безмятежную молитву. Как бы ей хотелось снова пробудить эти тихие чувства в душе своей! Она почти невольно вышла из комнаты и, сама не зная

как очутилась в церкви. Там произошла сцена, описанная в письме Радецкого. Молитва придала бодрости княжне; слова молодого человека, столь ясные, простые, столь исполненные чувства, поразили ее; они ей показались нежданною помощию, ниспосланною свыше; твердость ее воли восторжествовала; она решилась одним ударом рассечь узел преступной страсти, принести себя в жертву, не отнимая у себя средств исполнить последнюю волю матери; она с геройскою решительностью предложила свою руку молодому человеку. Но когда она написала записку Радецкому, тогда осталось ей еще другое, трудное дело — объявить о своем решении Городкову. Она выбрала ту минуту, когда муж и жена были вместе, собралась с силою и задыхающимся голосом выговорила: «Я выхожу замуж за Радецкого». Лидия захохотала, Городков побледнел, княжна поспешила договорить: «У нас уже все условлено: завтра наша свадьба; он едет отсюда... надобно скорее...» С этими словами ее голос прервался... она удалилась. Городков остался с женою и проговорил несколько незначащих фраз, которых она почти не слыхала, потому что ей тотчас в уме представился бал, который надобно будет дать по случаю свадьбы.

Когда Лидия заснула, муж ее отправился в комнату Зинаиды; он знал, что она не может спать. Княжна сидела на диване; слезы ручьями лились из ее глаз.

— Я пришел поговорить с вами о ваших делах,— сказал Владимир Лукьянович прерывающимся голосом.— Времени остается немного, а мне нужно кое о чем с вами условиться. Как родственник ваш, я должен позаботиться о том, о чем, может быть, вы сами позабыли. У вас есть имение...

Княжна рыдала.

— Мне ничего не надобно,— говорила она,— я оставляю все вам, вашим детям, сестре.

— Это невозможно; ваш муж найдет это странным, неприличным; вы сами будете жалеть; у вас будут новые обязанности... новая привязанность... могут быть дети.

Эти слова, напоминавшие княжне прежний, обольстительный вечер, разрушили ее последнюю твердость; она бросилась на шею к Городкову и с отчаянием произнесла только одно слово: «*Владимир!..*» Но в этом слове были забыты и долг, и данное обещание, и девическая стыдливость. Обольститель сжал ее в своих объятиях, и длинный, длинный поцелуй помешал княжне договорить это слово. Но вдруг она вырвалась из его объятий, прислонилась к столу и трепещущим голосом произнесла:

— Владимир! именем бога, оставь меня!

Городков хотел к ней приблизиться; но она сложила руки с умоляющим видом:

— Именем бога, оставь меня!.. Завтра, завтра все узнаешь,— произнесла она, задыхаясь от слез.

— Но завтра,— отвечал Городков.— завтра ты будешь замужем?

Княжна всплеснула руками и закрыла лицо свое:

— Как ты мог поверить этому, Владимир?.. Разве ты не видишь?.. разве ты не знаешь?.. Ты... один, ты... один!— вскричала она вне себя и выбежала из комнаты.

Городков хотел за ней последовать, но, боясь разбудить домашних, возвратился в свою комнату. Вошедши в нее, он насмешливо улыбнулся. «Черт возьми!— сказал он,— дело не на шутку!» Но он взглянул в зеркало и испугался своего собственного образа; оглянулся, нет ли в комнате кого из посторонних, и — в одно мгновение изчезла с его лица насмешливая улыбка,— как будто ее и не бывало; он лег в постель и преспокойно проспал до утра.

На другой день княжна написала свою вторую записку к Радецкому. Радецкий отвечал на нее и в тот же день уехал из Москвы.

Не знаю, что бы могло случиться с княжною в это время; к ее счастию, особенное происшествие сделало большой переворот в ее семейной жизни. Лидия уже беременная танцевала, как я говорил выше, без устали; в то самое утро, когда Зинаида решила судьбу Радецкого, Лидия почувствовала себя нездоровою. Послали за доктором; он, осмотрев Лидию, значительно покачал головою и попросил пригласить других докторов для консилиума; прежде нежели начался консилиум, Лидия выкинула; доктора объявили ее в самом опасном положении.

Долго тянулась болезнь несчастной жертвы легкомыслия. Зинаида не отходила от ее постели. Иногда больная приподнималась с постели и говорила слабым голосом, вспоминала о назначенных днях городских балов, просила посмотреть свое последнее платье, которое она еще не успела примерить,— и ей расстилали на постели блонды, бархаты, атласы; она любовалась, играла ими, как ребенок; потом начинала плакать и приказывала уносить все свои уборы.

Иногда, показывая на мужа, она говорила Зинаиде:

— Пожалуйста, будь его женою, когда я умру; он такой добрый... ты умеешь лучше угодить ему, нежели я; ты умница, а я бедная, глупенькая!

Но иногда в минуты бреда на Лидию находил припадок ревности.

— Что вы на меня смотрите? — говорила она,— вы дожидаетесь, скоро ли я умру. Вы любите друг друга... я это знаю. Только берегись, Зинаида! он ужасно хитр и ужасно зол; он и тебя обманет... У него много бумаг, разных бумаг... он все пишет, пишет...

Слова ее превращались в рыдание или хохот.

Однажды в Казани небольшое общество чиновников сидело за чайным столиком: все люди должностые, давно служащие, что говорится, *кореняки:* между ими несколько дам, а между дамами и наша Марья Ивановна. Разговор шел дельный: толковали о том, кто как сделал свою карьеру; рассказано было многое в пользу случая, а многое в пользу ума и сметливости.

— Нет! — сказал полковой лекарь, который любил играть ролю балагура и, мимоходом будь сказано, несколько приволакивался за Марьей Ивановной, как она очень тонко дала мне это почувствовать.— Нет, нет,— сказал он,— я узнал недавно штуку, так уж чудо как хитра! На днях, разбирая бумаги покойного брата (у него незадолго перед тем умер брат, уездный стряпчий), я нашел письмо одного человека, немалозначащего чиновника в Москве,— так уж могу сказать, удивительную вещь придумал! Как вы думаете? У него есть свояченица, сестра его жены, девушка небедная; имение у них еще не разделено, вместе обе части составляют, как видно, богатый кус, и он в него порядочно запустил лапки; но вот зятюшка-то думает и гадает: неравно она, окаянная, выйдет замуж, муж потребует половины имения, а с именьицем-то расстаться жаль. Как тут быть? Как вы думаете, что тут делать?

Все призадумались.

— Купить у нее за бесценок,— сказал старый советник палаты.

— Нет, Флор Игнатьич! — отвечал лекарь,— это все старина; нынче люди поумнее, потоньше стали! Купишь за бесценок — молва будет, репутации повредишь; нынче умный человек разные обороты имеет — на такие хитрости подымается, что век гадай, не отгадаешь. Вот что он выдумал, господа: он подъехал к свояченице с турусами на колесах, свел девку с ума, да и отбивает от нее женихов, а между тем в нераздельном имении то крестьян переведет, то пустошь обменяет, то людей на волю выпустит — вот какой молодец!

Марья Ивановна вздрогнула и, как сама она говорила, ей при рассказе лекаря что-то под сердце подступило: но

на эту минуту со всею женскою хитростию она скрыла свое волнение.

Не знаю уж, какие средства Марья Ивановна употребила для убеждения своего обожателя, но только чрез несколько дней таинственное письмо очутилось в ее руках и в подлиннике летело в Москву на имя княжны Зинаиды.

Между тем в Москве Лидия с каждым днем ослабевала; доктора называли ее болезнь изнурительною чахоткою и другими латинскими, французскими и немецкими названиями, с утешительным замечанием, что она неизлечима.

Однажды, когда Зинаида вышла в переднюю, чтоб поскорей послать с рецептом в аптеку, незнакомый человек вошел, спрашивая: не здесь ли живет княжна Зинаида Петровна?

— На что вам ее?—спросила княжна.

— Я имею поручение,—отвечал незнакомец,—отдать ей письмо очень важное.

— Пожалуйте мне его,—сказала Зинаида.

— Я должен отдать ей собственноручно.

— Я сама княжна Зинаида.

Она подумала, что это письмо какого-нибудь бедного, и не затруднилась принять его; развернула его, быстро пробежала—едва ноги у нее не подкосились! В другой комнате послышались шаги; она проворно спрятала письмо под косынку; незнакомец между тем удалился.

В тот же день княжна, жалуясь на головную боль, попросила кареты проехаться. Лицо ее было бледно, но спокойно. Городков приписал ее бледность нескольким ночам, проведенным без сна, и советовал ей поберечь себя. Княжна отвечала ему улыбкою. «Я постараюсь,— сказала она,—сохранить себя для вас». В последнем слове было особое выражение. Городков нежно поцеловал у нее руку. Княжна села в карету и отправилась к одной из своих приятельниц.

— Ты должна оказать мне услугу,—сказала ей княжна,—и услугу важную: вели заложить свою карету и вези меня к предводителю дворянства.

Приятельница княжны не могла прийти в себя от изумления; любопытство ее было сильно встревожено, но она не могла добиться от княжны никакого ответа. Они оставили карету княжны Зинаиды на дворе, а сами поехали, не сказав у подъезда куда. Приехав в дом предводителя, княжна оставила свою приятельницу в гостиной, а сама с неженскою смелостью пошла прямо в кабинет.

— Ваше превосходительство!—сказала она твердым и несколько торжественным голосом.—Вы поставлены от правительства для защиты сирот...

Предводитель, пораженный таким необыкновенным тоном, улыбнулся и сказал:

— Что с вами, княжна? за кого вы так горячо вступаетесь?

— За тех,— отвечала княжна Зинаида,— за которых некому, кроме меня, вступиться. Не смейтесь, бога ради, и не удивляйтесь тому, что буду говорить! Забудьте, что я девушка! В эту минуту в нескольких шагах от вас совершается преступление, которого никакой закон не может предвидеть, ни наказать, но которое может предупредить твердая воля человека.

Предводитель слушал княжну с возрастающим изумлением.

— То, что я вам скажу, должно остаться между нами: у меня умирает сестра, у ней остается ребенок. Я прошу вас быть у него опекуном.

— Помилуйте,— отвечал предводитель,— у ребенка остается отец!

— Этот человек,— отвечала княжна в сильном волнении,— не заслуживает доверенности ни правительства, ни честных людей.

Предводитель остолбенел; одумавшись, он отвечал:

— Позвольте, однако ж, княжна! ваши слова слишком сильны: но если б я и поверил им, то, по законам, я могу быть только назначен в помощь Владимиру Лукьяновичу, и то, если на это будет согласие матери.

— Согласие матери?— сказала княжна с беспокойством.— Вы, как благородный человек, и в этом должны мне помочь; что надобно для этого?

— Надобно, чтоб она назначила меня в духовном завещании в помощь своему мужу.

— Вы должны к ней ехать вместе со мною.

— Помилуйте, вам ближе это сделать.

— Я не могу, она мне не поверит. Прибавлю к этому, что вы должны вместе с духовным отцом говорить с нею и, не забудьте, в отсутствие ее мужа.

— Признайтесь, княжна, что вы ставите меня в самое затруднительное положение: заставляете ехать секретно к умирающей женщине для того, чтоб заставить ее сделать то, что может быть неприятно ее мужу, человеку почтенному, уважаемому в целом городе. Нет, воля ваша, княжна, я на это не согласен.

Княжна была в отчаянии.

— Почтенного... уважаемого...— повторяла она,— когда я вам говорю, что он без чести, без совести...

— Но где ж доказательства?— сказал наконец предводитель, вышедши из терпения.

— Доказательства! — воскликнула княжна,— доказательства! у меня есть доказательства, и неоспоримые. Но умоляю вас — дайте мне честное слово, что вы никогда не откроете тайны, которую я вам поверю.

— Даю вам слово честного и благородного человека.

Княжна несколько минут была в недоумении; наконец, скрепив сердце и произнеся про себя: «господи, еще жертва!..» — сказала: — Читайте, сударь!

Письмо Городкова к покойному казанскому уездному стряпчему:

«М. Г. и почтеннейший товарищ, Фома Иванович! Премного и чувствительно я одолжен вам за исполнение всех моих комиссий: истинно вы показываете свою старую дружбу и приязнь. Ваше благорасположение ко мне осмеливает меня просить вас: по-первых, прочесть сие письмо поотдаль от всех, ибо я имею сообщить вам нечто весьма секретное, для чего и письмо сие посылаю не по почте, но с верною оказией. Предупреждаю вас, что по ходу дел мне надобно объяснить вам мое положение в подробности, но это дело весьма деликатное; почему я в будущих письмах уже не буду прибегать к объяснениям, кои не всегда могут быть удобны, а уже по этому письму, почтеннейший, понимайте то, о чем впоследствии буду только намекать. Неоднократно я уже относился к вам, почтеннейший товарищ и однокорытник, поспешить окончанием продажи леса при селе Анисовке;[1] вы пишете ко мне, что, несмотря на мое согласие, остановили продажу, потому что считаете цену слишком дешевою и боитесь, чтобы я не переменил мыслей. Я за такой знак приязни вас чувствительно благодарю, но мои обстоятельства не позволяют мне ждать других покупщиков; я вынуждаюсь объяснить вам откровенно, с тем, разумеется, чтобы сие сохранилось в величайшей тайне и никому не было поверено. Описание сих обстоятельств убедит вас, почтеннейший друг, сколько необходимо нужно поспешать, ибо случай, как говорили древние писатели, плешив,— тотчас из-под руки выскользнет. Вы знаете, почтеннейший, что у меня собственно за мною ни кола ни двора; чтобы поправить мое состояние и сделать себе карьеру, я, как вам небезызвестно, долго искал себе невесты; наконец бог мне послал жену, правда, глупенькую, но небезбедную, как вам также известно. Пока положение мое недурно, я на хорошей дороге, и в связях, и в родстве, и, благодаря

[1] Общее имение обеих сестер *(Примеч. В. Ф Одоевского.)*

бога, могу не только себе, но и приятелям моим быть полезен. Но, любезнейший друг, вникните хорошенько в мое положение. Вы знаете:

Все на свете сем не прочно;

должно помышлять о будущем; умри жена — чего боже сохрани! — я опять, с позволения сказать, останусь гол как сокол! Правда, есть у нас ребенок, но и ребенок — чего боже сохрани! — может умереть; да если останется жив, то все я буду ни при чем, а разве при его милости. Это бы еще ничего, да опека, почтеннейший!.. Знаю, что и с нею можно концы с концами свести, но все хлопотно, опасно... хотелось бы иметь свое, отдельное, независимое... понимаете, любезнейший друг! Для сего-то я и желаю, елико возможно, поспешить продажею леса — хотя бы то было за бесценок — лишь бы не пропустить случая, когда дают чистые деньги; а вы знаете: чистоган святое дело! Да к тому же, признательно вам сказать, я не знаю, зачем мне упускать из вида и другую половину имения, когда бог его так кстати мне посылает, тем более что обе половины вместе — настоящий объект, а врозь уже гораздо теряют свою цену. Тут дело, почтеннейший, повторяю вам за тайну, так сказать, пределикатного свойства. Извольте видеть, ведь свояченица может выйти замуж — понимаете?.. Правда, она ко мне, с позволения сказать, на шею вешается; я, разумеется, как благородный человек, не стараюсь воспользоваться ее слабостью, но, с другой стороны, смотря на сие обстоятельство с сурьезной точки зрения, нахожу его весьма сообразным с моими намерениями. А между тем и то приходит в ум, что все-таки ей мужем быть не могу; но, не равен час, может подвернуться какой-либо смазливенький,— тогда, вы сами понимаете, почтеннейший, беда, да и только. Мне необходимо воспользоваться временем, пока в моих руках доверенность от обеих сестер на нераздельное управление общим имением. Во всех отношениях для меня нужно спешить. Все для меня опасно — выйдет ли свояченица замуж, или не выйдет: на грех мастера нет. Мало ли что может случиться!.. Боюсь зазору, молвы людской; вы знаете — я человек благородный, с амбициею; хочу, чтобы под меня нельзя было иголки подпустить; так и дорожу своей репутацией. Все сие пишу к вам, как к другу, и прошу вас покорнейше по прочтении сего письма оное уничтожить и в ваших письмах ко мне не упоминать о моих обстоятельствах иначе, как весьма аллегорически. Постарайтесь, почтеннейший, тотчас по совершении купчей на лес немедленно доставить мне свидетельство на

залог всего имения, о чем я уже к вам писал. Бога ради, поспешайте, елико возможно; денег не жалейте, только бы не замедлили. Прежде взятья свидетельства спросите у Клементья Федорова, хочет ли он выкупиться, или нет; если хочет. то деньги бы выслал ко мне немедленно; иначе я должен буду принять свои меры. Прощайте, почтеннейший! не замедлите вашим ответом. Извините, что я обременяю вас своими комиссиями; но что делать, почтеннейший! живой о живом и помышляет. Я человек благородный и нравственный: никогда для своей выгоды, даже если бы не имел и дневного пропитания, не в состоянии прибегнуть к непозволенному средству; но, с другой стороны, было бы слишком глупо и не воспользоваться теми видами. кои ныне представляются. Повторяю мою просьбу об уничтожении сего письма. Прекратя все сие, честь имею быть с совершенным почтением и таковой же преданностию ваш истинный друг и слуга

В. Городков».

Пока это письмо было читано предводителем, княжна Зинаида не сводила с него глаз. Она знала письмо наизусть; она следовала за каждым словом; она видела краску, выступившую на лице ей почти незнакомого человека, видела его полуулыбку, когда глаза его дошли до того места, которое относилось к княжне,— она все это видела. Все, что она перенесла, сколькими годами постарела в эти немногие минуты,— рассказывать не нужно.

Прочитав письмо, предводитель сказал:

— Теперь я на все согласен: располагайте мною как хотите.

В тот же день, в минуту, когда Городкова не было дома, предводитель, духовный отец и двое свидетелей были в комнате Лидии; она подписала завещание, в котором предводитель был назначен душеприказчиком и опекуном в помощь Владимиру Лукьяновичу, а дети сверх того вверялись особому попечению княжны Зинаиды. Когда все кончилось и все бывшие в комнате умирающей удалились, возвратился Владимир Лукьянович. Предводитель, встретившись с ним в дверях, холодно поклонился и сказал, что он не замедлит к нему отнестись официально как душеприказчик жены его. Владимир Лукьянович уже знал о вчерашней поездке Зинаиды; теперь загадка для него разгадалась, но только вполовину. Взволнованный, взбешенный, он побежал в комнату Зинаиды, но за дверью остановился и, приняв на себя нежно-печальный вид, вошел тихими шагами.

— Что это значит, княжна? вы и мне не доверяете?—

сказал он, устремив на нее свои глаза, которых знал магнетическое действие.

Впервые и, верно, в последние, злобная улыбка появилась на устах княжны. Она посмотрела на своего обожателя с презрением и бросила ему в лицо письмо его к казанскому стряпчему...

Положение Городкова было затруднительно. Благоразумие требовало немедленно бежать в комнату больной, расспросить ее, заменить старое завещание новым,— но уже Лидия была без языка. Несколько мгновений — и ее не стало. Кончина человека поражает невольно самое загрубелое сердце; в эту минуту остающийся в живых смотрит на окружающих, ищет в их глазах убеждения в жизни... Городков встретил лишь холодный, укоряющий взор Зинаиды.

Прошли дни похорон. В доме все вымыто, выметено, накурено; аптекарские стклянки выброшены за окошко, мебель поставлена на место, в стекла светит солнце, на кухне готовят кушанье... Городков ожил; сперва стенания его слышались только за дверью; потом, в рассчитанное с толком время, двери для приезжающих утешителей отворились. Владимир Лукьянович плакал и вздыхал уже официально; мимоходом он принимал на себя вид оскорбленной невинности и легкими намеками наводил черную краску на княжну Зинаиду. Между тем к ней был послан управитель с низким поклоном и извещением, что барин хочет переселиться в занимаемые ею комнаты, потому что, дескать, ему очень тяжело оставаться в тех, где находилась покойная Лидия Петровна.

Зинаида оставила дом, переехала к одной приятельнице — у княжны не было ни копейки денег.

Мало-помалу приезжающим утешителям было растолковано, что княжна Зинаида в последнее время оказала очень дурной характер; что она старалась овладеть больною сестрою и выманить у покойницы разные щедроты в изъян мужу и детям; что даже при ее заносчивом характере опасно было оставлять ее при ребенке, и прочее тому подобное. Эти краски очень хорошо ложились на приготовленную растушевку.

Наступило время чтения завещаний. Их было два: первое предоставляло Городкову неограниченное право располагать детьми и имением, второе — то, о котором я говорил выше. Оно одно, как последнее, имело законную силу.

Городков, выслушав все, хладнокровно сказал:

— Я весьма радуюсь, что имею в почтенном Иване Гавриловиче (имя предводителя) столь достойного помощника; но долгом считаю объявить, что покойница состояла мне должною на такую сумму, которая превосходит цену имения. Если бы мне, отцу (это сказано было сквозь слезы), было оказано больше доверенности и не было никакого постороннего вмешательства, я бы изорвал заемные письма: на что мне они? разве я не отец моему ребенку? Но теперь я считаю себя в обязанности предъявить их, дабы иметь право предохранять от постороннего управления достояние моего ребенка.

Все эти слова были произнесены тоном достойным, благородным и трогательным. Они произвели видимое действие на всех слушателей: многие из них плакали, другие с негодованием говорили об *интриганке* Зинаиде.

Одна она не потеряла головы.

— Неправда! — сказала она, когда предводитель почти упрекал ее, что она посвятила его в дураки, — неправда! сестра не могла быть ему должною — ему нечего ей дать; я буду доказывать пред судом безденежность заемных писем.

— Как, княжна! вам, девушке, входить в процесс с мужем вашей сестры?

— Так вы подайте просьбу...

— Это легко сказать: какие доказательства могу я представить в безденежности этих заемных писем? Знаете ли, к чему ведет это? Ведь Городкова надобно будет обвинить в бесчестном поведении...

— А вы еще сомневаетесь в этом, после письма его?..

— Да, письмо! разве письмо бы годилось. Но подумайте о себе: оно компрометирует вас...

— Что нужды! — отвечала она, но потом, одумавшись, спросила с трепетом: — Это письмо необходимо?

— Необходимо.

— Оно — у Городкова!

У опекуна опустились руки. Он решительно отказался от всякого процесса.

Княжна была в отчаянии, но не теряла духа. Без денег, без друзей, поражаемая светской болтовней, негодованием честных, но обманутых людей — она начала процесс о безденежности заемных писем, данных ее сестрою. К такому действию ее еще более понуждала открытая ею связь Городкова с одною безнравственною женщиною, которая, перехитрив и самого Владимира Лукьяновича, вытягивала из него деньги и, наверное, должна была обвенчать его на себе. Необходимость иметь капитал для такого процесса заставила княжну завести

другой — о разделе имения, а к этому процессу третий — о разорении, сделанном Городковым в имении. И во всех гостиных, в присутственных местах толковали, смеялись, порицали девушку, которая забыла стыд, обложила себя указами, окружила себя стряпчими, приказными; болтливость и клевета прибавляли к сему тысячи оскорбительных небылиц, которые имели вид истины.

Посреди самого разгара этого дела в Москву возвратился из Парижа дядя обеих сестер, князь З... Княжна бросилась к нему, как к своему избавителю: она рассказала ему всю историю — рассказала с жаром, с чувством, с силою. Старый князь, чопорный, чинный, в коричневом фраке с иностранною звездою, сначала ничего не понимал; но жар, с которым говорила его племянница, как-то подействовал на его благоприличную душу: он сам ни с того ни с сего разгорячился и начал приговаривать:

— Comment donc! nous lui ferons rendre, gorge mordicus![1]

Один мой приятель сделал очень глубокомысленное замечание, а именно: что есть люди, которые очень умны, когда говорят по-французски, и делаются невыразимо пошлы и глупы, как скоро заговорят по-русски. Это довольно странно, но справедливо и понятно. Мы учимся не языку, но только заучиваем тысячи фраз, сказанных на этом языке умными людьми; говорить хорошо по-французски — значит повторять эти тысячи готовых фраз; эти фразы и мешают мыслям и избавляют от своих собственных; вы слушаете, чужой ум выглядывает из болтовни, обманывает вас: кажется — дело, переведите по-русски — пустошь, ни к селу, ни к городу. Князь принадлежал к числу таких людей. Едва ввалился он в гостиные, как посыпались к нему со всех сторон нарекания на Зинаиду; добрый князь обомлел. Едва заговорил он по-русски с деловыми людьми, как и совсем потерялся; в голове его осталось только одно, что племянница его играет самую смешную, самую неприличную ролю — un rôle ridicule et peu convenable![2]

Князь счел долгом принять на себя достойный вид старшего родственника и, положив одну ногу на другую, преподать княжне нужные, спасительные советы самым чистым парижским наречием, с заветными поговорками и с особенною интонациею, которая так несносно скучна в разговоре и природных французов.

Хотя он с княжною говорил и по-французски, след-

---

[1] И как еще! мы у него все вырвем обратно, черт побери! *(фр.)*
[2] Роль смешная и неприличная! *(фр.)*

ственно очень умно, но не убедил ее; она продолжала начатое, и в гостиных явился ее новый гонитель — ее собственный дядя: он пожимал плечами, поутру уверял встречного и поперечного, что он в этом деле умывает руки, а вечером, вздыхая, ездил смотреть французские водевили.

Однажды к княжне Зинаиде явился ее стряпчий.

— Ваше сиятельство,— сказал он,— вам остается теперь одно: *очистительная присяга*,— и я долгом считаю вас уведомить, что ваш соперник, говоря, что для детей отец должен на все решиться, не прочь от такой присяги.

— Что такое очистительная присяга?

— Вы должны будете идти с большой церемонией в церковь и публично присягать в истине вашего показания касательно безденежности заемных писем...

Княжна окаменела при таком известии. Это было слишком!

Но твердость ее не оставила; она готова была принести и эту жертву любимому ей ребенку, но ее спасло одно из тех нечаянных происшествий, которые неправдоподобны, но очень просто разрешают, по воле провидения, самые трудные задачи. Городкова разбили лошади — и он умер. При последнем издыхании он не хотел или не успел испросить прощения Зинаиды.

Смерть Городкова возвратила все права несчастной девушке над ее племянницею. Она взяла ее к себе, не выходит замуж и все минуты жизни посвящает на ее воспитание: а в гостиных толкуют, что она, расстроив свое семейство, теперь надела маску и играет роль нежной родственницы, чтобы прикрыть старые грехи и между тем воспользоваться имением племянницы.

— Вот что я узнал,— продолжал мой приятель,— от Марьи Ивановны. Разумеется, она рассказывала все это гораздо короче, нежели как я тебе сказываю. Но ты человек аккуратный — тебе надобно было знать все подробности. Этот рассказ возбудил во мне сильное любопытство познакомиться с столь необыкновенною женщиною, которая в малом семейном круге умела показать более благородства и твердости души, нежели многие мужчины на поприщах более возвышенных.

У графини Дарфельд бывали по вторникам маскарады. В тогдашнюю зиму на маскарады была мода; все рядились, мистифировали друг друга, танцевали и волочились без ума; под снега севера перенеслись все обольстительные прелести старинных итальянских маскарадов.

Однажды я с любопытством осматривал пестрый мир, вертевшийся вокруг меня, и почти с досадой отгрызался

от масок, которые не давали мне покоя. «Княжна Зизи здесь»,— сказал кто-то за мною.— «Где? где?» — спросил другой. «Вот сидит в зеленом домино; моя племянница с нею».

Этого разговора с меня было довольно; я отправился к зеленому домино... В жизни я не видывал такой стройной талии, таких прекрасных ножек, которые, ты знаешь, в женщине для меня — почти все; из-под капюшона были видны знакомые мне черные, мелкие кудри, а в отверстиях маски горели живые, блестящие глаза.

— Позвольте мне вас мистифировать,— сказал я,— хотя я и без маски.

Я сел подле княжны и ни с того ни с сего принялся рассказывать ей всю ее историю со всеми подробностями. Княжна была встревожена моим рассказом; но участие в ней, уважение к ее подвигу, которым дышало каждое мое слово, ее тронуло. Когда я окончил, она мне сказала:

— Благодарю вас; вы мне доставили первое наслаждение в жизни: видеть, что клевета не совсем могла очернить меня и что есть люди, убежденные в чистоте моего сердца.

На следующий вторник мы встретились уже как знакомые. Разговор княжны был жив, умен и занимателен; я не замечал, как проходили часы и как посматривали на нас любопытные.

На третий вторник я счел уже нужным также нарядиться в домино, чтобы спокойнее говорить с княжною...

Что тебе рассказывать! Чрез несколько времени быть с княжною сделалось для меня необходимостию; тщетно я искал ее в гостиных: она выезжала только в маскарады — без домино она боялась показываться в свете и сначала лишь под маскою хотела к нему привыкнуть.

Однажды, после долгого вечера, который я считаю одним из счастливейших в моей жизни, сходя с подъезда, я сказал ей:

— Княжна! мне тяжело видеть вас только один раз в неделю; позвольте мне быть у вас.

Она задумалась и потом отвечала:

— Это невозможно!

— Почему же?

— Я живу почти одна. Вы знаете Москву и знаете, что заговорят, если вы будете ко мне ездить.

Эти слова заставили меня в мою очередь задуматься.

— Послушайте,— сказал я,— не сочтите меня ветреным, легкомысленным. Что вам до толков? Неужли нет средства посмеяться над клеветниками?

— Как же?—спросила она почти с насмешкою.

Эта насмешка рассердила меня. Я говорил, говорил— и, сам не знаю, как сказал ей, что я влюблен в нее до безумия, и предложил ей свою руку.

Княжна вздохнула.

— И я люблю вас, молодой человек,—отвечала она,— но вы знаете, что о таком деле надобно подумать...

Тут закричали карету с условленным именем; княжна поспешно меня оставила, говоря:

— До будущего вторника! ко мне пока я вам ездить запрещаю...

В эту ночь я прошел все степени любовного безумия: я и писал несколько писем, и бросался в кресла, и закрывал себе лицо руками, и бродил из угла в угол—и... как все это у вас описывается?

К утру не стало мне больше сил. Я бросился в карету и велел ехать к княжне Зинаиде; она заставила меня довольно долго ждать у подъезда, но наконец меня приняли. Я взбежал на лестницу как угорелый, и первый предмет, который бросился в глаза в гостиной, была княжна—и в своем домино.

— Вы не исполнили моей просьбы,—сказала она,— что делать! Но за то я хочу наказать вас, вы будете говорить со мною, но не увидите меня...

Я бросился к ней и стал умолять, чтобы она сняла маску; чего уже тут я наговорил, не помню, потому что был в совершенном бреду.

— Сядемте,—сказала она мне,—и поговорим; дело серьезное... Вы любите меня, молодой человек; я вам верю, верю чистой, юной, прекрасной душе вашей; когда смотрю на вас, мне приходит на мысль, что я бы могла еще быть счастливою в жизни... да, сударь, я к вам почти неравнодушна... вы воскресили для меня старые, забытые чувства... как бы я желала продолжить эту минуту...

Я был вне себя, целовал ее руку, дыхание мое захватывало.

— Постойте!—сказала княжна,—в этом деле есть препятствие, и очень важное...

— Препятствие!—сказал я,—какое? Вы свободны.

— Препятствие небольшое, но важное,—повторила княжна со смехом, срывая с себя маску,—мне сорок, а вам едва ли восемнадцать! Моя племянница вам ровесница и уже замужем! Жаль мне разрушить свое и ваше очарование, но—вы опоздали, и я также; мне не суждено этого рода счастия в жизни, вы—найдете другое.

— Что тебе рассказывать далее!—продолжал мой приятель.—Я было принялся выдумывать пошлые фразы о том, что я молод на лицо, что неравенство лет не мешает счастью, и прочее тому подобное; но мои слова как-то не вязались, а княжна грустно и насмешливо забавлялась моим смущением... На другой день я уехал из Москвы—а теперь мне пора ехать за акциями.

Он взял шляпу.

— Постой! постой!—кричал я ему вослед.— Как же ты не догадался о летах княжны по письмам?

— Разве я тебе не сказал, что получил их после всей этой истории?—отвечал мой приятель.

ПРИВИДЕНИЕ

Ник. Вас. Путяте

...Нас сидело в дилижансе четверо: отставной капитан, начальник отделения, Ириней Модестович и я. Два первые чинились и отпускали друг другу разные учтивости, изредка принимались спорить, но ненадолго: Ириней Модестович говорил без умолка; все — мимо проехавший экипаж, пешеход, деревушка — все подавало ему повод к разговору; на радости, что слушателям нельзя от него выскочить из дилижанса, он рассказывал сказку за сказкой, в которых, разумеется, домовые, бесы и привидения играли первую ролю. Я не мог надивиться, откуда он набрался столько чертовщины,— и преспокойно дремал под говор его тоненького голоса. Другие товарищи скуки ради слушали его не без внимания — а Иринею Модестовичу только того и надо.

— Что это за замок? — спросил отставной капитан, выглядывая из окошка,— вы, верно, знаете про него какую-нибудь курьезную историю,— прибавил он, обращаясь к Иринею Модестовичу.

— Я про него знаю,— отвечал Ириней Модестович,— точно такую же историю, какую можно рассказать про многие из нынешних домов, т. е. что в нем люди жили, ели, пили и умерли. Но этот замок напоминает мне анекдот, в котором такой же замок играет важную ролю. Вообразите себе только, что все, что я вам буду рассказывать, случилось именно под этими развалившимися сводами: ведь это все равно — была бы вера в рассказчика. Все путешественники по большей части так же рассказывают свои истории; только у них нет моей откровенности.

В молодости моей я часто хаживал в дом к моей соседке, очень любезной женщине... Не воображайте тут ничего грешного: соседка моя была уже в тех летах, когда женщина сама признается, что пора ее миновалась. У ней не было ни дочерей, ни племянниц; дом ее был похож на все ***ские дома: три, четыре комнаты, дюжина кресел, столько же стульев, пара ламп в столовой, пара свечей в гостиной... но не знаю, было что-то в обращении этой женщины, в ее самых обыкновенных словах, я думаю, даже в ее столе красного дерева, покрытом клеенкою, или в стенах ее дома,— было нечто такое, что каждый вечер нашептывало вам в уши: пойти бы сегодня к Марье Сергеевне. Это испытывал не я один: в длинные зимние вечера к ней сходились незваные гости, как будто заранее согласившись. Наши занятия были самые обыкновенные: мы пили чай и играли в бостон: иногда перелистывали журналы; но только все это нам веселее было делать у Марьи Сергеевны, нежели в другом доме; это нам самим казалось очень странно. Все дело, как я теперь догадываюсь, состояло в том, что Марья Сергеевна не навязывалась никому ни с тяжбами, ни с домашними хлопотами, не любила злословия, не сообщала никому своих замечаний о происшествиях в околотке, ни о поведении своих слуг; не старалась вытянуть из вас того, что вы хотели скрыть; не осыпала вас нежностями в глаза и не насмехалась над вами, когда вы вышли за дверь; не сердилась, когда кто из нас в продолжение полугода не являлся в ее гостиную, и даже забывал дни ее именин или рождения; не имела ни одной из тех претензий и причуд, которые делают общество ***вских дам нестерпимым; не была ни ханжа, ни суеверна; не требовала от вас, чтобы вы то-то думали и о том-то говорили; не приходила в ужас, когда вы были противного с нею мнения; не требовала от вас никаких пожертвований; не усаживала насильно за карты или за фортепьяно,— понимала терпимость во всем ее значении; в ее гостиной всякий благородный человек мог делать, думать и говорить все, что ему было угодно;— словом, в ее доме царствовал хороший тон, тогда редкий в ***ских обществах и которого сущность до сих пор немногие понимают. Я сам живо чувствовал различие в обращении и в жизни Марьи Сергеевны с другими женщинами, но не умел этого впечатления выразить одним словом.

— Позвольте вас остановить,— сказал начальник отделения.— Как это,— будто бы уж хороший тон состоит в том, чтобы хозяйка не занималась гостями? нет, помилуйте,— мы сами бываем в наилучших компаниях... я с вами поспорю. Как это можно! как это можно!..

— Говорят,—отвечал Ириней Модестович,—что где обращение хозяйки простее, там гостям просторнее и спокойнее,—и что человека, привыкшего к хорошему обществу, всегда узнают по простоте его обращения...

— И я того же мнения,—прибавил отставной капитан,—терпеть не могу всех этих вычур! Бывало, на вечерах у нашего бригадного генерала не расстегнись, не пошевельнись; тоска, да и только! То ли дело, как сойдешься с своим братом: мундир долой, бутылку рома на стол—и пошла потеха...

— Нет, воля ваша,—возразил начальник отделения,—не могу с вами согласиться! Что это такое простота? Простота! для простоты довольно своего дома; но в свете приятно показать свое обращение, свое уменье жить с людьми, уменье каждое слово весить на весах, чтобы в каждом вашем слове можно было заметить, что вы не неуч какой-нибудь, а человек благовоспитанный...

Ириней Модестович находился в совершенном недоумении между этими двумя противоположными полюсами и выдумывал средство, как бы не попасть ни в пуншевую беседу, ни в компанию благоприличного господина. Видя смущение моего приятеля, я вмешался в разговор.

— Однако ж этак,—сказал я,—мы никогда не дойдем до конца нашей истории. На чем, бишь, вы остановились, Ириней Модестович?..

Наши противники замолчали, потому что оба были довольны собою: начальник отделения был уверен, что в прах разразил все рассуждения моего приятеля; а капитан, что Ириней Модестович одного с ним мнения.

Ириней Модестович продолжал:

— Я, кажется, сказал вам, что мы, сами не зная каким образом, почти каждый вечер сходились к Марье Сергеевне, не сговариваясь заранее. Должно, однако ж, признаться, что такие импровизации, как все импровизации в свете, не всегда нам удавались. Иногда сходились такие, из которых двое играли только в вист, а два другие только в бостон, одни играли в большую, другие в маленькую—и партии не могли состояться.

Так случилось однажды, как теперь помню, в глубокую осень. Дождь с изморозью лился ливмя, реки катились по тротуарам, и ветер задувал фонари. В гостиной, кроме меня, сидели человека четыре в ожидании своих партнеров. Но партнеров, кажется, испугала погода, а мы между тем занялись разговором.

Разговор, как часто случается, переходя от предмета к предмету, остановился на предчувствиях и видениях.

— Так, я и ждал этого! — вскрикнул начальник отделения, — без привидений у него не обойдется...

— Нет ничего мудреного! — возразилИриней Модестович, — эти предметы обыкновенно привлекают общее внимание; наш ум, изнуренный прозою жизни, невольно привлекается этими таинственными происшествиями, которые составляют ходячую поэзию нашего общества и служат доказательством, что от поэзии, как от первородного греха, никто не может отделаться в этой жизни.

Почтенный чиновник значительно кивнул головою, желая показать, что он совершенно вникнул в значение этих слов. Ириней Модестович продолжал:

— Уже были рассказаны по очереди все известные события в этом роде: о людях, являвшихся после смерти; о лицах, которые заглядывают к вам в окошко в третьем этаже; о танцующих стульях и о прочем тому подобном.

— Один из собеседников во все продолжение этого рассказа хранил глубокое молчание, и лишь исподтишка улыбался, когда мы вскрикивали от ужаса. Этот господин, уже весьма пожилых лет, был закоснелый волтерьянец старого века; он часто в наших спорах, не шутя, заключал свои доказательства каким-нибудь стихом из «Epitre à Uranie»[1] или из «Discours en vers»[2] Вольтера и удивлялся, когда и после этого мы осмеливались с ним не соглашаться: любимая его поговорка была: «Я верю только в то, что дважды два четыре».

Когда весь арсенал наших рассказов истощился, мы обратились к этому господину с насмешливою просьбою рассказать нам что-нибудь в том же роде. Он угадал наше намерение и отвечал:

«Вы знаете, что я терпеть не могу всех этих бредней: я в этом пошел по батюшке; ему вздумало однажды явиться привидение — и привидение во всем порядке: с бледным лицом, с меланхолическим взглядом; но покойник выставил ему язык, чему привидение так удивилось, что впоследствии уже никогда не осмеливалось являться ни ему и никому из нашего семейства. Я теперь следую батюшкиной методе, когда мне попадается в журналах романтическая повесть ваших модных сочинителей. Только я заметил, что они гораздо бессовестнее привидений и не перестают мне соваться в глаза, несмотря на все гримасы, которые я им строю; но не думайте, однако ж, чтоб я не мог также рассказать страшной истории.

---

[1] «Послание к Урании» *(фр.)*.
[2] «Рассуждение в стихах» *(фр.)*.

Слушайте ж. Я вам расскажу историю истинную; но бьюсь об заклад, что у вас волосы станут дыбом.

Лет 30 тому назад,— я тогда только что еще вступил в службу,— наш полк остановился в одном местечке; мы были в резерве; носились слухи, что кампания оканчивалась, и эти слухи подтверждались тем, что нас более месяца не трогали с места. Этого времени для военных очень довольно, чтоб подружиться с жителями. Я стоял в доме у одной зажиточной помещицы, премилой, веселой женщины и большой говоруньи. Мы жили с ней душа в душу. Почти каждый вечер у нее собирались гости, вот как сюда, и мы проводили время очень весело. В версте от этого местечка, на небольшом возвышении, находился старинный замок с полукруглыми окошками, с башенками, с вертушками, словом, со всеми этими причудами так называемой готической архитектуры, над которыми мы тогда смеялись, но которые, при нынешнем упадке вкуса, опять входят в моду. Тогда нам это и в голову не входило. Мы просто находили этот замок уродливым, каким он и был в самом деле, и сравнивали то с амбаром, то с голубятней, то с паштетом, то с сумасшедшим домом.

— Кому принадлежит этот кондитерский пирог?— спросил я однажды у моей хозяйки.

— Моей приятельнице, графине ***,— отвечала она.— Она премилая женщина; вам бы надобно познакомиться с нею... Графиня Мальвина прежде была очень несчастлива,— продолжала хозяйка,— много она вытерпела на своем веку. В молодости она влюбилась в одного молодого человека; но он был беден, хотя и граф, и ее родители никак не соглашались выдать ее за него замуж. Но графиня была пылкого нрава; она страстно любила молодого человека, и наконец не только убежала с ним из дома, но вышла за него замуж, что, по-моему, было совсем лишнее. Вы можете себе представить, сколько шуму наделало это происшествие. Мать графини была женщина самого сурового нрава, старого века, гордая знатностию своего происхождения, надменная, окруженная толпою ласкателей, привыкшая, в продолжение всей своей жизни, к слепому повиновению всех ее окружающих. Побег Мальвины был для нее сильным ударом; с одной стороны, неповиновение родной дочери приводило ее в бешенство, с другой, она видела в этом поступке вечное пятно своей фамилии. Бедная графиня, зная нрав своей матери, долго не смела ей казаться на глаза; письма ее оставались без ответа; она была в совершенном отчаянии; ничто ее не утешало: ни любовь мужа, ни уверения друзей, что гнев матери не может более продол-

жаться, особливо теперь, когда дело сделано.— Так протекло шесть месяцев в беспрерывных страданиях. Я часто видала ее в это время — она была на себя непохожа. Наконец она сделалась беременною. Беспокойство ее увеличилось. В это время обыкновенно нервы у женщин играют большую ролю: они чувствуют живее; всякая мысль, всякое слово тревожит их в тысячу раз более, нежели прежде. Мысль родить дитя под гневом матери сделалась для Мальвины нестерпимою; эта мысль душила ее, мешала ей спать, истощала ее силы. Наконец она не выдержала: «Что бы ни было,— сказала она,— но я брошусь к ногам матушки». Тщетно мы хотели остановить ее; тщетно мы советовали подождать родин и тогда, вместе с ребенком, предстать раздраженной графине; тщетно мы говорили ей, что вид невинного ребенка всего сильнее действует на сердца самые загрубелые,— наши слова не подействовали. Робость превозмогла, и однажды утром, когда еще все спали, бедная графиня незаметно вышла из дома и отправилась в замок, ворвалась в спальню, когда еще мать ее лежала на постели, и бросилась на колени.

Старая графиня была женщина странная; она принадлежала к числу тех существ, которых отгадать трудно. Никогда нельзя узнать, чего им хочется, а им самим, может быть, это всего труднее. На ее расположение духа действовало все ее окружающее: незначительное слово, полученное письмо, погода. Она то радовалась, то огорчалась от одних и тех же причин, смотря по этим маловажным обстоятельствам.

Первое действие, произведенное на графиню ее дочерью, был испуг. Со сна она не могла себе представить, что это была за женщина в белом платье, которая с рыданием хватала ее за колени и стаскивала с нее одеяло. Сначала графиня приняла дочь свою за привидение, потом за сумасшедшую, а наконец ее испуг превратился в досаду. Ее не тронули слезы дочери; ее не тронуло ее положение; ее не коснулось материнское чувство,— эгоизм торжествовал. «Прочь,— вскричала она.— Я не знаю тебя; проклинаю тебя!..» Бедная Мальвина едва не лишилась памяти, но материнское чувство придало ей силы. С трудом, но с выразительностию произнесла она прерывающимся голосом: «Кляните меня... но пощадите моего ребенка».— «Проклинаю тебя,— повторила раздраженная графиня,— и твоего ребенка! Пусть будет он тебе казнию!» Бедная Мальвина упала на пол замертво.

Этот обморок произвел на старую графиню больше действия, нежели все слова ее дочери. Графиня испуга-

лась снова. Ее причудливые нервы не могли снести этого вида. Она проворно вскочила с постели, позвонила, послала за доктором, и когда несчастная дочь очнулась, она уже была в объятиях своей матери. Все было прощено, забыто...

С тех пор Мальвина с своим мужем переселилась в замок. Она вскоре родила сына. Старая графиня, пристыженная своим недостойным поступком, казалось, сделала целию жизни утешать свою дочь всем, что только возможно человеку. Несколько раз она торжественно отрекалась от своей клятвы, написала это отречение на бумаге и заставила свою дочь носить его на себе в медальоне. Молодая графиня никогда его не снимает. Ее сын вырос, вступил в службу; но доныне старая графиня почитает себя в долгу пред своею дочерью и старается тешить ее как ребенка. Ее богатство дает ей все к тому нужные способы. Кажется, сама судьба старается загладить проступок старой графини. Недавно выиграли они процесс в несколько мильонов. Это дало им средство украсить свой замок всеми причудами роскоши. Чего вы там не найдете: и английский сад, и чудесный стол, и погреб со столетним венгерским, и фонтаны холодной и теплой воды, и мраморные полы, и зимние сады — рай, одним словом! балы и вечеринки не прерываются. Если хотите, я вас представлю графине: вы будете приняты с восхищением...

Что могло быть приятнее этого предложения для молодых офицеров, для которых, в продолжение полугода, все наслаждения мира ограничивались братскою попойкою в курной избе?

— А не худое дело! — заметил капитан, поглаживая усы.

На другой же день мы отправились к графине, были представлены нашею хозяйкою и имели случай увериться, что она нас не обманула. Дом был поставлен на истинно барскую ногу. Каждому из нас отвели особую комнату, в которых все было придумано для удобства жизни: прекрасная пуховая постель, которая казалась нам чудом после соломы; в каждой комнате ванна с холодными и теплыми кранами; все прихоти туалета; слуги, которые ходили на цыпочках и угадывали малейшее желание; каждый день чудесный обед с чудесными винами. Старая графиня, которая уже не вставала с кресел, была еще любезна, а так называемая молодая графиня, хотя ей было лет за сорок, была свежа, жива и вертлява, как пятнадцатилетняя девочка. Многие из наших почли за долг отпускать ей армейские нежности, а иные и по уши в

нее влюбились. Ее муж смотрел на это сквозь пальцы и, казалось, еще радовался, что его жена имеет случай кокетничать и возбуждает страсть молодых офицеров. Привычка к удовольствиям, беспрестанная рассеянность были необходимостию, жизнию в этом доме. От нас требовали только одного: есть и пить целый день и танцевать до упаду целую ночь. Мы катались как сыр в масле. Чрез несколько дней радость и удовольствие в доме удвоились. Приехал из отпуска сын молодой графини — славный, веселый малый. Он, подобно нам, также долго скитался по курным избам и со всей ненасытностью молодости предался удовольствиям, которые представлял ему домашний кров и круг веселого семейства.

Назначен был день нашего выступления, и хозяева захотели угостить нас последним великолепным балом. Приглашены были соседи и соседки из всех окружных мест; собирались иллюминировать сад и сжечь чудесный фейерверк. Накануне, посреди толкований о завтрашнем дне (ибо мы почти как домашние принимали участие во всех хозяйственных хлопотах), зашла речь, как теперь, о привидениях. Молодая графиня вспомнила, что есть одна комната в замке, которая с давних времен пользуется привилегией пугать всех жителей околотка разными страшными звуками и видениями. Эту самую комнату, за недостатком места, занимал сын графини. Он, смеясь, уверял, что до сих пор домовые производят на него одно действие: заставляют его спать богатырским сном. Мы, посмеявшись с ним вместе, разошлись по своим спальням. На другой день съехались в замок множество гостей. Мы начали танцевать едва ли не с десяти часов утра и танцевали вплоть до обеда, а после обеда вплоть до полуночи. Никто из нас не думал о том, что завтра в пять часов надобно было садиться на коня. Но, сказать правду, к концу дня мы были измучены донельзя и не без удовольствия заметили, что к первому часу гости стали уже разъезжаться. В комнатах становилось пусто: мы хотели также разойтись по спальням; но молодая графиня, для которой двадцать четыре часа танцев было то же, что выпить стакан воды, усердно упрашивала нас приглашать беспрестанно дам вальсировать, чтобы удержать разъезжающихся. Мы истощили последние силы, но наконец принуждены были просить дозволения у графини откланяться, ссылаясь на ее сына, который давно уже отправился в свою спальню.

— О, — сказала графиня, — что вам брать пример с этого лентяя! Надобно проучить его за его леность! Как

можно лечь спать, когда в зале еще столько хорошеньких дам! Пойдемте за мною!

Молодой человек спал тем беспокойным сном, какой обыкновенно бывает после дня, проведенного в беспрестанном движении. Скрип двери разбудил его. Но каково было его удивление, когда, при бледном свете ночной лампады, он увидел ряд белых привидений, которые приближались к его постели! Впросонках схватил он пистолет и вскричал: «Прочь, застрелю!» — но привидение, бывшее впереди, все приближалось к его постели и, казалось, хотело обхватить его своими распростертыми руками. В испуге ли, или еще не совсем пробужденный, молодой человек взвел курок, раздался выстрел...

«Ах, я забыла надеть матушкин медальон!» — вскричала Мальвина, падая. Мы все, одетые привидениями, бросились к ней, подняли простыню... Лицо ее было так бледно, что нельзя было узнать ее: она была смертельно ранена. В эту минуту далекий гул барабана известил нас, что полк уже выступает в поход. Мы оставили скорбный дом, в котором провели столько приятных дней. С тех пор я не знаю, чем все это кончилось; по крайней мере, если я и не видал никогда привидений, то сам был привидением, а это чего-нибудь да стоит. Все рассказы о привидениях в этом роде. Я чаю, бог знает что теперь об этом выдумали; а дело было просто, как вы видите». — И рассказчик засмеялся.

В это время один молодой человек, слушавший всю повесть с большим вниманием, подошел к нему. «Вы с большою точностию, — сказал он, — рассказали это происшествие; я его знаю, ибо сам принадлежу к тому семейству, в котором оно случилось. Но вам неизвестно одно: а именно, что графиня здравствует до сих пор и что вас приводила в комнату ее сына не она, но действительно какое-то привидение, которое до сих пор является в замке».

Рассказчик побледнел. Молодой человек продолжал:

«Об этом происшествии много было толков; но оно ничем не объяснилось. Замечательно только то, что все те, которые рассказывали об этом происшествии, умерли чрез две недели после своего рассказа». — Сказавши эти слова, молодой человек взял шляпу и вышел из комнаты.

Рассказчик побледнел еще больше. Уверительный, холодный тон молодого человека, видимо, поразил его. Признаюсь, что все мы разделяли с ним это чувство и невольно приумолкли. Тут хотели завести другой разго-

вор; но все не ладилось, и мы вскоре разошлись по домам. Чрез несколько дней мы узнали, что наш насмешник над привидениями занемог, и очень опасно. К его физическим страданиям присоединились грезы воображения. Беспрестанно чудилась ему бледная женщина в белом покрывале, тащила его с постели — и вообразите себе,— прибавил Ириней Модестович трагическим голосом,— ровно чрез две недели в гостиной Марьи Сергеевны сделалось одним гостем меньше!

— Странно! — заметил капитан,— очень странно!

Начальник отделения, как человек петербургский, привыкший ничему не удивляться, выслушал всю повесть с таким видом, как будто читал канцелярское отношение о доставлении срочных ведомостей.

— Тут нет ничего удивительного,— сказал он важным голосом,— многое бывает в человеке от мысленности, так, от мысленности. Вот и у меня был чиновник, кажется, такой порядочный, все просил штатного места. Чтобы отвязаться от него, я дал ему разбирать старый архив, сказавши, что дам ему тогда место, когда он приведет архив в порядок. Вот он, бедный, и закабалил себя; год прошел, другой,— день и ночь роется в архиве; сжалился я наконец над ним и хотел уже представить о нем директору, как вдруг пришли мне сказать, что с моим архивариусом случилось что-то недоброе. Я пошел в ту комнату, где он занимался,— нет его; смотрю: он забрался на самую верхнюю полку, присел там на корточки между кипами и держит в руках нумер.

«Что с вами? — закричал я ему,— сойдите сюда».— Как вы думаете, что он мне отвечал? «Не могу, Иван Григорьич, никак не могу: я *решенное дело!*» — И начальник отделения захохотал; у Иринея Модестовича навернулись слезы.

— Ваша история,— проговорил он,— печальнее моей.

Капитан, мало обращавший внимания на канцелярский рассказ, кажется, ломал голову над повестью о привидении, и наконец, как будто очнувшись, спросил у Иринея Модестовича:

— А что, у вашей Марьи Сергеевны пили ли пунш?

— Нет,— отвечал Ириней Модестович.

— Странно! — проговорил капитан,— очень странно!

Между тем дилижанс остановился; мы вышли.

— Неужели в самом деле рассказчик-то умер? — спросил я.

— Я никогда этого не говорил,— отвечал быстро Ириней Модестович самым тоненьким голоском, улыбаясь и припрыгивая, по своему обыкновению...

НЕОБОЙДЕННЫЙ ДОМ

(Древнее сказание о калике перехожей и о некоем старце)

Посв. В. А. Жуковскому

Давным-давно, в те годы, которых и деды не запомнят, на заре ранней, утренней шла путем-дорогою калика перехожая; спешила она в Заринский монастырь на богомолье, родителей помянуть, чудотворным иконам поклониться. Недолог был путь — всего-то верст десять, да старушка-то уж не та, что бывало в молодые лета; идет-идет да приостановится: то дух занимает, то колени подгибаются. Вот слышит она, в монастыре звонят уж к заутрене. «Ахти,— сказала она,— замешкалась я, окаянная; не поспеть мне к заутрене, хоть бы бог привел часов-то не пропустить». Смотрит — а к лесу идет тропинка прямо на монастырь. «Постой-ка,— подумала старушка,— дай бог память; я, кажись, в молоды лета по той по тропинке хаживала, ведь ею вдвое ближе, чем обходом идти». И старушка своротила в лес на хожалую тропинку. Так и обдало нашу калику смолистым запахом сосен, и силы ее подкрепилися.

Красное солнышко на восходе играет по прогалинам, птицы очнулись и кормят детенышей, медвяная роса каплет с ветвей; старушка идет да идет; благовест ближе да ближе, а лес все гуще да гуще. Идет она час, идет и другой, а все не видать конца леса; вот и благовест перестал, и тени от деревьев сделались короче — а все не может старушка выйти из леса; оглядывается: спереди тропинка, сзади тропинка, а кругом лишь темень лесная; ни жилья, ни былья, ни голоса человеческого, а у

старушки уже ноги едва двигаются и в горле пересохло; жажда томит, в глазах темнеет; но все идет она, едва шаг за шагом переступает; вдруг пахнуло на нее живым дымом, а вот невдалеке и лес проредел; старушка перекрестилась, закусила стебелек щавеля, и с того у калики словно силы прибавилось. Прошла с десяток шагов — перед нею поляна; посреди поляны дубовый дом с закрытыми ставнями, тесовы ворота на запоре — и не видать ни души христианской; у ворот скамеечка; калика присела и пригорюнилась. Вот залаяла в подворотне цепная собака, калитка отворилась, и вышел малой лет пятнадцати, подстрижен в кружок, в красной рубахе, ремнем подпоясан; он искоса посмотрел на старуху, отряхнул волоса, подпер боки руками и молвил:

— А кого тебе здесь надобно, старушонка?

— Ах, родимый; никого мне не надобно; шла я на богомолье в монастырь да заблудилась и из сил выбилась; не дай умереть без покаяния, дай водицы испить.

Молодой малый поглядел в раздумье на старуху, еще раз встряхнул головою, вошел в калитку и чрез минуту возвратился; в одной руке нес он ковш с ячным квасом, в другой — краюху свежего хлеба с бузою.

Старушка кваску прихлебнула, хлебцем закусила и стала как встрепанная. «Спасибо тебе, добрый человек,— сказала она,— душеньку отвел. Бог тебя наградит, что старуху призрел».

— Ты, однако же, не долго здесь калякай,— промолвил малой в красной рубахе.— Отдохнула и ступай своею дорогою; а то неравно хозяева наедут — несдобровать тебе, старушонка.

— Да кто же они такие, родимой?

— Да у нас здесь, бабушка,— отвечал малой улыбаючись,— веселы люди живут; зелено вино пьют, в зернь играют, красных девок цалуют, людей режут.

— Ах, родимый, родимый! Никола тебе навстречу — как же ты с такими людьми живешь?

— Э, бабушка, не твое дело. Ступай отсюда, пока жива; говорят тебе, наедут сюда хозяева, увидят, что чужие очи наш притон обозрили,— не спустят тебе. И я-то уж так сжалился над тобою оттого, что покойницу бабушку напомнила, которая, бывало, меня молодого на руках носила да пряником кормила... Ну, ступай же... вот этой тропинкой прямо уткнешься на монастырь.

— Иду, иду, родимый, кто бы ты ни был, спасибо тебе... награди тебя бог, вразуми тебя господь.

И опять пошла старушка путем-дорогою, идет час, идет и другой. «Не поспела к заутрене,— думает,— не

поспею и к ранней обедне; авось-либо бог приведет хоть у поздней помолиться».

Вот и солнце поднялось выше, роса обсохла, по лесу подымается душистый пар донника и божьей зари, рой мошек жужжит и кружится по прогалинам. А старушка идет да идет. Благовест все ближе да ближе, а лес все гуще да гуще.

Идет она час, идет и другой; уже почти нет теней от деревьев, и нет конца леса. Оглядывается: спереди тропинка, сзади тропинка, а кругом лишь темень лесная; ни жилья, ни былья, ни голоса человеческого. А старушка идет да идет,— вот впереди прояснилось, и лес проредел. «Слава богу,— думает,— насилу дотащилась!» Собрала последние силы... смотрит,— а пред ней опять та же поляна, а на поляне тот же дубовый дом с закрытыми ставнями, тесовы вороты на запоре — и не видать ни души христианской.

— Ах я, окаянная, опять заблудилась, опять к тому же месту пришла.

Делать нечего; старушка присела в тени и пригорюнилась; цепная собака залаяла в подворотню; калитка отворилась, и вышел парень лет тридцати пяти, в красной рубахе, ремнем подпоясан.

— А, здорово, старушонка, подобру ли, поздорову поживаешь; сколько лет, сколько зим с тобой не видались, а все я тебя тотчас узнал, ты ни на волос не переменилась... как была, так и есть!

— Не запомню, родимый, Никола тебе навстречу; а, кажись, я тебя сроду не видывала.

— Эх, старушка, ты верно уж из памяти начала выживать; помнишь, лет двадцать тому назад, ты к заутрене шла да заблудилась, а я еще тебя хлебом кормил да дорогу тебе показывал; я как теперь на тебя смотрю.

— Что ты, родимый, Никола тебе навстречу; была я здесь, знаю, выходил ко мне малой лет пятнадцати и, спасибо ему, хлебом накормил.

— Да то ведь я-то и был, старушонка.

— И, что ты, родимой! это было сегодня поутру, и выходил ко мне малый лет пятнадцати, а ты, бог тебя помилуй, уже на возрасте.

— И, старушка, ты уж из ума начала выживать; какое поутру, говорят тебе, уж лет двадцать тому ты сюда приходила, вот на этой скамеечке сидела; помнишь?

— Как не помнить, родимой, только вишь ты, было это сегодня поутру, а дотолева здесь я никогда не бывала.

— Ну, я вижу, с тобой до бела света не сговоришь, совсем из памяти выжила... Посмотрю я на тебя, измучи-

лась ты, старушонка, пот с тебя так градом и катит, дай вынесу тебе рушник обтереться.

Так примолвил парень в красной рубахе, вошел в калитку и скоро возвратился оттуда с полотенцем, вышитым красною белью.

Едва старушка взяла его в руки, как вскрикнула:

— А откуда, родимой, у тебя это полотенце?

— Откуда бы ни было,— отвечал парень сердито,— знай утирайся.

— Да ведь это полотенце-то я шила сынишке на дорогу.

— Сынишке,— повторил парень.— А какой он из себя был?

— Ах, мой сынишка славный малой... да разве ты знаешь его?

— Говорят тебе: каков он из себя был?

— Малой лет пятнадцати, светлорусый, волосы в кудряшках, в синем зипуне, в поярковой шляпе.

— Светлорусый, волосы в кудрящках?— повторил мрачно парень в красной рубахе.— Ну, жаль, старуха, что не знал.

— Да что ж с ним сталось, родимый?— сказала старушка испугавшись.

— Да так, ничего,— отвечал парень.— Запиши его в поминанье... его в живых больше нет.

Наша калика перехожая так и ударилась об землю и зарыдала.

— Ну, полно рюмиться-то, мертвого не воротишь.

Старушка очнулась.

— Как же ты знаешь, родимой, что его в живых не стало, полно, правда ли это?

— Еще правда ли? еще знаешь ли? Вольно тебе было его на святость воспитать: заманили мы его сюда; видим, малой славной, думали, будет из него путь; говорим ему: будь нашего сукна епанча, а он и руками и ногами, заартачился...

— Ну, так что ж, батюшка?

— Ну, что ж? вестимо дело, карачун ему дали, да и пустили в Волгу окуней ловить.

Старушка снова зарыдала.

— Скажи, родимой, хоть с покаянием ли он богу душу отдал?

— Ну, вестимо нам было к нему не попа приводить, а молиться-то он молился, сердечной. Ну да полно рюмить, убирайся отсюда, не то наши наедут, и тебе то же будет, что и сынишке твоему.

— Божья воля; отец мой; покажи только дорогу, куда

до пу́стыни дойти; сына помянуть, за тебя богу помолиться.

— За меня? Полно обманывать, я чай, проклинать меня будешь.

— Нет, родимый! что проклинать! буду молиться о спасении грешной души твоей.

Парень задумался.

— Странна ты, старуха,— сказал он после некоторого молчания.— Сколько я душ погубил, молодых и старых, всякого пола и возраста, и рука не дрогла, а вот каждое твое слово как ножом душу режет, и рука на тебя не поднимается... ну, убирайся отсюда, пока не осерчал, ступай этой тропинкой, так прямо и уткнешься на монастырь.

И старушка опять идет путем-дорогою, рукавом слезинки отирает.

— Наказал меня бог,— говорит,— не поспела, окаянная, ни к заутрене, ни к обедне, авось-либо бог приведет за вечерней помолиться.

Вот идет она, идет час, идет и другой; а в полях стада убрались, посередь леса птицы прикорнули, выходила туча грозовая со частым дождичком; и опять все очнулось; стада голос дали, птицы вспорхнули; вот послышался в пу́стыни и благовест к вечерне. Благовест все ближе да ближе, а лес все гуще да гуще.

Идет старушка час, идет и другой; вот и благовест перестал, солнце ниже спустилось, и далеко, далеко потянулася тень от деревьев,— а все не видать конца лесу. Оглядывается калика: спереди тропинка, сзади тропинка, а кругом лишь темень лесная; ни жилья, ни былья, ни голоса человеческого. А калика идёт да идет — вот впереди прояснилось, и лес проредел. «Слава богу,— говорит калика перехожая,— насилу-то дотащилась!» Собрала последние силы, смотрит — перед ней опять та же поляна, а на поляне тот же дубовый дом с закрытыми ставнями; тесовы ворота на запоре и не видать ни души христианской.

— Ах, прости господи,— сказала старушка,— опять я на то же место пришла, окаянная, а уж и сил нет больше идти; не попускает бог до пу́стыни дойти; буди твоя святая воля.

Старушка села под дерево и пригорюнилась.

Собака залаяла в подворотню, калитка отворилась, выходит старик лет шестидесяти, седой как лунь, на клюку опирается.

— А, старушонка,— сказал он,— подобру́ ли, поздорову ли ты живешь? сколько лет, сколько зим с тобой не

видались. Да ты, видно, века не изживаешь: какая была, так и есть, нисколько не переменилась; а ведь мы лет двадцать с тобой не видались.

— Кажись, я тебя, родимый, сроду не видывала,— отвечала старуха.— Была я здесь, и не один раз, да только сегодня поутру, да в полдень; выходил ко мне парень в красной рубахе и сказал мне горькую весточку.

— Да это я самый и был; помнишь, рушник тебе подавал; только будет тому лет десятка два и более; правда, я с той поры много переменился; кажись, и не стар я летами, а уж куда похирел; буйная молодецкая жизнь загубила; да как же ты-то нисколько не переменилась, вот как теперь на тебя смотрю?

— Ну уж я и ума не приложу, родимой; из памяти, что ли, я в самом деле выжила; знаю только то, что была я здесь поутру, а тебя сроду не видывала.

— Подлинно так,— сказал старик,— и я ничего не понимаю; что-то тут чудное деется; вот уж двадцать лет тому ты мне то же говорила; много с той поры воды утекло, много грехов я на душу свою положил! однако нечего здесь долго толковать; наши наедут, несдобровать тебе, убирайся отсюда, покуда жива.

— Нет, родимой, уж как хочешь, не пойду я отсюда, ноги не держут.

— Что ты, неразумная; да ведь наедут товарищи— убьют тебя.

— Да будет воля божия.

— Что ж ты, небось, смерти не боишься?

— Да чего ж ее бояться? Придет час и воля божия.

— Так ты смерти не боишься,— повторил старик и задумался.— Ну,— прибавил он помолчавши,— я так смерти боюсь.

— Молись богу, родимой, Никола тебе навстречу,— так и не будешь смерти бояться.

— Мне молиться? Да неужли бог услышит мою молитву?

— Вестимо, что услышит, когда помолишься с покаянием.

— Да ты знаешь ли, старушонка, с кем ты говоришь; если б ты знала да ведала— сколько я душ погубил неповинных; нет беззакония, которого бы я не сделал; нет греха, в котором бы не окунулся,— и ты думаешь, что меня бог помилует?..

— Покайся, бог помилует.

— Поздно, старушка! уж и сна у меня нет, только заведу глаза, как и вижу— ко мне тянутся кровавые руки; вижу, как теперь тебя вижу, посинелые лица, помертве-

лые очи; а в ушах-то и крик, и визг, и стон, и проклятия; мне ли молиться, старушка! у господа столько и милости не достанет.

— Молись, говорю тебе, у бога милости много, и не перечесть, родимый.

Старик задумался.

— Знаешь ли, что тебе скажу?— проговорил он.— Скажу тебе правду истинную: я часто о тебе вспоминал; приходили мне на память твои речи; помнишь, как ты о младом обо мне молилась, чтобы бог вразумил меня; помнишь, как обещала молиться, когда я сына твоего убил; я ничего не запамятовал, и все мне хотелось потолковать с тобой о душе моей; ах, черна она, родимая, как смоль черная, и горюча она, как кровь теплая; ну, слушай — здесь тебе сидеть не годится, наедут, увидят; пойдем в избу, там я тебе найду укромное место.

Он подал руку старушке, она оперлась на его клюку и потащилась в дом; в сенях старик приподнял половицу.

— Ступай вниз,— сказал он,— да держись за веревку, не то споткнешься.

Старушка сошла в подполицу, темную, темную; свет проходил только сверху в отдушины; по стенам стояли ларцы, сундуки, скрынки, баулы разного рода, всякая посуда; по стенам развешаны ножи, ружья и всякого платья несметное множество.

— Это наша кладовая,— сказал старик,— не даром она нам досталась.

Старушка творила молитву и шла далее. Прошла одну горницу, другую, третью; видит, все по порядку: в одной скарб домашний, в другой мужское платье, в третьей женское, камни самоцветные, жемчуг, серьги и ожерелья.

— Душно здесь что-то, дедушка,— сказала она.

— И мне душно,— вскричал старик.— Как подумаешь да погадаешь, что под этими платьями все были живые люди и что ни один из них своею смертью не умер, то так мороз по жилам и пробегает; все кажется, что под платьями люди шевелятся; ну да нечего делать, прошлого не воротить; садись-ка вон там в уголку на сундук; там из отдушины ветерок подувает.

Старушка села, едва переводя дыхание; смотрит — над головою у ней платье камковое цареградское, сарафаны золотые, парчовые и под ними, прямо против ее глаз, жемчужные, янтарные ожерелья, монисты, а между ними на бисерной нитке крест с ладонкою.

Старушка не взвидела света, схватилась за ладонку и горько заплакала.

— Скажи, дедушка, не обманывай, откуда ты взял это ожерелье?

— А что оно, знакомо тебе, что ли? — спросил старик, задрожав.

— Как не знакомо,— сказала старушка,— это ожерелье моего ненаглядного сокровища, моей дочери.

Старик повалился ей в ноги.

— Ах, мать родная,— завопил он,— кляни меня,— нету в живых твоей дочери; не пожалел я ее красы девической; замучил я ее вот этой рукою; билась она, сердечная, как горлица; молила меня, чтоб позволил ей хоть перекреститься,— и до того я ее не допустил.

Старушка пуще заплакала.

— Ну, отпусти тебе бог,— сказала она,— много греха ты принял на свою душу.

— Где богу мне отпустить,— вопил старик в забытьи,— нету прощения грехам моим; нет мне спасения ни в сем, ни в будущем мире.

— Не бери еще нового греха на свою душу, родимый — не мертви души отчаянием: уныние — первый грех, покайся да молись, у бога милости много!

— Что ты говоришь, мать родная,— вопил старик,— где богу простить меня — да ведь и ты не простишь меня...

— Нет, не говори этого, родимой, Никола тебе навстречу,— как не простить; много ты согрешил, последнее мое утешение отнял,— но да простит тебе бог, как я тебя прощаю... только покайся...

— И в молитвах помянешь грешного раба Федора?..

— И в молитвах помяну...

Старик пуще зарыдал.

— Нет, мать родная, уж не покину я тебя теперь,— жутко мне здесь оставаться; веди меня куда хочешь, где бы я мог тебе на свободе всю душу раскрыть, все грехи мои исповедать, наказанье принять.

— Не мое то дело, родимый; а если бог твою мысль просветил, то иди в пу́стынь, спроси настоятеля, он тебе укажет, что делать.

Они вышли из дома, солнце заходило, легкий ветерок повевал с востока; в пу́стыни слышался благовест ко всенощной. Не долго шли старик со старухою — пу́стынь была в полверсте, не больше,— и дорога из леса шла к ней прямая.

Божий храм сиял во всем благолепии; тысячи свеч блистали у золоченых икон; невидимый хор тихо пел славу божию; дым из кадильниц подымался ввысь светлым облаком; на паперти, в притворе стояла толпа народа; едва старушка могла пробраться в церковь. В толпе кто-то

сказал ей на ухо: «Помолися о грешном рабе Федоре». Старушка перекрестилась, стала к сторонке и горячо молилась сперва о грешном рабе Федоре, потом и об убиенных им, а потом и о себе грешной,— молилася не без слез, но с верою и надеждой.

Всенощная отошла; миряне стали подходить к иконам; и старушка поднялась с места. Смотрит — перед нею идет светло-русый мужчина с виду лет пятидесяти, здоровый и свежий; за ним, видно, жена его и дети уже на возрасте; а за этою семьею — другая, женщина лет пятидесяти, с нею муж и также дети на возрасте. Сердце забилося у старушки — вспомнила она про детей: «Теперь и они были б такие»; утерла слезу рукавом, перекрестилась и пошла также к иконам прикладываться. Приложилась — вышла на паперть,— смотрит, а за нею идут обе семьи и пристально на нее смотрят; старушка обернулась — лампадою от иконы осветилось лицо ее. Светло-русый мужчина подошел к старушке, поклонился и начал было: «позволь тебя спросить бабушка...» — да как заплачет, да как кинется ей в ноги: «Ты ли это, наша мать родная? где ты была, куда пропадала? мы уж тебя и в живых не чаяли».

За ним и женщина кинулась старухе в ноги.

— Ты ли это, матушка? уж где мы тебя ни искали! все очи по тебе выплакали.

— Вы ли это, дети? — говорила старушка сквозь слезы.— Как вас бог помиловал? Что с вами было?

— Как и рассказать, матушка,— отвечал светло-русый мужчина.— Как ты пошла на богомолье сюда в пустынь, мы пождали тебя день, другой,— видим, нет тебя, и пошли на поиск: и приходили в монастырь, и весь лес исходили, и голосом тебя кликали, и прохожих спрашивали — ниоткуда ни весточки. Прошел год, прошел и другой, прошло пять и десять; уж давно мы тебя, родную, за упокой поминали, горевали да плакали. Прошло еще лет с десяток, меж тем за сестру присватался человек изрядный, и я нашел себе по сердцу невесту, мы побрачились, родимая, прости, что без твоего благословения — мы тебя в живых не чаяли,— вот посмотри, и внучата твои...

Горько было нам без тебя, родимая,— часто поминали мы о тебе,— но во всем другом была нам несказанная благодать божия. Все мы здоровы, дети нам утешение; что ни посеем, сторицею взойдет; в торговлю пустим — нежданная прибыль; словом, что ни предпримем — как будто святой о нас старается, невесть откуда со всех сторон добро нам в дом идет.

Старушка сотворила в глубине сердца благодарную молитву.

— А цел ли у тебя рушник, который я тебе шила?— спросила она, улыбаясь.

— Ах, родная, не прогневись; чудное дело совершилось. Давным-давно, лет тридцать, вижу я сон, будто хожу я по лесу и ищу тебя и вот будто бы слышу твой голос,—иду, иду, вдруг вижу, как будто поляна предо мною, а на поляне дубовый дом с закрытыми ставнями, ворота на запоре, и вышли из дома незиакомые люди и стали звать меня к себе, я не пошел—а они бросились на меня, ограбили, отняли твой рушник, меня изранили—и бросили в реку. Тут я проснулся; поутру смотрю—нет твоего рушника, уж где ни искали, никак найти не могли. Лет через десять потом сестре чудится такой же сон, видит она, как будто тебя ищет по лесу и голос твой слышит—вдруг перед ней поляна, на поляне такой же дубовый дом с закрытыми ставнями, ворота на запоре,— из дома выскочили незнакомые люди, ограбили ее, отняли у ней ожерелье, ее изувечили и бросили в реку—тут проснулась сестра, смотрит—нет на ней твоего бисерного ожерелья; уж не гневи себя на нас за эту потерю, родная,—мы к ней и ума приложить не умеем.

— Ничего, детушки, я так, из любопытства только спросила.

— Да где же ты была, родная?

— Не спрашивайте, была я по воле божией; а теперь войдемте лучше опять в церковь да отслужим молебен,—а потом покормите меня, родные,—у меня с утра крохи во рту не было... с утра!—повторила про себя старушка, качая головою.—Чудны дела твои, господи!

Вся семья вошла в церковь; опять невидимый голос прошептал в ухо старушке: «Помолися о грешном рабе Федоре». В темном углу распростертый лежал старик и лицом ударял себя о холодные камни.

Протекло лет тридцать с той поры. Однажды настоятель отдаленного монастыря на Белом море призвал к себе иеромонаха:

— Отец Феоктист,—сказал он,—в ближнем селении умирает стадвадцатилетняя старица, просит исповеди; приходский владыко ушел с требами,—ты на очереди, но боюсь послать тебя хворого, изможденного постом и бдением—не дойти тебе до селения...

— Господь пошлет силу,—отвечал старец,—позволь сотворить послушанье.

Радость была в доме стадвадцатилетней старицы, когда узнали, что посетит ее отец Феоктист; всеми знаемо было благочестие престарелого инока. Во власянице, отягченный веригами, едва дышащий подошел старец к умирающей — вся многолюдная семья до земли поклонилась ему. Но как взглянул он на умирающую, так и заплакал горячей слезою.

— От тебя ли бог привел меня услышать греховную повесть? Узнаешь ли ты меня, святая? Помнишь ли ты грешного раба Федора, спасенного тобою? Прошло много лет — бог сподобил меня и принести покаяние, и понести казнь, и получить помилование, сподобил и чина ангельского,— но и теперь как вспомню о былом, сердце живою кровью обливается, лишь постом и молитвою душу свою освежаю... мне ли, недостойному, принять грехи твои, безгрешная?

— Не говори так, святой отец,— отвечала умирающая.— Недаром бог привел еще раз нам с тобою свидеться — в том новая милость его, чтоб не возгордилась я твоим покаянием... Сотвори же послушание, святой отец... Прости и отпусти грехи дочери твоей духовной...

Когда, тщетно прождав возвращения отца Феоктиста, родные вошли в комнату умирающей, было уже утро; лучи восходящего солнца светились на лицах старца и старицы, казалось, они еще молились,— но уже души их отлетели в вечную обитель...

ЖИВОПИСЕЦ

(Из записок гробовщика)

Однажды, когда я сидел у Мартына Григорьича, вошел мастеровой:

— Пришли от Данила Петровича.

— Зачем? — спросил хозяин.

— Да за гробом.

— Кто у них умер, уж не жена ли?

— Нет, Данила Петрович сам изволил скончаться...

Мартын Григорьич всплеснул руками:

— Может ли это быть? Бедный! Давно ли мы с ним виделись?.. Такой талант! Такое сердце!

— Просят дощатого гроба подешевле, а у нас такого нет,— прервал его хладнокровно работник.

— Неси какой есть готовый, не твое дело... Бедный, бедный Данила Петрович!..— С сими словами он взял шляпу и сказал мне: — Хотите ли поклониться праху незнакомого вам, но замечательного человека? Пойдемте со мною. Вы слыхали о Шумском?..

— Никогда,— отвечал я,— но я готов идти с вами.

— Так! Участь этого человека быть неизвестным; но по крайней мере он начнет жить после смерти; может быть, мне суждено быть его проводником к бессмертию. Неужели и вы не знаете, что мой бедный неизвестный Данила Петрович был, может быть, одним из первых живописцев нашего времени?..

— Я никогда не видал ни одной его картины...

— Не мудрено, потому что у него не было ни одной конченой; но пойдем в его мастерскую, и вы уверитесь, что я говорю правду. Я недавно с ним познакомился; он

был очень, очень беден, но все, что скрывалось в его голове, все, что нечаянно он бросил на полотно нетерпеливою кистию, того я вам пересказать не сумею... Вы сами увидите...

Мы вошли. Грустно было смотреть на мастерскую бедного художника. Вледный труп его лежал на простых досках; на лице его еще остались следы внутреннего, недавно погасшего огня; черные волосы лентами струились с прекрасно образованной головы; но все было искажено, запятнано смертию; его покрывало едва держащееся рубище; вокруг были разбросанные краски, палитра, кисти; на огромной раме натянутое полотно: оно невольно приковало мое внимание; но на холсте не было картины, или лучше сказать, на нем были сотни картин; можно было различить некоторые подробности, начертанные верною, живою кистью, но ничего целого, ничего понятного. От нетерпения ли художника, от недостатка ли в холсте, но видно было, что он рисовал одну картину на другой; полустертая голова фавна выглядывала из-за готической церкви; на теньеровском костюме набросана фигура мадонны; сметливый глаз русского крестьянина был рядом с египетскою пирамидою; водопады, домашняя утварь, дикие взоры сражающихся, цветы, кони, атласные мантии, уличные сцены, кедры, греческие профили, карикатуры—все это было перемешано между собою на различных планах, в различных колоритах, и углем, и мелом, и красками,—и ни в чем не только нельзя было угадать мысли художника, но с большим трудом можно даже было уловить какую-либо подробность. Стены, окна мастерской, палитра, мебели были испещрены точно такими же очерками... других картин не было. Наши изыскания были прерваны разговором в ближней комнате, сперва тихим, но потом мало-помалу возвышавшимся...

— Ах, не говорите, матушка,— повторял один женский голос, рыдая,—я, я убила его!..

— Полно, полно! Что с тобой?—отвечал другой, женский же голос.—Что ты на себя клеплешь! Полно, полно горевать. Еще молода, мать моя,—другого мужа найдешь.

— Нет, не нажить мне моего Данила Петровича!

— Полно, говорят тебе, слезами не поможешь, да и что правду сказать: счастлива, что ли, ты с ним была? В довольстве, что ли? Что в нем пути-то было?..

Вдова не слушала, а только повторяла свое:

— Я убила его; он сам говорил, сердечный: ты убьешь меня... Я точно убила его!..

А та отвечала:

— Полно на себя клепать! он просто занемог, да и умер...

Эта сцена продолжалась довольно долго: жалобы с одной стороны, утешения с другой; наконец последние превозмогли; казалось, рассуждения собеседницы утешили вдову, по крайней мере она успокоилась. Мой товарищ хотел наведаться к ней; но дверь отворилась, и от вдовы вышла женщина пожилых лет, в крепко накрахмаленном чепце, с веселым и добродушным видом.

— Ах, это ты, куманек! Добро пожаловать; а что, ты к ней, что ли? Ну, уж лучше не ходи,— пусть ее наплачется досыта; авось-либо, бог милостив, поплачет, поплачет, да и перестанет; а денька через два-три как рукой снимет. Помоги-ка мне лучше отдать последний долг покойному. Сердечный! Сердечный!— прибавила она, посмотря на бледное, искаженное страданиями лицо молодого художника.— Не умел жить на сем свете. А это кто, батюшка?— продолжала она, взглянув на меня с любопытною улыбкою, которая не мешала ей отирать слезы...

— Это мой подмастерье,— отвечал Мартын Григорьич,

Я поклонился.

— Никогда еще у тебя не видала, почтенный...

— Недавно поступил, Марфа Андреевна.

Она взглянула на меня с тоном покровительства и продолжала свой разговор. Во все время печальной церемонии и потом, возвращаясь к себе домой, куда мы, перемигнувшись, пошли ее проводить, Марфа Андреевна говорила без умолка; из слов ее я скоро узнал, что она богатая мещанка и занимается скорняжеством, то есть шьет шубы. Мы скоро познакомились; я ей полюбился, она мне рассказала всю жизнь живописца; некоторые ее фразы уцелели в моей памяти; постараюсь передать их, как умею.

— Так вы, Марфа Андреевна, хорошо знавали Данила Петровича?— спросил я...

— Эка, батюшка, видно, ты молод, уж мне не знать Данила Петровича! Не только его, да и с батюшкой его хлеб-соль важивала, да и бабушку-то его знавала,— такая была из себя видная, здоровая,— помнишь, бывало, торговала в Бабьем ряду... да где тебе помнить! Ах, горемычный, горемычный Данила Петрович! Верно уж ему так было на роду написано. Да и то правду сказать, всегда беспутный был; а кто виноват? Отец баловал. Отец был зажиточный человек, в Панском ряду на сотни тысяч торговал,— вот и Мартын Григорьевич его знавал. Он, бывало, сына в ряд, а тот и руками и ногами: «Пусти, батюшка, в живописцы, пусти, да и только»; а старик-то

сглупа, чем бы его себе приготовить в подмогу, послушался, да и отдал в ученье к какому-то немецкому живописцу, да, бывало, еще шутит покойник: «Хошма, говорит, у меня теперь вывеска на лавке будет даровая». Не дождался он вывески от сына, а только обанкротился, да с горя и богу душу отдал. А сынок-то остался гол как сокол, а себе и ухом не ведет; да туда же спесив: жил, жил у немецкого живописца на квартере на всем готовом, одет, обут, да низко показалось, не ужился; вишь ты, жаловался, будто немецкий живописец — не припомню его имени, прах его возьми — заставлял его на своих картинах рисовать, его работу за свою выдавал, а его начал с пути сбивать. Да! важное дело! Да если бы и так, то что за беда. Известное дело — мастерство: молодой человек сперва на других поработай, а там на себя. Вот и ты у Мартына Григорьича живешь, неужли ты станешь ему указывать: «Вот эту доску я сстругал, вот этот винт я привернул, а не ты...» Говорю тебе, совсем беспутный был. Прибежал ко мне, с три короба наговорил, и все свысока. Я ничего не поняла: «И что я-де теперь, матушка Марфа Андреевна, буду на воле работать, на себя, и вся публика-то, все господство-то меня узнает, и картину на выставку-то поставлю, золотом-то я все сундуки отцовские засыплю... и я-то буду худошник». Сердце мое чуяло недоброе: «И впрямь ты будешь гудошником»,— сказала я ему, смеючись, а он рассердился: вишь, будто я не могла и понять-то его! Я было, чтобы помириться, ему 10 целковиков в руку, а он на стол их бряк — так разгорячился, мой батюшка; только и твердит: «У меня талан, у меня талан». Ну, подумала, посмотрим, какой тебе талан на роду написан: не увидим, так услышим.

Вот обзавелся он, горемышный; где-то лачужку сыскал на Выборжской стороне и написал вывеску: «Живописец Шумский»; так и думал, что вся публика к нему разом и соберется. Не тут-то было: где-где придет к нему какой-нибудь сиделец-выскочка вывеску написать.

Только он еще кое-как перебивался. Но как на беду попадись ему на улице смазливая девочка. Слово за слово, узнал, что она сирота, ну приставать: «Поди ко мне мадели делать». Та ему в ответ: «Я-де, батюшка, только на кухне кое-что стряпать умею, а никаких маделей никогда не делывала».— «Нужды нет, уж я тебя выучу». Девке только что отказали от дома, деваться ей было некуда,— из одной квартеры к нему пошла.

Вот, что же, батюшка! Привел он ее к себе, да и ну с нее патреты рисовать — очень нужно кому! Да еще какой, слышь, бесстыдник: и так ее поставит, и сяк; то руку

поднимет, то опустит; впрочем, говорят, так по их искусству надобно! — это дело не мое, кто их знает... Как бы то ни было, но только он писал, писал ее, да и вышел грех; вестимо дело: он парень молодой, она девка смазливая, дошло до того, что уж ей стыдно было в люди показаться. Он, нечего сказать, человек был честный, покойник, говорит: «Мой грех, мне и поправить». Вот они женились; живут, друг другом не нахвалятся; она девка умная, хозяйство завела; пожили немного — глядь, то хлебник, то мясник за долгом придет, то хозяин за квартеру просит, а кошель-то пуст-пустехонек. Бедная баба и туда и сюда, как бы работу сыскать, а он, покойник, не тем будь помянут, и ухом не ведет. На его счастье Сидор Иванович дочь замуж отдавал, — купец богатый, почтенный, хотел все дело по порядку исполнить, приданое приданым, а к тому же захотел с дочери да с зятя патреты повесить у себя на дому. Позвал Данилу Петровича, говорит: «Вот тебе сто рублев, а как патреты напишешь, так еще сто рублев дам, только схоже напиши». А Данило Петрович ему: «Уж это-де мое дело, так-де напишу, что от настоящего не узнаешь». Вот Сидор Иванович — купец богатый, вестимо дело, хотел похвастать, — надел на свою Дунюшку и бралиантов, и жемчугов, и подборов, и подвесок, не только матушкиных, но что и от бабушки да прабабушки досталось, чтобы, дескать, все видели, что не нищую замуж выдает; как вошла, так индо в комнате засветлело, даже Данило Петрович остолбенел. «Ну, — говорит отец, — рисуй, как знаешь; но только так, чтоб подвески спереди, да и гребень сзади был виден». Что же Данило Петрович — ах, беспутная головушка! — как закричит себе: «Что это вы красавицу изуродовали! Она молода и свежа и собой хороша, что ее, как коломенскую куклу, мишурой-то убирать?» А какая мишура: все жемчуг да бралианты... «Долой, — говорит Данило Петрович, — и подборы, и подвески, и гребень, все-де это портит ее натуру», — да как распустит ей косы по плечам, и стала Дуняша словно русалка, а Данило-то храбрится: «Вот уже, говорит, патрет напишу, так всему свету на удивление будет». Только старик не тех мыслей был. «Нет, говорит, не дам над моим детищем издеваться, не на смех ее писать, словно какую актерку трепаную, а видно ты, Данило Петрович, своего дела не разумеешь, коли жемчугов да бралиянтов не можешь списать; хоть одного зятя мне напиши».

Данило Петрович прикусил язычок: «Ну, давай, говорит, зятя». Привели зятя; надо тебе знать, что зять был

человек чиновный, копиистом служил; ну, разумеется, также похвастаться хочет, принарядился, праздничный мундир надел. Данило Петрович и руками и ногами: «Не умею мундиров писать!» — стал на том, да и только. Тут уже купец рассердился, да и сказал Данилу Петровичу: «Ступай же,— сказал он,— куда знаешь, коли своего дела не разумеешь, а мы тебе не пешки дались». А Данило-то, чем бы спасовать, выкинул на стол сто рублев, да и поминай как звали. Так и не впервые было. Что ему ни закажут, все перехитрит, к стене не прислонишь; меж тем дома и холодно и голодно. А Данило, чем бы горю помочь, сидит у себя в нетопленной комнате, мажет по холсту каких-то нехристей, да песенки попевает. Вот, немного погодя, на него стало находить: бродит, бродит день-деньской, да и уставится против старой стены, смотрит на нее то с той, то с другой стороны: вишь ты, представлялись ему какие-то фигуры на стене; соседи узнают, домой приведут, а он свечку зажжет, да всю ночь и марает по стенам — индо смотреть страшно — все стены испортил. Вот жена к нему придет: «Полно, Данило Петрович, свечки-то палить; мало тебе дня? Ведь свечка-то гривну стоит». А он осерчает, закричит: «Ты убьешь меня»,— да и только. С таким изделием немного наживешь; вот он, сердечный, не ест, не пьет, только и твердит: «Вот погоди, найду, непременно найду». Чего уже он, клада, что ли, искал, не могу тебе сказать, только он со дня на день худал; что ночью намажет, то днем сотрет; в дом ничего, а из дома то и дело, то мебель, то платье продаст. Жена его станет резонить, а он только и твердит: «Ты убьешь меня». Поди толкуй с ним! Так они пожили немного-недолго,— не осталось в доме ни синего пороха. Видит, нечего делать — поугомонился, пошел по гостиному ряду спрашивать: нет ли где вывески подновить? Насилу поверили, таким он безумным казался. Подновил вывески две-три, другой работой забрался — зашиб копейку, и опять гордость напала. Раз вот осенью ушел из дома с раннего утра, невесть где целый день протаскался: уже после узнали, что он до Парголова доходил. Вот уж и вечер, вот и ночь, вот уж и рассветать стало,— дождь между тем ливмя, а Данила нет как нет. Жена всполошилась, бегать — туда, сюда — где! И с собаками не сыщешь; уж к утру воротился — весь измоченный,— сухой нитки нет, бледный, и, словно полоумный, кричит: «Нашел, нашел!» А глаза-то у него так и горят; выхватил из-под мышки холстину, натянул на раму и тут же, не раздеваясь, ну на ней какую-то ладонную, что ли, писать. К вечеру прохватил его озноб. «Что, говорит,

жена, кабы кофею сварить?» Той уж стало невтерпеж; она ему в ответ: «Какой тебе кофий — и хлеба в доме нет; вишь, от тебя ни шерсти, ни молока, да туда же кофею просишь!» Замолк Данила Петрович, опять за мазилку, пописал недолго, да и свалился на пол, как сноп. Подняли, положили на постель, всю ночь бредил. Вот лекарь пришел,— еще, на счастье, добрый человек,— то тем, то другим — через недельку оправился. «Ну,— лекарь говорит,— ты вышел из беды, Данила Петрович; только смотри, не оплошай; еще ты опасен, с постели не вставай и за работу не принимайся». Все обещал; жена как-то отлучилась,— приходит, а муж сидит за картиной, руки дрожат, еле не падает. Подняла его, уложила, прикрикнула; но что делать с безумным! День послушается, а на другой опять за свое,— индо лекарь отказался. Однако ж бог помог — оправился. Смотрит — в доме все чисто; последнее платье заложено — выйти не в чем; а ему и горя мало. «Незачем, говорит, теперь по улицам бродить»,— и сидит за своей ладонной да малюет. Меж тем жена плачет да горюет: пошла по знакомым, проведала как-то, что в околотке мелочную лавку заводят, отыскала хозяина, уластила, вот он приходит, заказывает вывеску, дает в задаток рубли два-три: «Да смотри, говорит, ты, маляр, у меня вывески не задержи; мне скоро ее надобно: лавку скоро отделают; да смотри появственнее да поглянцовитее напиши, и чтобы все на ней было, и сахарные головы, и банки с вареньями, и сыр голландский, и яблоки, и ряпушку копченую повесь, чтобы всякий-де видел, что-де все есть, чего душа ни пожелает; пожалуй, не задержи, а то другому закажу». Данила Петрович взял деньги, да и посмеивается: «Будь благонадежен, говорит, уж так тебе вывеску напишу, что, на нее глядя, и самому есть захочется».

«Ну, говорит, жена, слава богу! Деньги есть, и работа есть, только краски нужны; сходи купи; знаю, что дорого, да нечего делать, без них нельзя вывески написать; вот тебе записочка». Жена сдуру послушалась, пошла, купила: дали ей три скляночки, почти все деньги истратила. Пришла — обрадовался Данила, схватил краски, да чем бы за вывеску,— опять за свою ладонную.— Прошел не день, и не два,— приходит купец за вывеской — куда! — ее и в половине не было. Он к Даниле: «Давай вывеску или деньги подай!» Оно и дельно — ему было завтра лавку открывать. Данила туда, сюда. «Все брошу, говорит, в один день напишу...» Хвать — холста нет; купить не на что... Купец говорит: «Не дам ни копейки, опять обманешь». На крик собрались соседи, жена плачет, разлива-

ется: «Нечего греха таить,— вопит горемычная,— хоть вы прислушайте, добрые люди; мне уж с ним не сладить, вконец дом разорил...» Вот соседи стали его укорять: «Что ты за маляр, что и холста не имеешь? Купцу что за дело: он задаток дал; вот ведь натянута холстина,— ну и пиши вывеску, чем вздор-то малевать, а слова не исполнять».

Долго слушал Данила Петрович и молчал, словно рыба; но как услышал последнюю речь, пригорюнился. «Вы правы, говорит, точно правы: слово дал, надо исполнить»; схватил кисть, замарал всю картину и ну малевать сахарные головы; к другому утру вывеска была уж готова; купец, добрый человек, не помянул лиха, поблагодарил, да на столе беленькую оставил. Жена не нарадуется, побежала скорее на рынок и кофею купила, чтоб только мужа потешить; приходит домой, смотрит — а он на полу, и трясет его лихорадка. Скорей за лекарем, да уж, видно, поздно: месяца два бедный промаялся, да и богу душу отдал. Отчего уже это ему приключилось, не знаю; лекарь толковал, что прежняя болезнь опять пришла!»

— А где же вывеска-то? — спросил я у рассказчицы...

— И, да кто ее знает! Говорят, и лавочка-то обанкрутилась.

Здесь мы приблизились к дому, и я, распростившись с Марфой Андреевной, пустился отыскивать предсмертное произведение несчастного; я узнал имя хозяина лавочки, имя того, кто купил вывеску с аукциона, кому перепродал; наконец мои искания увенчались успехом: на Щукином дворе, посреди ржавого железа я отыскал наконец вывеску Шумского — ее смыло дождем!

МАРТИНГАЛ

(Из записок гробовщика)

...Не все для мертвых — однажды мне случилось поработать и для живых. Странная была история — никогда ее не забуду. Видите: нашла какая-то полоса, не знаю как ее назвать, счастливая или несчастная, но для меня по крайней мере очень убыточная; как бы вам сказать поблагоприличнее, покос был плохой, то есть не было требований на мое изделье... Оно, в общем смысле, может быть, было и очень хорошо, да для меня-то очень дурно; что́ дурно? Просто беда, да и только! Не соблазняйтесь, сделайте милость, моими словами; не я в том виноват, уж так свет устроен, что почти всякий прибыток живет на счет чужого несчастья. Уж, кажется, что может быть почтеннее докторского дела; тут нужно и ученье, и твердость духа, и благородство, и самоотвержение, словом, вся любовь человеческая,— а разберите-ка хорошенько, так и выйдет, что его ремесло хуже моего; я по крайней мере работаю — для других, да и для себя, а бедный доктор именно против себя работает, тут уж как ни вертись, и ночи просиживай, и хлопочи над больным, и подымай целый свет, чтоб его вылечить — все так; кажется, вся цель именно в том, чтобы не было вовсе больных, а достигни цели, не будь больных — филантропу и придется зубы положить на полку. Что тут делать! Уж так свет устроен, говорю вам; зачем оно так? Должно ли оно быть так? Надолго ли так? Это до меня не касается; знаю только, что так свет покуда устроен: дело коммерческое! И, кажется, рад, что не видишь слез, что не слышишь рыданья,— а с другой стороны, посмотришь: и жене

нужна обнова, и детям игрушка, и себе бутылка пива, да и товар закуплен, работники без дела, векселям срок близко, даже и о банкротстве помышляешь,—вот мысли иначе и свернутся.

Так не судите ж меня, что я волею и неволею горевал над чужим счастием. Чтобы не терять понапрасну времени, я заготовил два экземпляра моего изделья и на досуге снарядил как нельзя лучше: доски сухие, бархат настоящий французский, гвозди полированные—любо-дорого смотреть, я таки, признаюсь, и посматривал да, так сказать, немножко подумывал: не пошлет ли судьба—*желающего.*

Смотрю—к окошку прильнули два лица, глядят пристально на мою выставку, переговариваются,—видно, понравилась—я жду: что-то будет!—а между тем, нечего греха таить, в голове у меня так и завертелся чепчик, которого просила Энхен к балу на будущей неделе у нашего соседа-портного. Житейское дело, сударь! Все на свете ассигнация! У одного из бумаги, у другого из полугара, у третьего из мягкой спины, у четвертого из досок и обита бархатом,—а на поверку все то же: как бы разменять свою ассигнацию! Наконец, звонок зазвенел, и в рабочую вошли два человека.

Один уж пожилой, с черными усами, пресуровой осанки и, как теперь смотрю, в синей венгерке; другой молодой, бледный как смерть, с покрасневшими глазами и отчаянным видом.

— А что оба?—сказал мне пожилой отрывистым басом, указывая на мое изделье.

— Оба?..—спросил я невольно.

— Ну, оба? Что же? Разве странно?

Я сказал цену.

— А дешевле?

— Я не торгуюсь.

— Готовы?

— Нет! Еще винты надобно приладить,—чтобы остановки не было, знаете, когда... впрочем, это минутное дело...

Человек в венгерке вынул деньги, положил их на стол, промолвил:—завтра, в такой-то дом, в девять часов утра... и тихими шагами пошел к дверям, за ним побрел и молодой человек,—я не мог не заметить, что он трясся как в лихорадке.

Признаюсь, я взял деньги, пересчитал их, и не без удовольствия, но на уме у меня было и один и два: «что тут такое?—думал я.—Комедия, или трагедия, или так просто, обыкновенное житейское дело? Мои *желающие*

что-то смотрят так странно; тут не одно горе,— приметался я к нему,— тут что-то такое...» но я терялся в догадках.

После обеда вышел я со двора для закупки кое-чего домашнего; подхожу к Мойке; вижу, кто-то шагает по набережной самым романтическим образом (тогда еще романтизм только что входил в моду) — пройдет несколько шагов, потом остановится, мрачно посмотрит на зияющую бездну, то есть на Мойку, и опять шагает-шагает, опять остановится, вынет из кармана то какую-то записку, то платок и по очереди прикладывает к лицу, а иногда и обе вещи вместе прижмет к груди и — опять положит в карман. Глядь — это мой юноша, утренний посетитель, один из *желающих*. Его странные эволюции не обращали ни малейшего внимания всегда озабоченных петербуржцев; мало ли людей останавливаются смотреть на приятное течение Мойки? — о вкусах спорить нельзя,— но для меня эти эволюции имели какой-то темный смысл, который, по разным причинам, как вы легко можете себе вообразить, мне хотелось разгадать хоть сколько-нибудь. Я своротил на тротуар и пошел вслед за мрачным юношею; скоро я догнал его, снял шляпу и очень вежливо осведомился о его здоровье. Мой герой в первую минуту не узнал меня, и я принужден был ему напомнить, что давича утром *имел удовольствие* с ним познакомиться. Герой вздрогнул. Это, однако же, меня не остановило; мы шли в одну и ту же сторону, своротить в улицу было некуда, и волею и неволею романтический юноша должен был подвергнуться моим тонким расспросам. Вы знаете, в карман я за словом не хожу, обучался-таки немножко, слыхал про то и другое[1], вот я и начал стороною и о красоте природы вообще и Мойки в особенности, о бренности мира, о злополучиях жизни человеческой — словом, мой романтический юноша заслушался,— сначала отвечал мне только какими-то полугласными, а потом мало-помалу и сам разговорился. Вот я речь свою веду тонко, цепляюсь за то, за другое, за примеры пагубного влияния страстей и так далее... мой юноша сам не свой,— да вдруг и брякнул: «Поверьте! Нет ничего хуже картежной игры! Гибель, да и только».— Ге! Ге! — сказал я самому себе,— вот оно что.

Я дальше в расспросы — мой юноша туго подавался, однако ж выпытал я из него, что он играет и давно

[1] Те из читателей, которые помнят другие рассказы гробовщика, может быть, не забыли, что рассказчик готовил себя совсем к другому званию, вообще любит иногда напомнить об том и немножко прихвастнуть. (*Примеч. В. Ф. Одоевского.*)

играет. Тут я счел нужным сделать молодому человеку некоторое нравственное поучение, приличное обстоятельствам, заметил ему, как он вредит самому себе, как расстраивает свое здоровье, и проч. и проч... Молодой человек был, видимо, тронут,— тогда я приступил к патетическому месту речи и стал в резких чертах изображать ему горесть его почтенных родителей, когда они узнают, как он, вместо того чтоб следовать их спасительным наставлениям, убивает понапрасну и способности, и золотое время, и уж хотел было подкрепить слова мои известною латинскою цитациею из Вергилия... как вдруг молодой человек прервал меня:

— Что вы мне говорите!— сказал он.— Если бы вы знали! Родители! Родители! Если бы вы знали, что я взрос на картах, что едва ли не с молоком я сосал их, проклятых! Скажу вам всю правду: отец мой игрок — он игрою сделал себе состояние. Матери моей не помню, но помню до сих пор первые слова, которые на меня действовали: «не кричи, сударь,— говорила мне нянька,— папенька играет» — и я замолкал, переставал плакать. «Папенька играет!» Я еще не вполне понимал эти слова,— но в них было для меня что-то важное, страшное и почтенное. Подрастая, я стал замечать, что иногда папенька приходил к нам в детскую, ласкал меня, смеялся, играл с моими старшими братьями, и братья весело шептали между собою: «Слава богу! Папенька выиграл!» Иногда же папенька был угрюм, сердит, бранил нас за все и про все и драл за уши,— и братья печально прижимались в уголок; я приставал к ним: «Что такое?» они отвечали: «Молчи! Вот ужо тебе — разве не видишь, что папенька в проигрыше?» Часто папенька входил к нам с необыкновенно веселым лицом, бросал на стол двадцатипятирублевую ассигнацию и говорил: «Вот вам, дети, на *жуировку*». Мы хлопали в ладоши, кричали: «папенька выиграл!» и разом у нас являлись и пряники, и конфекты, и игрушки, и все, чего нам только хотелось.

И вот, бывало, когда у отца по ночам игра, мы соберемся тихонько у двери и смотрим в щелку: какое лицо у папеньки? Скоро мы привыкли понимать каждое его движение; у него незаметная улыбка, и у нас дух занимается; у него руки трясутся, и мы дрожим всем телом, жмемся друг к другу, шепчем, задыхаясь: «Ах! проигрывает!.. нет! стирает... верно, лучше... дай-то бог!» В эти минуты уж ничем не могли нас отманить няньки, ни игрушками, ни конфектами, мы уж чувствовали всю игрецкую сладость, всю игрецкую желчь, сердчишко стучало как молоток, мы злились вместе с отцом, мы

сжимали кулаки и проклинали счастливого понтера, который отгребал себе кучу денег; но когда понтеры выходили из себя, рвали на себе волосы, бросали под стол измятые карты — то-то была радость,— то-то было счастье! Мы обнимали друг друга, целовались и радостно шептали промеж себя: «Папенька выиграл! Папенька выиграл!» Вот мое первое воспитание.

Лет пятнадцати я уж помогал отцу; если, бывало, в долгие ночи он устанет от сиденья, то заставит меня метать, а сам ходит по комнате, смотрит на мое мастерство и похваливает или побранивает. По утрам, бывало, от нечего делать учит меня, как держать руки, чтоб не видать было углов, показывает, чем понтер может обмануть банкомета, или играет со мною в пикет для развлеченья и сердится, когда я промахнусь. Отправляя меня в Петербург, отец мне дал только одно наставление: «Смотри, брат, не зевай,— знай, с кем играешь, да играй с толком,— а пуще всего никогда не понтируй — знай мечи честный банк,— всегда будешь в выигрыше».— Хорошо ему было говорить: не понтируй! — хорошо, что у него кровь холодная,— сидит себе мечет, глазом не мигнет, а ведь что ни говори, а понт и есть настоящая игра,— все дрянь перед ним,— тут — и сердце бьется, и голова трещит... Помню, как однажды на сторублевую ассигнацию я взял десять тысяч — в две минуты, не более — вот это куш,— индо пот пробил, а на душе-то, на душе — женский поцелуй ничто! — И ведь не деньги главное,— а вот то, что сердце щиплет — и рассказать нельзя... как тут не понтировать... то есть так,— скажу вам всю правду, вот видите эту записку,— я вам покажу... в ней нет ничего особого... только цифра «двенадцать с четвертью» — понимаете? Если бы вы знали, чья рука это писала! Вот уж три месяца добивался я этой записки,— мучился, страдал... а все-таки — хоть сейчас, если бы можно, поставил на карту...

— А счастливо играете? — спросил я.

Молодой человек рванул меня за рукав: «Эх! Что вы мне напомнили!»

— Что, видно, крепко проигрались?

— Не спрашивайте лучше... беда, да и только!

— Ну, да вот господин, что с вами приходил, разве он...

— Кто? Дядя? — У! он человек строгий, страшный человек, и чудак и кремень. Был в старину игроком, теперь карт в руки не берет... неумолимый человек! Что за правила...

— Да разве он не может?..

«Кто? Он? у него одна поговорка: «Что должно, то должно! Давши слово, держись!» Да как заладит ее,—так уж тут что хочешь. Вы не знаете, что это за человек! Ужас! Ни суда, ни милосердия. «Все это вздор!—говорит,—бабы выдумали!» Однажды дядя узнал, что кто-то про него сказал дурное слово,—дядя нахмурился и обещал, что отнесется к личности обидчика, сказал и пошел в дом к нему, приходит, ему говорят, что уж-де три дня как в заразительной горячке с пятнами,— «а мне что нужды?—ответил дядя.—Долг! Святой долг!» Родственники, прокуренные хлором, с почтением пропустили такого неустрашимого друга, а дядя в спальню, прямо к постели больного, да не говоря лишнего слова...» Молодой человек запнулся—перед нами явилась фигура в венгерке. Ужасный дядя поглядел на меня искоса, холодно отвечал на мой поклон, взял племянника под руку и повел его в другую сторону, как ребенка.

Очень мне было досадно! Только что молодяк распоясался! Не успел я у него ничего хорошенько повыспросить: кого они из родни потеряли? Отчего двоих вместе? Нет ли тут чего другого? Такая досада—нечего было дома жене рассказать.

На другой день по условию, ровно в девять часов, я явился в назначенный дом с произведениями моего искусства. Между тем, как я узнал после, случилось следующее происшествие.

Накануне, около часа пополудни, племянник пришел к дяде в отчаянном положении, и между ними произошел следующий разговор:

Дядя: «Что, играл?»

Племянник:—Играл.

— У кого?

— У Тяпкина...

— Понтировал?

— Понтировал...

— Проиграл?

— Проиграл...

— Много?

— Двести...

— Заплатил?

— Сто заплатил... сто через двадцать четыре часа...

— Есть?

— Нет...

— Что же ты?..

— Пулю в лоб...

— Хорошо.

Дядя замолчал. Племянник тоже. Так прошло четверть часа. Дядя молчал. Племянник начал:

— Дядюшка...

— Что?..

— Дядюшка...

— Что такое?..

— Мне девятнадцать лет...

— Когда?..

— В этом году...

— Правда...

Дядя замолчал. Племянник тоже. Прошло еще четверть часа. Племянник опять:

— Дядюшка...

— Что?..

— Завтра в двенадцать с четвертью...

— Что такое?

— Моя графиня...

— Не дурна...

— В первый раз...

— Поздравляю...

Дядя замолчал. Племянник тоже. Прошло еще четверть часа.

— Дядюшка...

— Что?..

— Неужели, в самом деле, пулю в лоб?..

— Непременно...

— Нет надежды!..

— Понтировал... Говорили... Не послушался... Хочешь своим умом жить. Вольнодумство. Подлость. Гнусность. Что на поверку? Долг, святой долг. Нечем? Одно средство...

Дядя замолчал. Племянник тоже. Прошло еще четверть часа... Племянник встал.

— Дядя! — сказал он.

— Что такое?

— Однажды отец мой выручил тебя из беды...

— Правда, хорошо.

Дядя спокойно вынул лист бумаги и принялся писать. Племянник смотрел на него с нетерпением. Дядя исписал лист; потом отворил комод, вынул из него какие-то бумаги, положил в конверт, надписал, запечатал, сказал: «Теперь все в порядке»; потом пододвинул к себе прекрасный ящик красного дерева, открыл и примолвил: «настоящий кухенрейт; никогда не осекаются».

Спокойно осматривал дядя один пистолет за другим: спускал курок, отвертывал винты, бережно вытирал их замшею и опять привертывал.

— Что все это значит? — вскричал племянник, наконец выведенный из терпенья.

— Ничего. Однажды твой отец выручил меня из беды. Правда. Долг, святой долг. Хочешь прочесть?..

Дядя подал племяннику исписанный лист бумаги, и племянник прочел с ужасом:

«Никто не виноват. Мы сами своей волею.

За вырытие двух могил столько-то.

Доктору за осмотр столько-то.

На угощенье столько-то.

Итого: 515 р. 75 к., которые при сем прилагаются.

Такого-то числа в 12 с четвертью пополуночи».

— Вы шутите? — вскричал молодой человек.

— Я? — спокойно спросил дядя.

— Что значит эта бумага?

— Ничего. Порядок, как всегда. Так должно. Так привык. А то известное дело, после меня, на то, на се, растащут, разворуют...

— Вы сами?..

— Да — я сам. Твой отец выручил меня из беды. Правда. Долг, святой долг!..

— Но у вас есть деньги?..

— Есть деньги — немного, есть и дети — их много. Без изъяна на них достанет, с изъяном — не достанет.— Не по миру же им — ради тебя.

— Что ж вы намерены делать?..

— Что должно. В полночь 24 часа. Честь страждет. В долгий ящик — поздно. Сегодня зову на игру. На квит не согласятся. Одно средство: двоить — на мартингал. Твой отец меня выручил. Тряхну стариной. Или пан, или пропал. Повезет до полночи — хорошо,— не повезет — ты и я разом — и концы в воду.

— Это ужасно! Неужели нет другого средства?.. в девятнадцать лет... Графиня... счастье...

— Поздно хныкать... Говорили. Не послушал. Убивал и время, и деньги. Теперь поздно. Твой отец выручил меня из беды. Делаю, что могу. Спасаю семейную честь...

— Неужели нельзя перехватить где-нибудь?..

— Занять? Кому? Тебе? Игроку? Шутишь. Я — не могу и не хочу. Тут долг.

Они снова замолчали.

Через несколько времени дядя встал.

— И забыл с тобою. Пойдем-ка. Надобно позаботиться о новоселье.

— О новоселье? — повторил молодой человек.

— А как же. Все надобно приготовить, честно рассчитаться — и лишнего не платить. То ли дело свой глаз.

За новосельем они приходили ко мне. Затем дядя назвал племянника бабою и послал его просвежиться,—но издали за ним подсматривал.

Около одиннадцати часов дядя еще раз осмотрел пистолеты; вогнал пули,—наложил пистоны.

— Вот,—сказал он,—два для тебя, два для меня. Один не удастся—другой не обманет. Тебе без денег нечего соваться, да и голова у тебя не в порядке. Сиди в кабинете и жди. Если в полночь не отыгрались—я к тебе... и тогда—прежде ты, потому что ты баба... или... ты меня знаешь... мое слово крепко и рука также... я ж подоспею...

Между тем в гостиной расставлялись столы, зажигались лампы и свечи, слуги суетились,—прохожие останавливались у окон и говорили: «Эх светло—видно, бал какой?»

Игроки начали собираться.

Дядя стал выходить из кабинета.

— Дядя! Неужели все кончено?—робко проговорил бедный молодой человек...

— Нет! Еще не все! Ты баба,—отвечал старик и вышел в гостиную.

Описывать нечего, что происходило в эту минуту в душе молодого человека,—вы найдете это описание в любом романе.

В полутемном кабинете, прильнув к двери, он почти без памяти смотрел в светлую гостиную; все, что пред ним было, представлялось ему сном, сценой, в каком-то тумане... он видел и не видел, слышал и не слышал: вот гости раскланиваются, пожимают друг другу руки, расходятся кучками, сходятся вместе,—слышны разные речи, о погоде, о театре, о выигрышах и проигрышах; вот подают чай; вот Тяпкин предлагает стотысячный банк; усаживаются, кричат от восхищения, что дядя наконец опять играет, поздравляют его, выговаривают разные плоскости; вокруг старого игрока составляется кружок,—новые колоды трещат в руках понтеров;—играют.

А молодой человек все прильнул к двери,—окраина врезалась ему в лицо... и невольно вспоминает он свое детство,—ищет глазами отца, прислушивается, не голос ли няньки,—не зовет ли она его в теплую постельку, не манит ли его игрушкой... ему хочется обмануть себя... тщетно! Пред ним холодное, неумолимое лицо палача: палач вынимает карту за картой и ставит их на жизнь или смерть—багровые круги вертятся около нагоревших свечей, часы пробили половину двенадцати. Молодой человек вспоминает о прекрасной душистой записке, прижимает ее

к губам, слезы текут из его глаз,—он проклинает и карты, и себя, и рождение, и жизнь, и детство, и свое воспитание, проклинает все, что только представляется его памяти... все! Он готов предупредить своего палача,— ворваться в средину игроков, швырнуть со стола карты, размозжить головы, броситься из окошка... но вот говор игроков умолк,—видно, решительная минута... все стихло—все наклонились на стол, слышно тихое трепетание маятника, отрывистые дрожащие голоса произносят как будто из могил: семерка... идет... убита... тройка... дама... плие...

«Ва-банк!»—вскричал палач громовым голосом...

Молодой человек отбежал от двери и упал без чувств на диван...

Через несколько времени довелось мне быть на макарьевской ярмарке по коммерческим делам. Старые и новые приятели затащили меня в какой-то дом истинного их приятеля, как говорили они, и где очень весело. Я поддался. Приходим; смотрю: квартира славная, убранство—и зеркала, и гардины, и мебели—очень красиво, точь-в-точь в зале петербургского парикмахера: оборотился на людей: шулер на шулере, а между ними набольший, так все его уважают, так все ухаживают за ним.

Отворяются двери,—входят новые гости; глядь, ан мои старые знакомые дядя с племянником в дорожных платьях—и прямо на шею к набольшему-то.

«Ну, брат, Ванюша,—проговорил басистый дядя,— поздравляю; вот тебе твой сынок; можешь на него положиться: верный помощник, верная опора на старости; отучил молодца: он больше... не *понтирует*».

КОММЕН-
ТАРИИ

СКАЗКА

о том, по какому случаю коллежскому советнику Ивану Богдановичу Отношенью не удалося в светлое воскресенье поздравить своих начальников с праздником

Впервые — <В. Ф. Одоевский>. Пестрые сказки с красным словцом. собранные Иринеем Модестовичем Гомозейкою, магистром философии и членом разных ученых обществ, издаиные *В. Безгласным.* СПб., 1833, с. 75—88. Печатается по тексту Собрания сочинений 1844 года.

Стр. 7. *Шаховской* Александр Александрович (1777—1846) — поэт и драматург, знакомый Одоевского.

Стр. 9. ... *Сивиллин треножник...* — Сивиллы — прорицательницы в Древней Греции и Риме. Порою прорицательницы вещали, восседая на треножнике.

Стр. 11. *«Открытые таинства картежной игры».* — Имеется в виду анонимно изданная книга «Жизнь игрока, описанная им самим, или Открытые хитрости карточной игры», в 2-х т. М., 1826—1827.

СКАЗКА О МЕРТВОМ ТЕЛЕ, НЕИЗВЕСТНО КОМУ ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ

Впервые — <В. Ф. Одоевский>. Пестрые сказки..., с. 29—52. Печатается по тексту Собраний сочинений 1844 года с учетом позднейшей авторской правки.

Стр. 12. Эпиграф взят из повести Н. В. Гоголя «Ночь перед рождеством», и этим подчеркнуто несомиенное влияиие гоголевской прозы на повесть Одоевского. В 1831 г. Одоевский высоко оценил «Вечера на хуторе близ Диканьки» и отметил, что повести Гоголя «выше и по вымыслу, и по рассказу, и по слогу всего того, что доныне издавали под

названием русских романов» (Труды кафедры русской литературы Львовского гос. ун-та, вып. 2. Львов, 1958, с. 72). В свою очередь, Гоголь с восхищением отзывался о творчестве Одоевского и принял участие в издании «Пестрых сказок». В 1833 г. Одоевский писал историку М. А. Максимовичу: «Я печатаю — <...> — с Гоголем «Двойчатку», составленную из наших двух новых повестей» («Киевская старина», 1883, т. V, апрель, с. 846). Издание задуманного альманаха не состоялось, но сам его замысел говорит о дружбе и совпадении творческих замыслов писателей. В 1836 г. Одоевский на страницах пушкинского «Современника» назвал Гоголя «лучшим талантом в России» (В. Ф. Одоевский. Сочинения, ч. III, с. 368).

Реженск — несуществующий, придуманный город, символ глухой провинции. Ср. в «Сильфиде» фамилию типичного провинциала — Реженский.

Стр. 13. *...Сивиллина книга...* — собрание пророчеств и афоризмов. Согласно преданию, в VI в. до н. э. римский царь Тарквиний Приск купил эту книгу у прорицательницы Сивиллы Кумской. При решении спорных и особо важных государственных вопросов римляне иногда гадали по Сивиллиной книге.

Стр. 15. *Бова-королевич* — герой популярной в народе старинной русской повести. К повести о Бове-королевиче проявляли интерес многие русские писатели. Пушкин оставил два незавершенных наброска своего «Бовы».

Ванька Каин (Иван Осипович Каин) — знаменитый вор и полицейский сыщик, наводивший в середине XVIII в. ужас на жителей Москвы. Его созданное известным автором лубочных романов М. Комаровым жизнеописание было любимым чтением простого народа. В архиве писателя сохранился текст народной драмы о Ваньке Каине, написанной, по-видимому, самим Одоевским.

...путешествии купца Коробейникова в Иерусалим... — Речь идет о книге «Путешествие московского купца Трифона Коробейникова с товарищи в Иерусалим, Египет и к Синайской горе», не раз издававшейся в конце XVIII — начале XIX вв. Коробейников и его спутники отправились в это путешествие в 1583 г. по повелению Ивана Грозного.

Стр. 16. *Гнилое море* (точнее: Мертвое) — соленое озеро в Палестине.

...процессия погребения кота... — сюжет популярной лубочной картины.

...палиты царя Фараона... — развалины дворца в Каире, описанные Коробейниковым.

...птица Строфокамил... — Так Коробейников назвал страуса.

ИСТОРИЯ О ПЕТУХЕ, КОШКЕ И ЛЯГУШКЕ

Впервые — «Библиотека для чтения», 1834, т. II, с. 192—211. Печатается по тексту Собрания сочинений 1844 года с учетом позднейшей правки.

Стр. 24. *...один из новейших сочинителей...*— Скорее всего, имеются в виду «Старосветские помещики» Гоголя, прочитанные Одоевским в рукописи.

Стр. 31. *Гейстер Лаврентий* (1683—1758) — знаменитый немецкий врач и хирург. В молодости Одоевский увлекался медициной и под руководством известного врача Х. И. Лодера практически изучал анатомию, и потому в его описании медицинских книг ощутимы немалые познания.

Стр. 32. *Бургаве* Герман (1668—1738) — нидерландский врач, ботаник и химик.

НОВЫЙ ГОД

Впервые — «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1837, № 1, с. 4—6. Повесть датирована 1831 годом. Печатается по тексту Собрания сочинений 1844 года.

В повести Одоевского многое почерпнуто из жизни петербургского кружка любомудров. В 1827—1831 годах А. С. Хомяков, А. И. Кошелев, В. П. Титов, С. А. Соболевский встречались в салоне Карамзиных, на литературно-музыкальных вечерах графа М. Ю. Виельгорского и в доме В. Ф. Одоевского. «Проводили мы вечер у князя Одоевского, спорили втроем о конечности и бесконечности мира, и незаметно беседа наша продлилась до трех часов ночи... Вечера и обеды у князя Одоевского все более и более скрепляли нашу дружбу и сильно содействовали к нашему умственному и нравственному развитию»,—вспоминал Кошелев (А. С. Хомяков. Полн. собр. соч., т. VIII. М., 1904, с. 119, 120). В этой дружеской атмосфере кружок любомудров как бы обрел второе дыхание, и даже трагическая смерть главного идеолога и оратора кружка Д. В. Веневитинова не прервала эти встречи. Но прежнего простодушного стремления к высоким идеалам уже не было, и пылкие философские споры все чаще прерывались вполне практическими разговорами о прибылях, откупах, о фабриках, заведенных Соболевским и И. Мальцовым, об успехах в свете, при дворе, на службе. Это постепенное охлаждение пылких порывов романтиков-любомудров и показано в «Новом годе». Поэтому эту повесть Одоевского можно рассматривать как своего рода предтечу знаменитого романа И. Гончарова «Обыкновенная история», где также показано разочарование и перерождение романтика, столкнувшегося с прозой жизни.

Стр. 36. *...пиршество... приближалось к лукуллову.*—Лукулл Луций Лициний (ок. 117—ок. 56 гг. до н. э.), римский военачальник и политик; прославился богатством и роскошью жизни, вошедшими в поговорку («Лукуллов пир»).

Стр. 37. *...одного добросовестного журналиста...*— Скорее всего имеется в виду историк Михаил Петрович Погодин (1800— 1875), издававший в 1827—1830 гг. журнал любомудров «Московский вестник».

...раздаватели литературной славы...—Имеются в виду консервативные журналисты Н. И. Греч и Ф. В. Булгарин, вступившие в полемику

с издателями альманаха «Мнемозина». М. П. Погодин писал об этой полемике: «Грозные послания Одоевского к Булгарину и Гречу составляли новое явление в нашей журналистике» («В память о князе Владимире Федоровиче Одоевском», с. 51). Далее Одоевский дает весьма точную характеристику литературной борьбы 1820-х годов. Главный враг любомудров Булгарин не брезговал никакими средствами в этой борьбе. Причем он мог яростно поносить Одоевского в печати, писать на него доносы и в то же время спокойно сказать в частном письме: «Об Одоевском слышу тьму хорошего от Грибоедова, уважаю его и надеюсь, что из него будет прок, как молодость прокатит» («Русская литература», 1971, № 2, с. 115).

...мы воображали себя на тонких философских диспутах портика или академии.— Древнегреческие философы вели свои беседы в портиках храмов и общественных зданий; Платон основал свою философскую школу близ Афин, в местности Академос, и отсюда название «Академия».

КАТЯ, ИЛИ ИСТОРИЯ ВОСПИТАННИЦЫ

Впервые — альманах «Новоселье», ч. II. СПб., 1834, с. 369—402. Печатается по тексту альманаха.

Повесть не завершена. В архиве писателя есть отдельные сцены, дополняющие опубликованный отрывок, а также следующий план продолжения повести: «Одна из графинь выходит замуж — тогда узнает графиня, что они разорились. Царство Павлинова — графиня оставляет ему своих дочерей — он ради лицемерия их воспитывает. Волочится за Катей — ее родные хотели бы, чтоб она была его любовницей — она его обращает в мужа — она торжествует над графинями и над дочерью — Марией.— Мария ищет утешения в тетке, та только ее мучает. Катя Павлинова видит в ней признаки ее матери и мстит на ней.— Дитя, замученное, умирает. Катя откупщица — миллионерша» (*Сакулин*, II, 133).

Стр. 44. ...*Гетевы слова о Гамлете...*— В романе Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера» главный герой говорит о Гамлете: «Прекрасное, чистое, благородное, высоконравственное создание, лишенное силы чувств, без коей не бывает героев, гибнет под бременем, которого ни нести, ни сбросить ему не дано; всякий долг для него свят, а этот тяжел не в меру» (И.-В. Гете. Собр. соч., т. 7. М., «Художественная литература», 1978, с. 199).

Стр. 49. *Брянвилье*— Бренвилье Мария-Мадлена (1630—1676), была известна своими злодеяниями, убийством отца и братьев. История злодеяний и судебного процесса над ней была напечатана в Париже в 1676 г. История эта использована немецким романтиком Э.-Т.-А. Гофманом в повести «Мадемуазель де Скюдери».

«Барнав» (1831)—роман французского писателя Жюля Жанена (1804—1874).

«Саламандра» (1832) — роман Эжена Сю (1804—1857).

Стр. 50. *...для замыслов каких-то непонятных...* — Цитата из «Горя от ума» (действ. 2, явл. 5).

Стр. 54. *Кавалетта* — кабалетта, заключительный раздел арии в итальянских операх и ораториях.

Стр. 55. *Ламенне* Фелисите Робер де (1782—1854) — французский писатель, религиозно-политический деятель, один из главных проповедников христианского социализма. Его книга «Опыт о безразличии в религиозных вопросах» (т. 1—4) вышла в Париже в 1817—1828 гг.

Стр. 57. *Дольчи* Карло (1616—1686) — итальянский живописец. Его картина «Св. Цецилия» находится в Эрмитаже.

ЧЕРНАЯ ПЕРЧАТКА

Впервые — «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1838, № 1, с. 1—5; № 2, с. 21—26. Помечено 1835 годом. Печатается по тексту Собрания сочинений 1844 года с учетом позднейшей авторской правки.

Стр. 59. *Томсон* Джеймс (1700—1748) — английский поэт, автор дидактической поэмы «Времена года» (1726—1730).

Палей Уильям (1743—1805) — английский философ-моралист.

Стр. 60. *Ричардсон* Сэмюэл (1689—1761) — английский писатель. В его лучшем романе «Кларисса» (1747—1748) мастерское изображение человеческих чувств соединяется с дидактизмом и рассудочностью.

Стр. 71. *Варган* — народный музыкальный инструмент, состоящий из изогнутой железной пластины и ударяющего по ней стального язычка.

Стр. 74. *...с людьми случайными...* — то есть с людьми влиятельными, находившимися, как тогда говорили, «в случае», пользовавшимися особым доверием и благоволением императорского двора и правительства.

Стр. 80. *«Редгонтлет»* («Редгунтлет»; 1824) — роман английского писателя Вальтера Скотта (1771—1832).

Якобиты — мятежные сторонники свергнутой в 1689 г. английской династии Стюартов, ставшие персонажами многих исторических романов Вальтера Скотта.

IMBROGLIO

Впервые — В. Ф. Одоевский. Сочинения, ч. II. СПб., 1844, с. 59—103 с датой 1835 г. Печатается по этому изданию.

Стр. 82. *Тассо* Торквато (1544—1595) — итальянский поэт, автор поэмы «Освобожденный Иерусалим» (1580).

Стр. 87. *Сбир* — солдат городской стражи.

Стр. 93. *Сан-Карло* — оперный театр в Неаполе.

Стр. 94. *«Анна Болейн»* — опера итальянского композитора Гаэтано Доницетти (1797—1848), впервые поставленная в 1830 г. в миланском театре «Каркано».

Стр. 95. *Беллини* Винченцо (1801—1835) — итальянский композитор. См. коммент. на с. 356, т. I наст. изд.

Стр. 98. *Iao* — точнее Ioa, имя великого древнеегипетского законодателя, упоминающееся в таинствах посвящения в жрецы.

СИЛЬФИДА

Впервые — «Современник», 1837, т. V, с. 147—182. Помета: «Ревель. 1836». Печатается по изд.: В. Ф. Одоевский. Повести. М., «Советская Россия», 1977.

Сильфида. — Согласно учению немецкого врача Парацельса (Филиппа Ауреола Теофраста Бомбаста фон Гогенгейма, 1493—1541), изложенному в алхимическом трактате «О нимфах, сильфах, гномах и саламандрах», так именовался дух стихии воздуха.

Повесть посвящена Анастасии Сергеевне Пашковой.

Первый эпиграф взят из книги десятой «Государства» Платона.

Стр. 108. *Карл X* (1757—1836) — король Франции, свергнутый в результате Июльской революции 1830 г.

Дон-Карлос (1788—1855) — брат испанского короля Фердинанда VII, претендовавший на престол и начавший гражданскую («карлистскую») войну 1833—1840 гг.

Стр. 109. *Иван Федорович Шпонька* — главный персонаж повести Гоголя «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» (1832).

Стр. 111. *«Граф <де> Габалис, или Разговоры о тайных науках»* — книга о стихийных духах и их отношениях с людьми, написанная и анонимно изданная в Париже в 1670 г. аббатом Никола Вилларом де Монфоконом (1635—1673). Книга аббата Виллара, не раз впоследствии переиздававшаяся, пользовалась большим успехом у читателей и повлияла на многих западноевропейских писателей, в особенности на Э.-Т.-А. Гофмана (см. его повести «Золотой горшок», «Королевская невеста», «Выбор невесты» и др.).

Вилланова Арнольд (1235—1312) — испанский алхимик и теософ.

Луллий Раймонд (1235—1315) — испанский мистик и богослов, также занимавшийся алхимическими опытами. Одоевский, изучавший химию под руководством академика Гесса, понимал всю тщетность исканий алхимиков, но ценил их метод, умение изучать предмет всесторонне, с помощью единой науки, не дробя знание на обособленные по специальностям части.

Каббала (Предание) — тайное мистическое учение средневековья, сочетавшее идеи восточной и античной философии. Делилось на две сферы знания. В первой сфере исследовалась природа человека и вселенной. Во второй, по Библии, предсказывалось будущее и совершались упражнения в прикладной магии. Каббалисты считали, что мир основан на чудодейственном сцеплении чисел и что постичь его смысл можно только с помощью особой науки о числах. Эта мысль повлияла на воззрения Парацельса и других алхимиков и получила распространение в масонской литературе XVIII в., в частности, в знаменитой повести Жака Казота «Влюбленный дьявол» (1772), и в сочинениях европейских романтиков. Идеи каббалистов о бесконечном предвосхитили многие положения шеллингианской философии тождества, которой был увлечен Одоевский.

Стр. 112. *Ундина* — дух стихии воды, героиня одноименной повести немецкого романтика Фридриха де ла Мотт Фуке (1777—1843), пересказанной в стихах В. А. Жуковским.

...ее дядюшкою... — Имеется в виду Струй, водяной, персонаж «Ундины». В 30-е годы Одоевский начал работать над «таинственной» повестью «Ундина», где появляются персонажи Фуке.

Стр. 118. *Поташный завод* — предприятие по производству карбоната калия, химического вещества, необходимого для приготовления мыла, стекла и использующегося как удобрение.

Стр. 120. *...ты ли это, гордый Рим...* — Здесь мысли Одоевского о Древнем Риме и современной ему Италии перекликаются с суждениями Баратынского, Гоголя, С. П. Шевырева, Аполлона Григорьева. Современники отмечали несомненное сходство «Сильфиды» и «Призраков» И. С. Тургенева.

В черновиках Одоевского сохранились следующие слова Сильфиды, важные для понимания этого отрывка: «Зачем ты вызвал меня,— когда не хочешь расстаться с земляным твоим братом — ты записываешь мои чувства, мои мысли,— зачем это; ты не можешь себе вообразить, какое страдание для мысли эта темница ваших слов, звуков, красок,— вы думаете, что производите; вы только заключаете живое воздушное существо в мертвенную оболочку,— оно терзается, оно рыдает в ваших звуках, в ваших картинах, а вы радуетесь и хвалите искусство тюремщика. Вы, злые люди, хотели бы перенести свои земляные страдания в наше светлое жилище, вы хотели бы создать нас по своему подобию, иные даже жалеют об нас, зачем у нас нет страданий» (*Сакулин,* II, 72).

Стр. 124. *...рядную написал...* — составил роспись приданого невесты.

ОРЛАХСКАЯ КРЕСТЬЯНКА

Впервые — «Отечественные записки», 1842, т. XX, № 1, с. 240—253. Повесть написана в 1838 году. Печатается по тексту журнальной публикации с уточнениями по беловому автографу.

Цикл «Беснующиеся» должен был включать в себя «таинственные» повести, посвященные различным видам одержимости. Автор завершил только «Орлахскую крестьянку».

Стр. 127. *Шведенборг*— Сведенборг Эмануэль (1688—1772), шведский философ-мистик.

Стр. 128. *...о нашей прежней светлой одежде...*— Одоевский имеет в виду истинную, духовную одежду человека, о которой говорится в трудах французского философа Луи Клода де Сен-Мартена (см.: *Сакулин,* I, 402).

Стр. 129. *...об одной крестьянской девушке...*— о немецкой крестьянке Магдалене (Одоевский называет ее Энхен) Громбах (1812—1852), страдавшей особого рода одержимостью (см.: *Сакулин,* II, 91).

Стр. 131. *Санд Жорж* (1804—1876) — французская писательница.

Одоевский высоко ценил творчество современных ему французских романистов, часто ссылался на них или же их цитировал в своих произведениях, а одна из его героинь, явно выражая авторскую позицию, говорит: «Я люблю романы, но только те, которые читаю — и хитросплетенные, обстоятельные монографии остроумного Бальзака, и резкие, драматические рассказы Евгения Сю, и лихорадочные, увлекательные, адом диктованные откровенья Фредерика Сулье,— и даже,— да простят мне добродетельные ханжи, мудрые тетушки и нравоблюстительные критики! — и даже с искренним, удивленным наслаждением читаю вдохновенные воззванья Жоржа Санда, ее бурные, красноречивые нападки на то, что есть, в защиту того, что должно и могло быть» (*Сакулин,* II, 123).

Стр. 140. *Магнетизм,* или месмеризм — учение австрийского врача Ф. Месмера (1733—1815), утверждавшего, что планеты влияют на человека с помощью особой силы («животного магнетизма»). Теория Месмера была ложной. но. в частности, он открыл явление гипнотизма, впоследствии использовавшееся при лечении гипнозом.

САЛАМАНДРА

Первая часть дилогии, повесть «Южный берег Финляндии в начале XVIII столетия», была впервые напечатана в альманахе «Утренняя заря на 1841 год». СПб., 1841, с. 15—128. Повесть «Саламандра», получившая позднее название «Эльса» и ставшая второй частью дилогии, впервые напечатана в журнале «Отечественные записки», 1841, т. XIV, отд. III., с. 1—38. Замысел ее относится к 1838 году. Во второй части «Сочинений» 1844 года обе повести были объединены под общим заглавием «Саламандра». Печатается по тексту Собрания сочинений 1844 года с учетом позднейшей авторской правки.

Саламандра— дух стихии огня.

В первоначальных авторских заметках действие повести происходило в Западной Европе. Сохранился следующий план произведения: «*Саламандра*: лаборатория алхимика; прошло 230 дней, он поручает молодому адепту смотреть в огонь и наблюдать, чтобы он всегда был одного цвета; засыпает; в средине калильного шара лицо улыбается юноше, уверяет его, что старец ничего не сделает,— полюби меня, и я тебе открою тайну делать золото с условием, если откроешь, я погибну и тебя погублю. Люди могут открыть наши тайны двумя способами: трудом, но долго, но любовью в одно мгновение. Юноша соглашается — (XVI век), богатеет он в Риме — богатство его привлекает внимание инквизиции,— его допрашивают — он не сказывает, огонь его не палит, его желает видеть Лев X и приказывает оставить, как сумасшедшего. Он скрывается в Германию — новые преследования — во Францию. Там он влюбляется в одну из любовниц Франциска, она назначает ему свидание — в эту минуту он открывает ей, но Саламандра удушает их обоих — с тех пор над домом носятся вопли и стоны» (*Сакулин*, II, 75). Впоследствии действие «Саламандры» было перенесено в Россию.

Стр. 141. *Мусина-Пушкина* Эмилия Карловна (1810—1846) — светская дама, знаменитая красавица, была знакома с Пушкиным, Лермонтовым и другими писателями.

Грот Яков Карлович (1812—1893) — русский филолог, переводчик «Саги о Фритьофе» шведского поэта Э. Тегнера (1782—1846) и карело-финского эпоса «Калевала». Повесть «Южный берег Финляндии...» предназначалась автором для издававшегося Гротом в Хельсинки юбилейного альманаха. Но по требованию шефа жандармов Бенкендорфа писатель отдал повесть В. А. Владиславлеву, издателю «Утренней зари». Гроту была послана повесть «Необойденный дом». Одоевский с интересом наблюдал за деятельностью Грота и шутливо писал ему: «В «Южном береге Финляндии» Вы увидите, как я вокруг Вас пощечился,— пишите больше — еще вас обокрадем» (Я. К. Грот. Переписка с П. А. Плетневым, т. I. СПб., 1896, с. 676).

Лёнрот Элиас (1802—1884) — финский фольклорист, собиратель и издатель песен «Калевалы».

Стр. 142. *Вольф* Фридрих Август (1759—1824) — немецкий филолог. Считал, что «Илиада» и «Одиссея» являют собой собрание отдельных песен, написанных в разное время несколькими поэтами, и в их числе Гомером.

Стр. 143. *Иматра* — порог на реке Вуокса.

Волоковое окно — маленькое, задвигающееся ставнем-волоком оконце, куда вытягивался (выволакивался) дым из курной избы.

Стр. 144. *...калевы с пахиолами...* — Имеются в виду враждовавшие легендарные племена, населявшие мрачную страну зла Похъела и светлую счастливую землю Калевалы.

Вереи — веревочные дверные петли.

В *«Финской легенде»* рассказывается в сказочно-аллегорической

форме о Северной войне между Швецией и Россией и об основании Петербурга. В легенде мастерски использованы образы и традиции финского фольклора, что было отмечено Белинским, писавшим: «Можно ли лучше воспользоваться преданиями племени, чтоб написать поэму, которая в тысячу раз выше всевозможных «Петриад» и в которой образ Петра является столь верным и истинным действительности, в своей мифической колоссальности?..» (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. IV, с. 454).

Сампо — волшебная мельница, о которой рассказывается в «Калевале»; символ вечного счастья и изобилия. Позднее Одоевский намеревался написать повесть о русском участнике европейских революционных событий 1848 г. В плане этой повести говорится о финляндском Сампо как о «прообразе социализма» (ОР ГПБ, ф. 539, оп. I, пер. № 20, л. 46).

Стр. 145. *Юмала* — в финской мифологии бог грома. *Пергола* — дьявол.

Стр. 146. *...сестра царева...* — царевна Софья Алексеевна (1657—1704), жаждавшая власти и противившаяся реформам Петра I.

Стр. 150. *Выборг* — крепость, взятая в 1710 г. русскими войсками под командованием Ф. М. Апраксина.

Стр. 152. *Фузильеры* — пехотинцы, вооруженные кремневыми ружьями — фузеями.

Стр. 154. *Куракин* Борис Иванович (1676—1727) — русский дипломат. По поручению Петра I присматривал за учившейся в Европе русской молодежью.

Стр. 155. *...Нейштадский трактат...* — Ништадтский мирный договор, заключенный в 1721 г. между Россией и Швецией.

Стр. 162. *Фижмы* — юбка на китовом усе. *Полуроброн* — старинное бальное платье с широкой юбкой на каркасе в виде обруча.

Стр. 163. *Просвирня* — женщина, выпекавшая для церковных обрядов особый хлеб — просфоры.

Стр. 175. *Цельзиус* (Цельс) Авл Корнелий (I в. до н. э. — I в. н. э.) — древнеримский медик.

Стр. 183. *Соллогуб* Владимир Александрович (1813—1882) — русский писатель, приятель Одоевского.

Понтанус (Понтано) Джованни (1426—1503) — итальянский поэт и ученый, писавший по-латыни. О нем с иронией отзывался Рабле в своем романе «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Стр. 184. *Кунсткамера* — хранилище исторических и художественных коллекций и редкостей в Петербурге, учрежденное Петром I в 1714 г.

Стр. 185. *...даровитостью...* — По-видимому, надо читать «тароватостью», т. е. щедростью.

Стр. 186. *...старобоярский дом...* — Эти мысли Одоевского перекликаются с «Путешествием из Москвы в Петербург» Пушкина, где, в частности, говорится: «Под вызолоченным гербом торчит вывеска портного... Купечество богатеет и начинает селиться в палатах, покида-

емых дворянством» (Пушкин. Полн. собр. соч., т. XI, с. 246—247).

Стр. 189. *Жозефина* (1763—1814) — первая жена Наполеона Бонапарта.

Стр. 191. *«Брюсов календарь».* — Впервые вышел в 1709 г. и содержал различные астрологические предсказания. Автором календаря считали «чернокнижника» Я. В. Брюса, между тем составил книгу библиотекарь Василий Киприянов.

Стр. 194. *Сухарева башня* — готическое трехъярусное здание в Москве, построенное Петром I в 1692 г.

В образе старого графа воплотились некоторые черты Я. В. Брюса (1670—1735), ученого и полководца, сподвижника Петра, слывшего в народе колдуном и чернокнижником. В помещении Сухаревой башни находились кабинет и обсерватория Брюса. Как соредактор «Отечественных записок», Одоевский был знаком с незавершенным историческим романом И. И. Лажечникова о Брюсе «Колдун на Сухаревой башне», печатавшимся в этом журнале в 1840 г.

Стр. 197. *Жупел* — кипящая сера в аду. В переносном смысле — нечто пугающее, непонятное.

Стр. 198. *Фламмель* Никола (1330—1418) — французский юрист и алхимик.

Стр. 199. *Гебер* — автор написанных по-латыни алхимических трактатов, живший в XIII в. См. также коммент. к повести «Сильфида», с. 350.

КНЯЖНА МИМИ

Впервые — «Библиотека для чтения», 1834, т. VII, с. 17—72. Печатается по тексту Собрания сочинений 1844 года с учетом позднейшей авторской правки.

В архиве писателя сохранилась черновая запись, где характеру княжны Мими давалось весьма примечательное объяснение. Оказывается, в подвале ее дома «жило очень почтенное семейство чертей и занималось изящными искусствами: отец пускал мыльные пузыри, мать сплетничала, а дочь с большим выражением пела: Di tanti palpiti». В этот же подвал залетел и невоспитанный бес «очень дурного тона» (намек на Булгарина и Н. А. Полевого), игравший хвостом на фортепьяно и говоривший «лабазным языком — как будто сейчас выскочил из какой-нибудь русской повести» (ОР ГПБ, ф 539, оп 1, пер № 4, л 61). Эти бесы и вселились в тело умершей княжны Мими, определив ее вздорный и злобный нрав светской сплетницы. Такое объяснение вполне в духе сатирической дидактики молодого Одоевского, да и в ранней его повести «Елладий» можно легко отыскать прообраз Мими — старую деву Глупосилину. Эта просветительская аллегория была замечена еще Аполлоном Григорьевым, писавшим: «Княжна Мими — не живое существо, а мысль, и притом мысль чудовищная, выведенная, как математическая выкладка,

из наблюдений исключительно грустных и мрачных, диалектически верно развитая страсть, а не тип» (Аполлон Григорьев. Собр. соч., вып. 9. М., 1916, с. 43).

Повесть-сатира «Княжна Мими» пользовалась немалой известностью у современников Одоевского. Ее охотно читали, критика ее в основном хвалила, и лишь постоянный враг Одоевского Булгарин, по обыкновению, оклеветал автора, обвинив его в заимствовании сюжета и персонажей у Марлинского. Белинский говорил о повести: «Превосходный рассказ, простота и естественность завязки и развязки, выдержанность характеров, знание света делают «Княжну Мими» одною из лучших русских повестей» (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VIII, с. 313).

Стр. 225. *Гинекей* — женская половина дома в Древней Греции.

Стр. 231. *...глубокомысленными описателями нравов...* — Имеются в виду Ф. Булгарин и другие авторы популярных тогда нравоописательных романов и повестей.

Канзу — корсаж.

Стр. 233. *Г-н N* и *г-н D* — персонажи «Горя от ума».

Стр. 236. *«Антони»* — романтическая драма Александра Дюма (отца) (1802—1870).

Стр. 238. *Брантом* Пьер де Бурделье (между 1527 и 1540—1614) — французский мемуарист, сообщивший в своих книгах множество анекдотов об интригах и любовных похождениях придворных XVI в.

Тредиаковский Василий Кириллович (1703—1768) — русский писатель. В 1730 г. перевел аллегорический роман французского писателя Поля Тальмана «Езда в остров Любви».

Стр. 240. *...как Марса с Венерою...* — Имеется в виду знаменитая «вставная новелла» в «Одиссее», где рассказывается о боге Гефесте, опутавшем железными сетями бога войны Арея (Марса) и свою неверную жену Афродиту (Венеру).

Стр. 244. *...нашего поэта...* — Одоевский имеет в виду восьмую главу «Евгения Онегина».

Стр. 248. *Парни* Эварист Дезире (1753—1814) — французский поэт, автор эротических стихотворений и сатирических антирелигиозных поэм.

Бентам. — См. коммент. на с. 348, т. I наст. изд.

Стр. 254. *«Племянник Рамо»* — повесть-диалог французского писателя и философа Дени Дидро (1713—1784).

КНЯЖНА ЗИЗИ

Впервые — «Отечественные записки», 1839, т. I, с. 3—70. Печатается по тексту Собрания сочинений 1844 года с учетом позднейшей авторской правки.

Повесть предназначалась Одоевским для журнала «Русский сборник», который он намеревался издавать в 1836 году. Затем «Княжна

Зизи» была отдана автором Пушкину для помещения в его «Современнике». Прочитав повесть, Пушкин назвал ее «славной вещью» и писал Одоевскому: «Конечно, «Княжна Зизи» имеет более истины и занимательности, нежели «Сильфида». Но всякое даяние Ваше благо» (Пушкин. Полн. собр. соч., т. XVI, с. 210). Белинский оценил общественный пафос повести Одоевского и писал, что основная идея «Княжны Зизи» — это «положение в обществе женщины, которая, по своему сердцу, по душе, составляет исключение из общества и дорого платит за свое незнание людей и жизни, которым слишком доверялась, потому что судила о них по самой себе» (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VIII, с. 313).

Стр. 258. *...фешенеблц-индустриялисты.*— Автор имеет в виду своих друзей по Обществу любомудрия, в 30-е г. ставших деловыми людьми, владельцами фабрик — И. Мальцова, С. Соболевского, а также членов аристократического кружка «избранных молодых людей», собиравшихся вечерами в петербургском салоне Карамзиных.

Стр. 259. *Байронизм.*— Одоевский весьма критически относился к Байрону и его романтической поэзии и в особенности порицал моду на «байронизм», распространившуюся среди светской молодежи: «Произведения мрачного гения. возвысившего презрение к людям до поэтического вдохновения, произвели толпу людей, притворившихся несчастливыми в этой жизни, как будто бы они понимали другую, лучшую» (В. Ф. Одоевский. Соч., ч. III, с. 363). Одного из этих светских «байронистов» Одоевский изобразил в повести «Черная перчатка», придав Воротынскому черты модного салонного «демона».

Стр. 260. *...напомнило мне неподражаемого Грибоедова.*— В «Горе от ума» (действ. 3, явл. 7) появляются князь и княгиня Тугоуховские с шестью дочерьми, среди которых княжна Зизи и княжна Мими. Многие диалоги и сюжетные ситуации повести перекликаются с грибоедовской комедией.

Стр. 262. *Эшарпы* — шарфы (от фр. echarpe).

Стр. 263. *...историю о странствиях аббата Лапорта...*— имеется в виду сорокадвухтомное сочинение «Французский путешественник, или Познание древнего и нового мира», выходившее в Париже в 1765—1795 гг. Первые 26 томов были составлены литератором Жозефом Лапортом (1718—1779).

«Кларисса» — роман С. Ричардсона. См. с. 349 наст. тома.

Стр. 264. *Фальбала* — оборка и волан на женском платье.

Стр. 277. *Классик* — поклонник литературы классицизма, направления, в описываемое время ставшего уже консервативным. Сам Одоевский был романтиком, спорил со сторонниками классицизма, усматривая в этом направлении творческую холодность, рационализм, скованность художественного мышления.

Стр. 283. *Пеллико* Сильвио (1789—1854) — итальянский писатель, автор книг «Мои темницы» (1832) и «Об обязанностях человека» (1834).

Одоевский говорит о второй книге Пеллико и в своем суждении о вечной новизне высоких истин повторяет мысли Пушкина, рецензировавщего русский перевод «Об обязанностях человека» в «Современнике».

Стр. 285. *Залис*—Зевис Иоганн Гауденц (1762—1834)—швейцарский поэт-сентименталист.

ПРИВИДЕНИЕ

Впервые—«Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1838, № 40, с. 781—785. Печатается по тексту Собрания сочинений 1844 года.

Стр. 304. *Путята* Николай Васильевич (1802—1877)—литератор, приятель В. Ф. Одоевского.

Стр. 307. *...о танцующих стульях...*—Эта история была довольно известной. В 1833 г. Пушкин записал в дневнике: «В городе говорят о странном происшествии. В одном из домов, принадлежащих ведомству придворной конюшни, мебели вздумали двигаться и прыгать; дело пошло по начальству» (Пушкин. Полн. собр. соч., т. XII, с. 317—318). Историей о танцующих стульях интересовался и Гоголь, рассказывавший о ней своим ученикам и упомянувший об этой истории в повести «Нос».

НЕОБОЙДЕННЫЙ ДОМ

Впервые—«Альманах в память двухсотлетнего юбилея имп. Александровского университета». Гельсингфорс, 1842, с. 215—234. Печатается по тексту Собрания сочинений 1844 года с учетом позднейшей авторской правки.

Повесть написана в 1840 году. «Посылаю Вам «Необойденный дом» в роде русских легенд, чего еще у нас не пробовали, и совершенно характериую русскую»,—писал Одоевский Я. К. Гроту (Я. К. Грот. Переписка с П. А. Плетневым, т. I, с. 676). Интерес к народному творчеству, сказкам, фантастике и преданиям вообще был характерен для русских писателей-романтиков; фольклорные сюжеты и мотивы использовали в своих повестях О. Сомов, М. Погодин, А. Погорельский-Перовский, А. Бестужев-Марлинский, В. Даль, В. Кюхельбекер (см.: Р. В. Иезуитова. Литература второй половины 1820—1830-х годов и фольклор.—В кн.: «Русская литература и фольклор». Л., «Наука», 1976). Сам Одоевский поместил в своем сборнике «Пестрые сказки» (1833) повесть «Игоша», основанную на народном предании о домовых.

Одоевский, как и многие русские писатели XIX века (И. Козлов, Н. Некрасов, Н. Лесков, Л. Толстой, Ф. Достоевский), взял религиозную народную легенду о великом грешнике и праведнице. В «Необойденном доме» с помощью традиционного религиозного мотива показано

духовное возрождение человека из народа, что сближает повесть Одоевского с знаменитой некрасовской балладой об атамане Кудеяре и двенадцати разбойниках, ставшей любимой народной песней и увековеченной бессмертным голосом Шаляпина: «Вдруг у разбойника лютого совесть господь пробудил». Этот чисто народный мотив пробуждения совести, воскресения падшей души Одоевский воплотил в форме и традициях русского фольклора. Эта интереснейшая повесть-легенда представляет собой особую страницу в творчестве В. Ф. Одоевского и заставляет нас иначе, по-новому, взглянуть не только на его творчество, но и на пути русской романтической прозы; и не случайно Белинский заметил эту повесть еще при первой публикации и находил ее «прекрасно рассказанной» (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VI, с. 113).

Повестям «Игоша» и «Необойденный дом» в Собрании сочинений 1844 года предпослано следующее авторское разъяснение, важное и для понимания этих повестей, и для истории отечественной фольклористики, и для литературной теории:

«Считаю нужным сказать несколько слов о том смысле, в котором я принимаю слово *предание,* смысле, до некоторой степени уклоняющемся от того, который бо́льшею частию в сем случае предполагается. Обыкновенно сему слову присвояется значение *древнего сказания*; я принимаю это слово в более простом и общем его значении, т. е. в значении всего, что передается от лица к лицу.— Я уверился (по основаниям, о которых бы надобно было написать целую книгу ex professo), что независимо от отдельных лиц, производящих то, что вообще называется *литературою,* каждый самобытный народ в целости творит свою эпопею более или менее полную, более или менее сомкнутую. Такая эпопея есть поэтическое воплощение всех элементов народа, выражение его идеального характера, его быта, его радостей, его печалей, наконец, его собственного суда над самим собою. Таковы, например, русские песни; при внимательном рассмотрении нельзя не убедиться, что в них дело идет об одном и том же герое, об одной и той же героине; они не названы, ибо всякий знает их безымянное имя. Это имя—человек, как он представляется человеку в данной стране и в данную эпоху. Все эти песни, сказания—суть отрывки из одной и той же классической поэмы, в которой отчетливо сохранено единство происшествия, т. е. жизнь человека, представленная с различных сторон поэтического воззрения. Один завел песню, другой ее продолжает.

Совершилась первая эпоха развития основных элементов: поэтические цветы вянут, пригвожденные к печатным листам, но вянут потому, что плод созревает; к нему устремлены все силы организма; для плода вырабатывается в таинственных сосудах живительный сок; для него веет ветер, для него листья обмываются студеной росою, для него палящие лучи солнца. Цветок переходит в воспоминание; ученые подводят под него комментарии; его вид одушевляет новых поэтов—а поэма продолжается, хотя под иною формою; ибо творец ее все тот же—он лишь

переродился; сначала являются эпизоды, более или менее близкие к главному предмету, принимающие различный характер, смотря по временам: религиозный, сатирический, философский и проч.; в них зародыш новой поэмы; никто не знает ее содержания, но всякий собирает для нее материалы; все поглощается в них: и часть действительного события, и разгадка того, что могло бы случиться; и следствие глубокой думы и разгульное слово. Сего рода предания вокруг нас; со времен *новой* русской поэзии, т. е. со времен Кантемира, эти предания идут двумя путями; одни из них — *памяти* сердца: выражения чистого, безусловного, бессознательного, девственного развития жизни; таковы наши летописи, легенды, аскетические и военные рассказы; этого рода предания вошли в состав бо́льшей части произведений нашей литературы; другие предания — *памяти* ума: выражение нашего суда над самими собою, часто грустное, исполненное негодования, бо́льшею частию ироническое; сего рода предания послужили материалами для произведений сатирических, которых резкая черта протянулась в нашей литературе от Кантемира до Гоголя. — В обоих направлениях источник один: высокая любовь народа к самому себе, и в обоих одни материалы (независимо от творческого дара отдельных лиц) — предания народные, никем не изобретенные и всем принадлежащие. Сохранять сии предания — долг; выражать их по собственному своему воззрению — право каждого, ибо сии предания суть достояние общее» (В. Ф. Одоевский. Соч., ч. III, с. 43—46).

Стр. 314. *Калика перехожая* — так на Руси назывались паломники, странствовавшие по монастырям; многие калики слагали и пели песни на религиозные сюжеты.

Часы — часть церковной службы.

Стр. 315. *Ячный* — ячменный.

Буза — каменная соль.

Зернь — игра в кости или хлебные зерна.

Стр. 317. *Епанча* — широкий плащ без рукавов.

Карачун — конец, смерть.

Стр. 323. ...*с требами*. — Требы — церковные таинства и обряды (причастие, отпущение грехов умирающему и др.).

ЖИВОПИСЕЦ

Впервые — «Отечественные записки», 1839, т. VI, с. 31—42. Печатается по тексту журнальной публикации.

Замысел цикла повестей «Записки гробовщика» подсказан пушкинским «Гробовщиком», «Записками доктора» английского врача Гаррисона и относящейся еще к 1833 году идеей Одоевского издать вместе с Пушкиным и Гоголем альманах «Тройчатка», где в трех повестях была бы показана жизнь петербургского дома от чердака до подвала. «Что делает наш почтенный г. Белкин? Его сотрудники Гомозейко <Одоевский> и Рудый Панек <Гоголь> по странному стечению обстоятельств описали:

первый—*гостиную,* второй—*чердак;* нельзя ли г. Белкину взять на свою ответственность—*погреб»,*—писал Одоевский Пушкину (Пушкин. Полн. собр. соч., т. XV, с. 84). Пушкин вежливо отказался, и «Тройчатка» не была издана. Но Одоевского не оставляли мысль о пестроте и многослойности петербургской жизни и желание эту многоликость воплотить художественно, дав вертикальный срез бытия различных общественных слоев в цикле повестей; и в одном неопубликованном сочинении он писал: «Известно, что Петербург разделен на несколько обществ, и редко люди одного встречаются в другом: каждое из этих обществ живет особой жизнию, особо развивается, получает особые законы или особые причуды» (*Сакулин,* II, 148).

Изобразить это разъединенное общество можно было лишь с помощью рассказчика, способного по роду своих занятий проникать всюду. Во введении к «Запискам гробовщика» Одоевский говорил: «Мне давно уже хотелось посмотреть на жизнь с исключительной точки зрения двух классов людей, присутствующих решительным минутам нашего существования: врача и гробовщика» («Альманах на 1838 год». СПб., 1838, с. 228—229). Выбор писателя пал на гробовщика, веселого и спокойного философа, простодушного рассказчика, и это позволило Одоевскому создать любопытнейшие психологические повести, характерные картины обыденной жизни обитателей петербургских «углов», предвосхищавшие «физиологические очерки» литераторов «натуральной школы» и прозу молодого Достоевского.

Одоевский намеревался включить в цикл тринадцать повестей: «Эмигрант». «Студент анатомии», «Сирота», «Богатые похороны», «Вести на похоронах», «Неверная жена», «Семейство во время холеры», «Проснувшийся чудак», «Живописец», «Прекраснейший человек», «Мартингал», «Танцмейстер», «Смерть самого гробовщика».

Для понимания образа рассказчика-гробовщика необходимо напомнить историю его жизни, рассказанную им самим: «Моя собственная история коротка... Я родом немец, хотя родился в России; в молодости я учился в университете; тогда мечта славы, искусства волновали меня, как волнуют всякого молодого человека, как и вас например; много было грустного, много сладкого в это время!—Я вам скажу по секрету, что природа назначила мне быть скульптором—по крайней мере так мне казалось, по крайней мере довольно замечательно, что в классе эстетики меня одного из всех слушателей поразила мысль: отчего ваяние, которое так тесно связывалось с жизнию древних, в наше время потеряло свою силу и значение—почти исчезло, по крайней мере сделалось уделом немногих избранных? почему оно далеко не достигает до древнего искусства и не выходит из колеи подражания. Мне казалось, что появление человека с талантом на этом поприще может воскресить древнее ваяние, пробудить снова в толпе эту древнюю изумительную потребность в произведениях сего искусства; а от этой мысли был один шаг до другой: что мне предоставлено быть Христофором Колумбом в этом мире статуй!—Все предметы богословского факультета, к которому я принадлежал, были пройдены мною вскользь, но зато я прочел все, что было

писано о ваянии, изучил все вспомогательные науки сего искусства, в моей тесной комнате студентские книги и тетради были забрызганы водою и пересыпаны алебастром. Когда, вышедши из университета, я возвратился к моей матери, в небольшой городок остзейских губерний, меня окружили и задавили домашние нужды; я был единственною опорою семейства, а моя подпора была из алебастра. Нечего было и думать о покупке мрамора, из которого мне хотелось иссечь Фидиаса, трудящегося над недоконченною статуею — группа, которая должна была увековечить мою славу; в лице Фидиаса я хотел изобразить вдохновение художника; в его теле — показать мое знание анатомии; на недоконченную Венеру я хотел набросить род покрывала, сквозь которое бы сквозила ее будущая красота, и самым грубым осколкам придать изящную форму. Мечта! мечта! В нашем городке моими единственными меценатами были: булочник и аптекарь, и то потому, что для первого я слепил его самого, в колпаке, трудящегося над недоконченною квашнею, а для второго анатомическую фигуру, называемую ecorché <т. е. без кожи, показывающую расположение внутренних органов тела>. Все прочие, и мужчины, и женщины, находили моих Венер и Аполлонов слишком неблагопристойными; единственный мой доход происходил от кошек с вертящимися головами и Наполеонов, которых, увы! для удовольствия покупателей я должен был раскрашивать. Так жить было невозможно, не только доехать до Петербурга, где, я надеялся, мой талант не остался бы незамеченным; — я впадал уже в совершенное отчаяние, когда наш городской гробовщик расчел, что ему гораздо будет выгоднее заказывать мне разные резные изображения, обыкновенно бывающие на лютеранских гробах, нежели выписывать их из Риги. Что вам рассказывать далее: работая у него, я познакомился с его дочерью, — после смерти отца помогал ей в ее торговле, потом женился на ней, потом переехал сюда, — и вот уже десять лет, как знаменитый ваятель сделался просто зажиточным гробовщиком. Мои модели разбились дорогою; и иногда я еще жалею о них, но чаще смотрю на мою милую Енхен и благодарю бога, что он мне доставил если не то счастие, о котором я мечтал, — то по крайней мере другое, может быть, более прочное. Правда, ремесло мое печально; но чего не превозможет привычка? — я даже нашел в нем своего особого рода занимательность: оно невольно делает человека наблюдательным, если он имеет малейшую к тому способность; иногда — сказать без самолюбия — мне удается не быть бесполезным человеком в этом мире; иногда происшествия, которых я бывал свидетелем, возбуждают во мне — не смейтесь! — ряд самых философических мечтаний, а довольно часто в этих происшествиях есть своя особенного рода забавная сторона. Вы уверитесь в этом, когда я расскажу вам несколько анекдотов, которых я был частию невольным, а частию и вольным свидетелем. С чего бы начать? — да, слушайте!» («Альманах на 1838 год», с. 230—234). Далее следует повесть «Сирота», за нею согласно программе — «Живописец» и «Мартингал». Остальные повести цикла не были написаны.

Стр. 326. *...теньеровском костюме...* — Теньер (Тенирс) Давид Младший (1610—1690) — фламандский художник.

Стр. 328. *Гудошник.*— Здесь это слово употреблено в значении «обманщик».

Сиделец— лавочник или приказчик, торгующий по доверенности купца — владельца лавки.

МАРТИНГАЛ

Впервые — «Петербургский сборник». СПб., 1846, с. 377—390. Печатается по тексту сборника с учетом позднейшей авторской правки.

«Мартингал» не принадлежит к числу лучших произведений Одоевского. Однако повесть эта примечательна тем, что писатель как бы прощался в ней с читающей публикой, покидая литературу ради практической филантропии. Еще важнее тот факт, что известнейший прозаик-романтик, выдающийся писатель пушкинской эпохи отдал свою последнюю повесть передовой молодежи, людям нового поколения — Н. Некрасову, В. Белинскому, И. Панаеву, Н. Огареву, идеологам и писателям «натуральной школы». Это время ознаменовано сближением Одоевского с Белинским и его кружком. «Белинский был одною из высших философских организаций, какие я когда-либо встречал»,— говорил потом Одоевский («Русский архив», 1874, кн. I, стб. 339). Он обещал Белинскому статью для альманаха «Левиафан», и критик сказал: «Вот в Одоевском я уверен, что он от чистого сердца пообещал написать для меня» (А. Я. Панаева-Головачева. Воспоминания. М., «Художественная литература», 1972, с. 147). Издание альманаха не состоялось, но появление «Мартингала» в «Петербургском сборнике» показало, что Белинский в Одоевском не ошибся. Повесть Одоевского не была в сборнике Некрасова инородным телом, и недаром Белинский в своей рецензии на эту книгу с одобрением отозвался о «Мартингале». Многое в ней отвечало художественным идеалам и принципам «натуральной школы», гоголевскому направлению в тогдашней литературе. Даже критика враждебного славянофильского лагеря писала о персонажах «Мартингала»: «Эти игроки род свой ведут от Гоголевых...» («Москвитянин», 1846, ч. I, № 2, с. 182). Одоевский благожелательно следил за развитием этого передового направления в литературе и особо выделил «Бедных людей» молодого Ф. Достоевского. По свидетельству современника, Одоевский и его друг В. Соллогуб, прочитав роман, говорили, что «границы возможностей начинающего Достоевского более широки, чем у Гоголя» («Литературное наследство», т. 86. М., 1973, с. 659).

Стр. 333. *Мартингал*— термин карточной игры, означающий игру на квит (от фр. jouer à la martingale).

Стр. 334. ... *из полугара...*—Так в XIX в. называлось хлебное вино (водка), употреблявшееся простым народом.

Стр. 336. *На жуировку*— на развлечения (от фр. jouir).

Стр. 339. ...*кухенрейт...*— Имеются в виду дуэльные пистолеты работы оружейного мастера Кухенрейтера.

Стр. 341. *...в любом романе...* — Описание игры в карты было распространено в литературе того времени (вспомним «Шагреневую кожу» Бальзака, «Счастье игрока» Э.-Т.-А. Гофмана, «Пиковую даму» Пушкина, «Штосс» Лермонтова и многие повести самого Одоевского).

Стр. 342. *Плие* — увеличение ставки в восемь раз.

Макарьевская ярмарка на Волге — названа так по находившемуся поблизости монастырю св. Макария. В 1817 г. была перенесена к Нижнему Новгороду и стала именоваться «Нижегородской».

Понтировать — идти против банкомета, ведущего участника игры, который держит банк. Понтировать ва-банк — значит ставить сумму, равную банку.

Метать...банк. — Это делает банкомет, ставящий на карту какую-либо сумму денег.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

Одоевский В. Ф.

О-44 Сочинения. В 2-х т. Т. 2. Повести./Сост., коммент. В. И. Сахарова.— М.: Худож. лит., 1981, 365 с.

В настоящий том вошли избранные повести В. Ф. Одоевского «Сильфида», «Саламандра», «Княжна Мими», «Княжна Зизи», «Живописец» и другие.

О $\frac{70301\text{-}272}{028(01)\text{-}81}$ Без объявл. 4701020100 **Р1**

ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ
ОДОЕВСКИЙ

Сочинения в двух томах
том 2

Редактор *Ч. Залилова*

Художественный редактор
Г. Масляненко

Технический редактор
В. Нефедова

Корректоры
Г. Володина и
Е. Колчина

ИБ № 1581
Сдано в набор 30.08.79. Подписано в печать А09398 от 16.09.80. Бум. тип. № 1. Формат 84×108 $^{1}/_{32}$. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. 19,32 усл. печ. л. 21,33 уч.-изд. л. Заказ 585. Тираж 100 000 экз. Цена 2 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28